

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

**ЦЕНТР ЦИВИЛИЗАЦИОННЫХ И
РЕГИОНАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

**ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ
ПОЛИТОГЕНЕЗА**

Москва 2002

**СЕРИЯ
«ЦИВИЛИЗАЦИОННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»**

Том 1

Редколлегия серии:
И.В. СЛЕДЗЕВСКИЙ (отв. ред.)
Д.М. БОНДАРЕНКО, А.М. ВАСИЛЬЕВ, Н.А. КСЕНОФОНТОВА

Редакторы тома:
Д.М. Бондаренко, А.В. Коротаев

Настоящее исследование является собой попытку комплексного изучения политогенетических процессов в их территориальной и временной вариативности. Авторы надеются, что оно будет способствовать лучшему пониманию общих тенденций и механизмов культурной и социально-политической эволюции, взаимосвязи между культурными, социальными и политическими факторами. Применение методов цивилизационного подхода в политогенетических исследованиях, с одной стороны, и включение политогенеза в проблемное поле цивилизационных исследований – с другой – создает эффект новизны как в антропологии, так и в цивилизационной теории, обогащает научный инструментарий и расширяет эвристические пределы.

ISBN 5-201-04754-8

© Институт Африки РАН, 2002

© Центр цивилизационных и

региональных исследований РАН, 2002

© Авторы, 2002

СОДЕРЖАНИЕ

1. Д.М. Бондаренко, А.В. Коротаев	ВВЕДЕНИЕ	5
I. ПРЕДПОСЫЛКИ АЛЬТЕРНАТИВНОСТИ И НАЧАЛЬНЫЕ ФАЗЫ ПОЛИТОГЕНЕЗА		
2. М.Л. Бутовская	БИОСОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ АЛЬТЕРНАТИВНОСТИ	39
3. О.Ю. Артемова	НАЧАЛЬНЫЕ ФАЗЫ ПОЛИТОГЕНЕЗА	65
II. ИЕРАРХИЧЕСКИЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ ПОЛИТОГЕНЕЗА		
4. Т.К. Ерл	ГАВАЙСКИЕ ОСТРОВА (800–1824 гг.)	87
5. Д.М. Бондаренко	БЕНИН (I тыс. до н. э.–XIX в. н. э.)	101
6. Д.Д. Беляев	ДРЕВНИЕ МАЙЯ (III – IX вв. н. э.)	148
III. НЕИЕРАРХИЧЕСКИЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ ПОЛИТОГЕНЕЗА		
7. Д.В. Воробьев	ИРОКЕЗЫ (XV – XVIII в. н. э.)	179
8. В.О. Бобровников	БЕРБЕРЫ (XIX – начало XX в. н. э.)	198
9. А.В. Коротаев	СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ЙЕМЕН (I – II тыс. н. э.)	218
10. М. Берент	ГРЕЦИЯ (XI – IV в. до н. э.)	247
IV. ИЕРАРХИЧЕСКИЕ ↔ НЕИЕРАРХИЧЕСКИЕ ФОРМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: МОДЕЛИ ПЕРЕХОДА		
11. Д.В. Дождев	РИМ (VIII – II в. до н. э.)	275
12. Н.Н. Крадин.	ХУННУ (200 г. до н. э.–48 г. н. э.)	306
13. Д.М. Бондаренко, А.В. Коротаев	ЗАКЛЮЧЕНИЕ	326

ВВЕДЕНИЕ

Д. М. Бондаренко, А. В. Коротаев

Эволюционистам всегда было свойственно сравнивать эволюцию социальную и биологическую, каковой последняя виделась Ч. Дарвину. Впрочем, Дарвину иногда приписывается однолинейное понимание эволюции, восходящее все-таки скорее к Г. Спенсеру; в то же время Дарвин последовательно придерживался представления об эволюционной многонаправленности [см. об этом, например, Ingold 1986]. В развитие подобных эволюционистских идей в обществоведении [см. Sahlins, and Service 1960: 9–10], можно также попытаться провести аналогию и с иным великим открытием в области биологии – с гомологическими рядами [Вавилов 1921; 1927; 1967]: есть основания предположить, что одинаковый уровень сложности социально-политической (и культурной) системы, позволяющий решать равные по трудности задачи, встающие перед социумами, может достигаться не только в разнообразных формах, но и на существенно различных эволюционных путях.

Однако полного подобия между культурным параллелизмом и биологическими гомологическими рядами, конечно же, не наблюдается. Н. И. Вавилов изучал явления морфологической гомологии, в то время как в центре нашего внимания находится гомология функциональная. Несомненно, морфологический гомоморфизм имел место и в ходе социальной эволюции (например, на Гавайских островах, где тип социокультурной организации, удивительным образом схожий с таковым в других высокоразвитых социумах Полинезии, сложился независимо к концу XVIII в. [Sahlins 1958; Goldman 1970; Earle 1978]). Но эта проблематика выходит за рамки данной монографии.

Наиболее важным для нас здесь представляется то обстоятельство, что аналогичный уровень социально-политического (и культурного) развития, позволяющий решать одинаково сложные проблемы, встающие перед соответствующими обществами, может быть достигнут не только в различных конкретно-исторических формах, но и на принципиально разных эволюционных путях. Таким образом, одинаковый уровень системной сложности оказывается достижимым на различных пу-

тях социальной эволюции, которые появились одновременно с возникновением человека современного вида или, по-видимому, даже ранее этого, среди дочеловеческих приматов [Бутовская и Файнберг 1993; Бутовская 1994; см. также главу М.Л. Бутовской в настоящем издании]. В дальнейшем число этих путей имело постоянную тенденцию к увеличению [Павленко 1996: 229–251]. Следовательно, человеческие сообщества могут быть сопоставлены не только «по вертикали» (стадиально), но и «по горизонтали» по тому самому принципу, который в биологии именуется «принципом гомологических рядов».

В то же время, на начальном уровне анализа все многообразие эволюционных путей может быть сведено к двум кардинально различающимся группам «гомологических рядов», поскольку каждое общество организовано по одной либо из иерархических, либо неиерархических моделей [Бондаренко 1997: 12–15; 1998б; 2000; Bondarenko 1998; Бондаренко и Коротаев 1998; 1999; Bondarenko, and Korotayev 1999; 2000].

Тем не менее, на дальнейшем уровне анализа эта дилемма оказывается совсем не жесткой. Конечно же, необходимо сразу подчеркнуть, что та или иная иерархия может быть обнаружена в любом человеческом обществе. Реальная организация любого общества опирается на использование как вертикальных (господство – подчинение), так и горизонтальных (равноправных) связей. Тем не менее, в разных обществах эти связи играют разную роль. Таким образом, в соответствии с относительной ролью отношений обоих типов все общества могут быть ранжированы по оси, на которой можно лишь условно поставить точку, разделяющую иерархические и неиерархические общества. Важно подчеркнуть, что данная ось не должна восприниматься как линия эволюции, коррелирующая со стадиями общественного развития. Нарастание социально-политической сложности вполне может сопровождаться «иерархизацией» (усилением роли вертикальных связей), но оно может сопровождаться и «деиерархизацией» (ростом относительной значимости связей горизонтальных).

Рассмотрим, например, одну из наиболее влиятельных на Западе однолинейных эволюционных схем – схему эволюции форм политической организации, разработанную Сервисом [Service 1962/1971] (набросок этой схемы был, впрочем, впервые сделан Салинзом [Sahlins 1960: 37]): локальная группа – племя – вождество – государство.

Эта схема как раз предполагает, что рост культурной сложности (как минимум, вплоть до стадии аграрного государства) неминуемо сопровождается ростом неравенства, стратифициированности, социальной дистанции между правителями и управляемыми, авторитаризма и иерархичности политической системы, уменьшением уровня политического участия основной массы населения и т.п. Конечно, оба данных набора параметров кажутся связанными между собой достаточно тесно. Очевидно, что здесь наблюдается корреляция, и достаточно жесткая. Но также очевидно, что это именно корреляция, но никак не функциональная зависимость. Несомненно, данной корреляции соответствует совершенно возможная линия социально-политической эволюции – от эгалитарного акефального бэнда через возглавляемую бигменом деревенскую общину с заметно более выраженным социально-экономическим неравенством и политической иерархичностью к «авторитарной» общине с сильной властью ее вождя (находимой, например, среди индейцев Северо-Западного Побережья (см., например, [Карнейро 2000]), а затем через действительные вождества с еще более выраженными стратификацией и концентрацией политической власти в руках вождя к сложным вождествам, где политическое неравенство достигает качественно более высокого уровня, и наконец, к аграрному государству, где все названные показатели достигают своей кульминации (хотя можно, конечно, двигаться и дальше, до уровня «империи» (например, [Adams 1975]).

Вместе с тем исключительно важно подчеркнуть, что на каждом уровне растущей культурной сложности можно найти очевидные эволюционные альтернативы данной линии развития.

На первый взгляд, может показаться, что одномерность этой схемы оправданна, ибо она рассматривает лишь одно эволюционное измерение. Однако на самом деле все оказывается значительно сложнее.

Уже среди приматов схожего уровня морфологического и когнитивного развития и даже среди популяций приматов одного вида можно наблюдать более и менее иерархически организованные группы. Следовательно, нелинейность социально-политической эволюции предшествует появлению вида Homo Sapiens Sapiens [Бутовская и Файнберг 1993; Бутовская 1994; также см. главу М. Л. Бутовской в настоящем издании].

Если мы перейдем теперь к человеческим обществам самого простого уровня социокультурной сложности, то мы обнаружим, что, действительно, акефальные эгалитарные бэнды встречаются среди большинства

неспециализированных охотников-собирателей. Однако, как было показано Вудберном и Артемовой [Woodburn 1972; 1979; 1980; 1982; 1988а; б; Артемова 1987; 1989; 1991; 1993; Чудинова 1981; см. также главу О. Ю. Артемовой в данной монографии], некоторые из подобных охотников-собирателей (а именно неэгалитарные, к которым относятся прежде всего австралийскиеaborигены) демонстрируют сущностно отличный тип социально-политической организации со значительно более структурированным политическим лидерством, сконцентрированным в руках относительно иерархически организованных старших мужчин, с явно выраженным неравенством как между мужчинами и женщинами, так и среди самих мужчин. Это различие представляется нам столь глубоким, что мы бы предложили обозначать эти два типа политий двумя разными терминами^{*} – сохранив термин бэнд для обозначения эгалитарных политий и обозначив неэгалитарные как локальные группы; действительно, локальность неэгалитарных групп охотников-собирателей концентрирующихся и структурирующихся вокруг тотемических центров, несравненно более выражена, чем среди постоянно делящихся и сливающихся эгалитарных групп.

На следующем уровне политической сложности мы снова находим общины как с иерархической, так и неиерархической политической организацией. Можно вспомнить, например, хорошо известный контраст между индейцами калифорнийского Северо-Запада и Юго-Востока:

«Калифорнийские вожди находились как бы в центре экономической жизни общества, они осуществляли контроль над производством, распределением и обменом общественного продукта... Власть вождей и старейшин постепенно приобретала наследственный характер, что со временем стало типичным явлением для Калифорнии... Только у племен, населявших северо-запад Калифорнии, несмотря на сравнительно развитую и сложную материальную культуру, отсутствовали характерные для остальной Калифорнии четко выраженные социальные роли

* Несомненно, более внимательное изучение неспециализированных охотников-собирателей (базирующееся на антропологической интерпретации археологических материалов) выявит в будущем и другие типы их социopolитической организации.

вождей. Вместе с тем только здесь было известно рабство... Население этого региона имело представление о личном богатстве... Социальный статус человека прямо зависел от количества находившихся в его распоряжении... материальных ценностей... и т.д.» [Кабо 1986: 180].

Здесь можно вспомнить и общины ифугао Филиппин [см., например, Barton 1922; Мешков 1982] с характерным для них отсутствием авторитарного политического лидерства (особенно очевидным в сравнении, скажем, с общинами Северо-Западного Побережья), но с сопоставимым общим уровнем социокультурной сложности.

Таким образом, уже на уровне общин элементарной и средней сложности мы наблюдаем несколько типов альтернативных политических форм, каждая из которых должна бы обозначаться особым термином.

Возможные альтернативы вождествам в неолитической Юго-Западной Азии, неиерархические системы сложных акефальных общин с выраженной автономией малосемейных домохозяйств, недавно были проанализированы Березкиным, который обоснованно предлагает апартани предгорьев Гималаев в качестве этнографической параллели [Березкин 1995а; 1995б; 2000]. Французов находит еще более развитый пример подобного рода политий на юге Аравии в вади Хадрамаут I тыс. до н.э. [Французов 2000].

В качестве другой очевидной альтернативы вождству выступает племя. Как известно, племя оказалось на грани того, чтобы быть выброшенным из однолинейных эволюционистских схем, где его предполагается заменить суверенной деревенской общиной [Townsend 1985: 146; Carneiro 1987: 760]. Однако вряд ли можно с таким предложением полностью согласиться. Действительно социально-политические формы, полностью идентичные описанным Сервисом существовали на Ближнем и Среднем Востоке в средние века и Новое время (и существуют и сейчас): эти племенные системы охватывают обычно более одной общиной и имеют тип политического лидерства, полностью идентичный тому, что описан Сервисом как типический для племени.

Действительно, сравним:

«Лидерство в племенном обществе является личным... и осуществляется только для достижения конкретных целей; отсутствуют какие-либо политические должности, характеризующиеся реальной властью, а «вождь» здесь просто влиятельный человек, что-то вроде совет-

чика. Внутриплеменная консолидация для совершения коллективного действия, таким образом, не совершается через аппарат управления... Племя... состоит из экономически самодостаточных резидентных групп, которые из-за отсутствия высшей власти берут на себя право себя защищать. Проступки против индивидов наказываются самой же корпоративной группой... Разногласия в племенном обществе имеют тенденцию генерировать между группами конфликты с применением насилия»* [Service 1971: 103];

и, например:

«Шейх не может предпринимать чего-либо от лица своих людей просто на основе своего формального положения; всякая акция, затрагивающая их интересы, должна быть конкретно с ними согласована» [Dresch 1984a: 39].

«Власть, которую шейх может иметь над группами членов племен, не обеспечивается ему его формальным положением. Он должен постоянно участвовать в их делах, и участвовать успешно» [для того, чтобы свою власть сохранить] [Dresch 1984a: 41; см. также Chelhod 1970; 1979; 1985, 39–54; Dostal 1974; 1985; 1990, 47–58, 175–223;

* Необходимо подчеркнуть, что характеристикой племенной организации логичнее все-таки было бы считать не столько сами конфликты между составляющими племя «резидентными группами», которые характеризуют и первобытные сообщества, не имеющие племенной организации (Сервис относит последние к «социокультурной организации уровня локальной группы» [Service 1971: 46–98]), а то, что племенная организация ставит эти конфликты в определенные рамки, заставляет стороны конфликтовать по определенным правилам, предоставляет в распоряжение сторон зачастую крайне развитые механизмы посредничества и т.п., нередко вполне эффективно блокируя потенциально крайне дезинтегрирующие следствия подобных конфликтов, но не отчуждая вместе с тем «суверенитета» резидентных групп (Сервис в общем-то говорит об этом на последующих страницах, но, на наш взгляд, недостаточно четко). Необходимо также отметить, что описанная Сервисом ситуация может быть связана не обязательно лишь с полным отсутствием каких-либо надплеменных политических структур («верховной власти»), а с их слабостью (как это наблюдается для большинства племен Ближнего и Среднего Востока); слабость же подобных структур в «племенных районах» может быть в свою очередь нередко связана именно с эффективностью племенной организации, позволяющей достаточно высокоразвитому населению обходиться без организации государственной.

Obermeyer 1982; Dresch 1984b; 1989; Abu Ghannim 1985; 1990, 229–51 и др.].

Мы имеем здесь дело с определенным типом политии, который не может быть идентифицирован ни с локальной группой (band), ни с деревенской общиной (потому что подобные племена обычно охватывают более одной общиной), ни с вождествами (потому что они имеют совершенно иной тип политического лидерства), ни, естественно, с государствами. Этот тип политии также совсем не просто вставить в рассматриваемую схему где-то между деревенской общиной и вождеством. Действительно, как было убедительно показано Карнейро [например, Carneiro 1970; 1981; 1987; 1991; Карнейро 2000 и т.д.], вождества обычно возникают в результате политической централизации нескольких общин, без предшествующей этому стадии «племени». С другой стороны, на Ближнем и Среднем Востоке^{*} многие племена появились в результате политической децентрализации вождеств, которые предшествовали племенам во времени. Важно подчеркнуть, что во многих случаях подобного рода трансформацию никак нельзя отождествлять с «регрессом», «упадком» или «дегенерацией», так как в таких случаях мы наблюдаем, что политическая децентрализация сопровождается ростом, а не упадком общей культурной сложности [см.: Коротаев 1995а; 1995в; 1996а; 1996б; 1997; 1998; Korotayev 1995; 1996; 2000; а также глава Коротаева в данной монографии]. Таким образом, во многих отноше-

* В настоящее время мы склонны предполагать, что Ближний и Средний Восток был одним из очень немногих регионов, где племя как **особая** форма политической организации получило широкое распространение. По-видимому, племена также фиксируются как определенная фаза в циклических процессах «вождество – племя – вождество» среди кочевников Центральной Азии и Дальнего Востока [Kradin 1993; Крадин 1994]. Некоторые политические системы североамериканских индейцев [см., например, Hoebel 1977] также, видимо, могут обоснованно рассматриваться как племена. Однако в подобных случаях не видно никаких оснований рассматривать племя как эволюционного предшественника вождества, а не наоборот. В большинстве же других регионов то, что обозначается как «племена», представляет собою этнические (а не политические) образования, общины или вождества (множество подобно рода примеров приводится Фридом [Fried 1967; 1975]); поэтому в подобных случаях нет никакой особой необходимости говорить о племени как особой форме политической организации – именно поэтому исследователи, специализирующиеся на изучении таких регионов, и полагают зачастую, что племя есть категория излишняя.

ниях племенные системы ближневосточного типа оказываются скорее эволюционными альтернативами вождествам, а не их предшественниками.

Одному из нас уже приходилось ранее [Коротаев 1995б] приводить аргументацию в пользу того, что, существует очевидная альтернатива развитию жестких надобщинных политических структур (вождество – сложное вождество – государство) в виде развития структур внутриобщинных вместе с эволюцией мягких межобщинных систем, не отчуждающих общинного суверенитета (разнообразные конфедерации, амфикионии и т.д.). Один из наиболее впечатляющих результатов развития в этом эволюционном направлении – греческие полисы, некоторые из которых достигли общего уровня культурной сложности, сопоставимого не только с вождествами, но и с государствами (см. главу М. Берента в данной монографии, посвященную обоснованию безгосударственного характера классического греческого полиса) [см. также Berent 1994; 1996].

Племенной и полисный эволюционные ряды образуют, по-видимому, разные эволюционные направления, характеризующиеся своими отличительными чертами: полисные формы предполагают власть «магистратов», выбираемых тем или иным путем на фиксированные промежутки времени и контролируемых народом (демосом) в условиях отсутствия регулярной бюрократии. В рамках племенных систем наблюдается вообще полное отсутствие каких-либо формальных должностей, носителям которых члены племени подчинялись бы только потому, что они являются носителями должностей определенного типа (а не в силу обладания ими определенными личными качествами), а поддержание порядка достигается через изощренную систему посредничества и поиска консенсуса.

Существует также значительное число и иных сложных безгосударственных политий, например, у казаков Украины и Южной России вплоть до конца XVII в. [Чиркин 1955; Рознер 1970; Никитин 1987; 1992 и др.], или исландская полития «эпохи народоправства» (вплоть до середины XIII в. [Ольгейрссон 1957; Гуревич 1972; Стеблин-Каменский 1984]), которые не имеют еще для своего обозначения каких-либо общих терминов.

Еще одна очевидная альтернатива государству, по-видимому, представлена сверхсложными (суперсложными) вождествами, создан-

ными кочевниками Евразии – количество структурных уровней в подобных вождествах равно или превышает количество таковых для среднего государства, но они имеют качественно отличный от государства тип политической организации и политического лидерства; политические образования такого рода, по-видимому, никогда не создавались земледельцами [см. главу Н.Н. Крадина в данном издании, а также: Крадин 1992: 146–152; 1996; 1999; 2000; Трапавлов 1995; 2000; Скрынникова 1997; 2000; Марей 2000].

Но и это не все. Существует еще одна проблема со схемой Сервиса/Салинза. Она со всей очевидностью принадлежит к «до-мирсистемной» эпохе, уверенно опираясь на представление о том, что одну отдельную политику можно вполне рассматривать как достаточную единицу социальной эволюции. Возможно, это было бы не так уж и важно, если бы Салинз и Сервис говорили о типологии политий; однако они-то говорят именно об «уровнях культурной интеграции»; и в подобном контексте мир-системное измерение оказывается абсолютно релевантным.*

Суть проблемы здесь заключается в том, что тот же самый общий уровень культурной сложности может достигаться как через нарастающее усложнение одной политии (поглощающей соседние политии), так и через развитие политически не централизованной межполитийной

* Существует значительное различие между «мир-системным» и цивилизационным подходами. В то время, как первый из них развивает глобальный взгляд на историю, второй акцентирует локальные направления и варианты эволюции. Вместе с тем, наше обращение к мир-системному подходу в данной части Введения не должно рассматриваться как противоречие в рамках настоящей «цивилизационной» монографии. Во-первых, существует важный аспект, сближающий оба подхода: они подчеркивают надлокальные (наблюдающиеся на уровне, более высоком, чем одно отдельно взятое общество) тенденции социокультурной эволюции. Во-вторых, досовременные «мир-системы» в том виде, в каком они представлены в работах сторонников этого подхода (за исключением Франка и Джиллса [см., например, Frank, and Gills 1993]), выглядят достаточно схожими с теми историческими образованиями, которые сторонники другого подхода именуют «цивилизациями» [см., например, Abu-Lughod 1989; Sanderson 1995; Chase-Dunn, and Hall 1997]. Более того, очевидно, в американскую науку общее понимание необходимости изучения социальной эволюции и истории на надлокальном уровне пришло только благодаря Валлерстайну, в то время как в рамках цивилизационного подхода (особенно в варианте Данилевского – Шленглера – Тойнби; см. ниже) этот принцип стал наиболее фундаментальным гораздо раньше.

коммуникативной сети. Эта альтернатива была замечена еще Валлерстайном, что нашло отражение в предложенной им дихотомии мир-экономика – мир-империя [см., например: Wallerstein 1974; 1979; 1987; Валлерстайн 1998]. Примечательно, что и сам Валлерстайн рассматривает два члена этой дихотомии именно как альтернативы, а не как стадии социальной эволюции. Как нетрудно догадаться, здесь мы в основе своей с Валлерстайном согласны. Тем не менее, нам здесь видится и некоторое неоправданное упрощение. В целом, хотелось бы подчеркнуть, что здесь мы имеем дело с частным случаем значительно более широкого набора эволюционных альтернатив.

Развитие политически децентрализованной межполитической сети стало эффективной альтернативой развитию монополитии еще до возникновения первых империй – скажем, межполитическая коммуникативная сеть гражданско-храмовых общин Месопотамии первой половины III тыс. до н.э. поддерживала уровень технологического развития, существенно более высокий, чем у синхронного ей политически централизованного египетского государства (которое для этого периода еще вряд ли можно назвать империей). Примечательно и то, что межобщинные коммуникативные сети могли представлять эффективную альтернативу уже вождеству – например, социально-политическая система предгималайских апа-тани лучше всего может быть описана, видимо, именно как межобщинная коммуникативная сеть (между прочим, в свою очередь выступавшая как ядро в рамках более широкой коммуникативной сети, включавшей в себя соседние менее развитые политии – вождества и суверенные общины – [см., например, Führer-Haimendorf 1962]).

Нам также представляется непродуктивным обозначать альтернативу мир-империи как мир-экономику. Такое обозначение, как кажется, не учитывает политических, культурных и информационных измерений подобных систем.

Возьмем, например, классическую греческую межполисную систему. Уровень сложности многих греческих полисов был достаточно низким даже в сопоставлении со сложным вождеством. Однако они были частями значительно более обширной и несравненно более сложной общности, образованной многочисленными экономическими, политическими и культурными связями и общими политико-культурными нормами. Экономические связи, конечно, играли какую-то роль в рамках данной системы. Но прочие связи были отнюдь не менее важны. Возь-

мем в качестве примера норму, согласно которой межполисные войны приостанавливались во время Олимпийских игр, что делало возможным безопасное движение людей, а значит и гигантских количеств энергии, вещества и информации в пределах территории, на порядки превосходящей территорию среднего вождества. Существование межполисной коммуникативной сети делало возможным, например, для индивида, родившегося в одном полисе, получить образование в другом полисе, а основать свою школу в третьем (см., например, жизнеописания многих греческих философов у Диогена Лаэрция). Существование подобной системы долгое время резко уменьшало деструктивность межполисных войн. Она была той основой, на базе которой оказывалось возможным предпринимать значимые межполисные коллективные действия (что оказалось жизненно важным, скажем, в эпоху Греко-Персидских войн) и т.д. В результате, полис с уровнем сложности, недотягивавшим до такового у сложного вождества, оказывался частью системы, чья сложность оказывалась вполне сопоставимой с государством (и не только ранним).

В принципе то же самое может быть сказано и о межсоциумной коммуникативной сети средневековой Европы (чья суммарная сложность оказывалась сопоставимой с таковой у средней мир-империи). Примечательно, что в обоих случаях некоторые элементы соответствующих систем могут рассматриваться как составные части мир-экономик, более обширных, чем эти системы. Однако не все составные части коммуникативных сетей были вполне интегрированы экономически. Это показывает, что «мир-экономики» были не единственno возможным типом политически децентрализованных межсоциумных коммуникативных сетей. На самом деле, в обоих случаях мы имеем дело с политически децентрализованными цивилизациями, которые на протяжении большей части человеческой истории последних тысячелетий и составляли наиболее эффективную альтернативу мир-империям.

Необходимо обратить внимание и на то обстоятельство, что межсоциумные коммуникативные сети могли появляться и среди несравненно менее сложных обществ (Валлерстайн обозначил их как «мини-системы», однако так никогда и не занимался их изучением, что, впрочем, сделали другие сторонники мир-системного подхода [см., например, Chase-Dunn, and Hall 1993; 1994; 1995; 1997 и др.]). Кажется возможным говорить уже, скажем, о коммуникативной сети, покрывавшей

собою большую частьaborигенной Австралии. И снова мы здесь сталкиваемся со сходным феноменом: значительная степень культурной сложности (изощренные формы ритуалов, мифологии, искусств, танца и т.д., нередко превосходящие по своей сложности таковые у ранних земледельцев) может быть объяснена тем фактом, что относительно простые локальные группы австралийцев были частями значительно более сложного целого, гигантской коммуникативной сети, охватывавшей, по-видимому, большую часть австралийского континента [см., например: Бахта и Сенюта 1972; Артемова 1987].

Конечно же, многие из таких цивилизаций могут рассматриваться как части более крупных мир-экономик. В частности, Валлерстайн полагает, что в эпоху сложных обществ в качестве единиц социальной эволюции вообще следует рассматривать только мир-экономики и миримперии (т.е. «исторические системы», – крупнейшие единицы социальной эволюции согласно Валлерстайну). Однако мы полагаем, что и политически централизованные, и политически децентрализованные цивилизации также должны рассматриваться в качестве «исторических систем». Необходимо еще раз подчеркнуть важность культурного изменения подобных систем. Безусловно, обмен жизнеобеспечивающими товарами (*bulk goods* в терминологии Валлерстайна) имел большое значение для их сложения и функционирования. Но обмен информацией также был исключительно важен. Например, успешное развитие науки в древней Греции и средневековой Европе стало возможно только благодаря интенсивному обмену информацией между общностями, входившими в состав различных политий; а ведь развитие науки в Европе оказалось в высшей степени значимое воздействие на эволюцию современной мир-системы.

Разумеется, мы никоим образом не отрицаем факт существования и важность государства в мировой истории. Однако мы утверждаем, что государство – не единственная возможная форма социально-политической организации сверхсложных постпервобытных обществ. С нашей точки зрения, государство представляет собой всего лишь одну из многих таких форм, которые во многом взаимно альтернативны и могут трансформироваться друг в друга без потери общего уровня культурной сложности. Данная монография посвящена в значительной степени рассмотрению как раз этих альтернативных форм, как государст-

венных, так и негосударственных (мегаобщина, племенная конфедерация, полис, суперсложное вождество).

В этой связи представляется необходимым остановиться подробнее на концепции «раннего государства», зародившейся в середине 70-х гг. в рамках неоструктурализма. Ее создатели, Х.Дж.М. Классен и П. Скальник, с самого начала стремились преодолеть синхронизм классического структурного метода и установить связь между структурным и динамическим аспектами анализа, т.е. сочетать структурализм с элементами неоэволюционизма, которые, однако, в рамках указанной концепции в значительной мере изменили ее изначально структуралистскую направленность, подчеркнутую Классеном в главе «Раннее государство: структурный подход» из книги «Раннее государство», которой в 1978 г. открылась одноименная серия коллективных монографий [Claessen et al. 1978; см. особенно: Claessen, and Skalník 1978: 533–596]. Как отмечает Н. Б. Kochакова – один из наиболее активных сторонников и историограф данной концепции – первый том серии представлял собой «статическое» сравнение ранних государств, тогда как три следующих были посвящены их рассмотрению в динамике [Kochakova 1999: 6]. В этом отношении наиболее характерны публикации сторонников рассматриваемой концепции конца 80 – 90-х годов, в частности критика структуралистской теории «политических систем» П. Скальником [Skalník 1991], попытка оценки классификационного потенциала эволюционизма Х.Дж.М. Классеном [Claessen 1989–1992] и особенно введение Ш. Эйзенштадта, Н. Хазан и М. Абитболя к тому, посвященному ранним государствам Африки [Eisenstadt, Abitbol, and Chazan 1988: 1–27]. В последней работе, озаглавленной «Происхождение государства: пересмотр подхода» открыто декларируется необходимость создания синтетической теории, которая сочетала бы анализ общего (методами эволюционизма) и особенного (методами структурализма) в процессе становления государства.

Соответственно, концепции раннего государства оказались свойственны унилинейность и стадиальность, «позаимствованные» у эволюционистов [см.: Carneiro 1987: 757; Бондаренко 1998а: 18–22; Крадин 1998: 10–12]. В частности, это становится ясно при взгляде на предложенную Классеном и Скальником типологию ранних государств. «Зачаточные», «типичные» и «переходные» ранние государства различаются ими по уровню развития [Claessen, and Skalník 1978: 22, 589, 641]. За

многолинейность же выдается признание возможности попятного движения по одной-единственной лестнице стадий и фаз [Claessen, and Skalník 1981]. Однако, несмотря на теплое отношение сторонников этой концепции к «истинному» («западному») марксизму и в целом, несомненно, левый характер этой школы в антропологии [см.: Webb 1984; Бондаренко 1998а], «зрелое государство» представляется как исключение; закономерным же видится раннее государство как предельная, но одновременно неизбежная стадия эволюции социумов.

В рамках серии книг «Раннее государство» эта идея была впервые высказана в 1987 г. и затем стала неотъемлемой частью концепции [Claessen, and van de Velde 1987: 20; Claessen, and Oosten 1996: 9]. В более же ранних работах adeptов концепции раннего государства, посвященных в том числе и этому вопросу, она, насколько нам известно, не высказывалась. Например, мысль об исключительности зрелого государства не была высказана в программной статье Классена, опубликованной в 1984 г. [Claessen 1984: 365]. Не случайно в книге 1978 г. высший тип раннего государства был обозначен как «переходный»; разумеется, к зрелому государству [Claessen, and Skalník 1978: 591]. При этом данная идея отсутствует и в позднейших публикациях ряда сторонников концепции раннего государства [см., например, Кочакова 1995].

Однако государство как таковое, отметим еще раз, видится «раннегосударственникам» безальтернативной формой постпервобытной политической организации общества. Впрочем вторичные признаки раннего государства в различных социумах могут не совпадать, имея стадиально-региональную специфику. Общим же для всех ранних государств видится отсутствие частной собственности на средства производства, «подлинно антагонистических общественных классов» и редистрибуция как способ эксплуатации непосредственных производителей [см., например, Claessen 1984: 365].

В первой книге серии Классен и Скальник дали определение раннего государства, назвав его

«... централизованной социально-политической организацией для регулирования социальных отношений в сложном стратифицированном обществе, разделенном по крайней мере на две основные страты или на два возникающих социальных класса – управляющих и управляемых; отношения между ними характеризуются политическим господством первых и данническими обязанностями вторых; законность

этих отношений освящена единой идеологией, основным принципом которой является услугообмен» [Claessen, and Skalník 1978: 640].

В последующие годы «раннегосударственники» стремились к более полному раскрытию составляющих этой дефиниции, но ее правильность сомнению не подвергали [Claessen, and van de Velde 1987: 4; Claessen, and Oosten 1996: 9].

Более того, Классен фактически распространяет (с некоторыми незначительными изменениями и добавлениями) данное им и Скальником определение раннего государства на государство как таковое:

«... государство – это независимая централизованная социально-политическая организация для регулирования социальных отношений в сложном стратифицированном обществе, занимающем определенную территорию, и состоящее из двух основных страт – управляющих и управляемых; отношения между которыми характеризуются политическим господством первых и налоговыми обязанностями вторых; легитимизированными, разделяемой хотя бы частью общества идеологией, основным принципом которой является услугообмен» [Claessen 1996: 1255].

Думается, многочисленные статьи создателей и сторонников концепции раннего государства, посвященные сакрализации власти, представляют собой наиболее интересный пласт их исследований. Однако в своих работах они, как правило, «выносят за скобки» взаимоотношения между институтами надлокальной власти и субстратными социальными институтами, прежде всего, общиной, а также воздействие последних на становление, эволюцию и характер «королевской» власти. Идеология, таким образом, редуцируется до роли санкционера верховой власти, оказываясь, как и сама власть, оторванной от тех общественных, управлеченческих институтов и мировоззрения, с которыми они в действительности связаны генетически и постоянно взаимодействуют, то находя в них обоснования для своего существования, то стремясь приспособить их для собственных нужд.

Отказ «раннегосударственников» от рассмотрения политических процессов в общекультурном контексте здесь особенно очевиден. В разработанной им «модели комплексного взаимодействия» Классен выделяет четыре области, в которых в обществе могут происходить перемены:

«общественного формата – инфраструктура, коммуникации и контроль; область экономического развития – торговля и рынки, доходы и затраты государства; область легитимации – баланс власти согласования и власти принуждения; область бюрократической организации – эффективность и совершенство административного аппарата. В тех случаях, когда развитие (понимаемое как процесс унилинейного изменения от простого к сложному, от низшего к высшему, который носит название процесса качественной реорганизации общества – *Д.Б., А.К.*) в каждой из этих областей имеет тенденцию к поддержанию развития в других областях, происходит эволюция раннего государства, оно становится государством зрелым (при отсутствии внешнего противодействия)» [Claessen, and van de Velde 1987: 4; также см.: Claessen 1984].

Иными словами, налицо попытка вскрыть внутренние механизмы эволюции, попытка едва ли удачная, особенно если учесть, что при конкретном анализе в трудах самого Классена (и других) две первые области неизменно оказываются вторичными по отношению к третьей и четвертой, а в более поздних работах это открыто декларируется [см., например, Claessen, and van de Velde 1987; Claessen, and Oosten 1996].

Разумеется, в рамках рассматриваемой концепции признается существование «региональных различий» между ранними государствами [в особенности см.: Claessen, and Skalník 1981: 59–86; Claessen, and van de Velde 1987: 39–49; Claessen, and Oosten 1996: 365–370; также см.: Claessen 1987]. Тем не менее этой вариативности приписывается лишь роль многообразных форм, облекающих единое содержание раннего государства как «научной конструкции, идеального типа, базирующегося на исторических, археологических и антропологических данных» [Claessen, and Oosten 1996: 9]. Возможность существования альтернатив государству, в том числе раннему, сторонниками рассматриваемой концепции даже не обсуждается, универсальность государства как антические первобытности для них очевидна.

Среди прочего такая позиция приводит «раннегосударственников» к имплицитному отрицанию цивилизационного подхода к проблеме политогенеза, поскольку ими практически отвергается наиболее фундаментальная для него идея о том, что разные цивилизации могут следовать существенно различными эволюционными путями. С этой точки зрения чрезвычайно показательна монография «Рождение африканской цивилизации» Н. Б. Кочаковой; как уже упоминалось, одной из

активнейших сторонников концепции раннего государства. Цивилизация для нее – не более чем группа обществ, главной характеристикой которых является наличие классов и государства. Общие же для всех них особенности культуры лишь определяют территориальные пределы подобной «цивилизации» [Кочакова 1986: 9–17]. Не случайно и то, что ментальность членов данного социума (которая тесно связана с цивилизационным типом модальной личности и опосредует его цивилизационный путь) сводится «раннегосударственниками» к пресловутому «идеологическому фактору».

Конечно, творческая мысль Классена и его соратников не стоит на месте [подробнее см.: Кочакова 1999: 46–55]. Если посмотреть на динамику концепции раннего государства в конце 80-х и в 90-е годы, то обращают на себя внимание: отказ ее создателей и последователей от изначального отождествления механизмов догосударственной и раннегосударственной, с одной стороны, и современной государственной организации власти – с другой; их разведение как основанных соответственно на консенсусе и монополии на применение силы; приданье большего значения «региональным различиям» [Claessen, and Oosten 1996]; стремление выделить в качестве самостоятельной единицы идеологический фактор в связи с проблемами редистрибуции, легитимации власти через ее сакрализацию, проблемой ритуала [Claessen, and Oosten 1996; также Скальник 1991]; проявление интереса к эволюции родственных отношений [Eisenstadt, Chazan, Abitbol 1988]; отдельные попытки дальнейшей типологизации (например, введение категории «раннегосударственная империя» [Claessen, and van de Velde 1987]).

Все это свидетельствует о том, что внутренний потенциал концепции раннего государства еще не полностью реализован, а также о наличии перспектив ее дальнейшей разработки. Однако присущие данной концепции особенности – унилинейная стадиальность и как следствие сознательное построение только диахронной типологии, фактическое понимание государства исключительно как системы институтов управления, признание приоритета процессов именно в управлеченческой подсистеме общества и другие, принципиально определяющие ее харак-

тер и содержание, – во всяком случае, на сегодняшний день сохраняются в полной мере^{*}.

Почему мы решили рассмотреть в данной монографии цивилизационные модели политогенеза^{**}? Мы уверены в том, что учет общего

* В то же время необходимо отметить, что в одной из недавних работ Классен подверг критике свои же более ранние взгляды за их крайнюю унитарность, подчеркнув, что «мы не можем отказаться от идеи о том, что существует более одного эволюционного потока, и что один и только один из этих потоков ведет к государству» [Классен 2000]; таким образом, его позиция ныне сближается с нашей. Также хотелось бы подчеркнуть, что мы принимаем предложение Классена рассматривать эволюцию в качестве «процесса структурной реорганизации во времени, в результате которой возникает форма или структура, качественно отличающаяся от предшествующей формы» [Классен 2000: 7]; само определение принадлежит Воже [Voget 1975: 862], однако именно Классен наиболее последовательно отстаивает это определение в рамках нашей дисциплины [Claessen, and van de Velde 1982: 11ff.; 1985: 6ff.; 1987: 1; Claessen 1989–1992: 234; Классен 2000; Claessen, and Oosten 1996; см., также, Collins 1988: 12–13; Sanderson 1990]. Мы также полностью согласны с Классеном, когда он утверждает: «Тогда эволюционизм превращается в научную теорию, ориентирующую на поиск закономерностей в структурных изменениях подобного рода» [Классен 2000: 7]. Конечно же, подобное понимание эволюции полностью отличается от понимания эволюции тем самым исследователем, который и ввел это понятие в научный дискурс и который предложил свое определение эволюции, сохраняющее эстетическую привлекательность вплоть до настоящего времени – «изменение от несвязанной однородности к связной разнородности» [Spencer 1972: 71]; определение это подразумевает, конечно, понимание эволюции как двуединого процесса дифференциации и интеграции. В рамках «классеновского» понимания эволюции эволюция «спенсеровская» будет лишь одним из возможных типов эволюционных процессов наряду с эволюцией от сложных к простым социальным системам и структурными сдвигами на одном и том же уровне сложности (что приблизительно соответствует основным направлениям биологической эволюции по Северцову [1939; 1967] – (1) ароморфозу (~ *anagenesis* в том смысле, который в это понятие изначально вкладывал Ренш [Rensch 1959: 281–308; см. также: Dobzhansky et al. 1977; Futuyma 1986: 286], (2) дегенерации, и (3) идиоадаптации (~ *cladogenesis* [Rensch 1959: 97f.; см. также: Dobzhansky et al. 1977; Futuyma 1986: 286]). Таким образом, «классеновское» понимание социальной эволюции оказывается более соответствующим современному пониманию эволюции в биологии, нежели «спенсеровское».

** Понятие «политогенез» было разработано в 70 – 80-е годы Л. Е. Куббелем (Куббелль 1988), который использовал его для обозначения процесса становления государства. Но к настоящему времени стало ясно, что процессы политической эволюции архаических обществ не следует сводить исключительно к образованию государства, поскольку оно представляет собой лишь один из многих частных случаев их протекания. Предлагаемый нами подход к данному понятию как обозначению любого вида процессов становления сложной политической организации выглядит более оправданным и с этимологической точки зрения: в Древней Греции слово *politeia* обозначало политическое устройство любо-

характера и типа культуры абсолютно необходим для понимания политической культуры того или иного общества как ее неотъемлимой части, которая, в свою очередь, непосредственно влияет на направление и ход политогенетического процесса в данном социуме. Мы также полагаем, что цивилизационный подход предоставляет достаточно широкие возможности для изучения этого аспекта более общей проблематики факторов и условий формирования сложной социально-политической организации.

Изначально, в XVIII в., деятели французского (Мирабо, Монтескье, Гольбах, Кондорсе) и шотландского (Фергюсон, Миллар, Смит) Просвещения разработали идею о цивилизации как высшей прогрессивной стадии эволюционного процесса, представлявшегося им протекающим однолинейно. В их подходе отсутствовали пространственные коннотации: хотя и утверждалось, что стадия цивилизации на тот момент была достигнута только в Европе и переселенческих колониях, полагалось, что в принципе она достижима и для других народов мира. В тот период при изучении цивилизации во внимание принимался главным образом духовный аспект человеческого бытия; появление цивилизации считалось результатом совершенствования натуры человека, повышения уровня его нравственности, развития в нем общественных чувств и, в конечном счете следствием «прогресса». Отсюда вытекало и понимание социально-политических и экономических институтов гражданского общества как присущих именно «цивилизованным» народам [см.: Февр 1991: 239–281; Ренев 1993].

Понимание цивилизации в антропологической науке в первые десятилетия ее существования было принципиально схожим. Эволюционисты [Tylor 1866; 1871; 1881; Lubbock 1870; Morgan 1877] «расставляли» все народы на одной-единственной мыслимой для них эволюционной лестнице и прибегали к понятию «цивилизация» для обозначения обществ, располагавшихся на ее верхней ступени, в сущности достижимой для любого народа планеты, т.е. не являющейся «исключительной привилегией» европейцев и североамериканцев. Этот постулат эволю-

го типа, и при этом прежде всего политическое устройство именно сложного безгосударственного общества [см., например, главу М. Берента в данной монографии, а также: Bergent 1994; 1996 и др.].

ционисты основывали на утверждении о тождественности индивидуальной психики человека у разных народов, т.е. на феномене нематериальном, который, тем не менее, как они полагали, определяет форму и содержание социальных и политических феноменов.

Начиная с XVIII в., приоритет человека, его культуры, духовной жизни всегда оставался отличительной чертой цивилизационного подхода. Но сам подход становился все более и более многообразным. Люсьен Февр писал в 1930 г.: «... представление о цивилизациях племен нецивилизованных уже давно стало обычным» [Февр 1991: 240]. Продолжая, он отмечает, что во второй половине XIX в. произошло «... расхождение двух представлений о цивилизации, научного и pragmatischenkoj; одно в конце концов пришло к выводу, что любая группа человеческих существ, каковы бы ни были средства ее воздействия, материального и интеллектуального, на окружающий мир, обладает своей цивилизацией; другая – теперь уже старая концепция высшей цивилизации, которую несут и распространяют белые народы Западной Европы и Северной Америки...» [Февр 1991: 280–281]. Таким образом, наряду с прежним, стадиальным, утвердился пространственный подход к данному понятию – идея о цивилизациях. Подобный взгляд не предполагал прямой связи между понятием цивилизации и определенными стадиями развития (притом он также уходит корнями в XVIII в. – к идеям Вико, Вольтера и Гердера [Ионов 1997: 137–138]).

В таком контексте акцент на духовную природу феномена цивилизации оказался еще более сильным, что со всей очевидностью проявилось в трудах создателей первых теорий «локальных цивилизаций» (Рюккера и Шпенглера в Германии, Бокля в Британии, славянофилов [Хомякова, Киреевского, Аксакова], Чаадаева и Данилевского в России). Границы локальных цивилизаций они определяли исходя из религиозной принадлежности, ментальных характеристик, «культурно-исторического типа» и т.п. населения данного обширного региона [см., например, Рашковский 1990; Ионов 1997; Хачатурян 1997]. Эта традиция получила дальнейшее развитие в произведениях Тойнби [Toynbee 1934–1954; 1948] и многих других теоретиков цивилизационного подхода.

В рамках антропологии пространственный подход к цивилизации впервые проявился в работах диффузионистов – германских (Фробениус [Frobenius 1898; 1921], Гребнер [Gräbner 1911], Бауманн и Вестер-

манн [Baumann and Westermann 1948]), австрийских (Шмидт [Schmidt 1910 et al.] и ученые его круга), а позже и американских (Голденвайзер [Goldenweiser 1922], Уисслер [Wissler 1923; 1931], Кребер [Kroeber 1957; 1962]). Хотя не все они использовали это понятие, при определении пределов цивилизаций («культурных кругов», «ареалов») многие из них составляли списки характерных черт каждой цивилизации, включавшие в себя одновременно феномены из сферы общественной жизни, политической и материальной культуры. Тем не менее, приоритет перед ними духовных аспектов признавался Фробениусом, Шмидтом, Кребером. В то же время необходимо подчеркнуть, что все они разделяли пространственный подход к цивилизации и отказывались рассматривать ее как определенную стадию эволюции.

В XX в. в рамках цивилизационного подхода возникло новое направление. Его суть состоит в стремлении сочетать глобальный аспект с локальным, т.е. выявить связь между сменами типов культуры и человеческой духовности в универсальном масштабе, с одной стороны, и локальными цивилизациями – с другой. Наиболее ярко эта традиция представлена Ясперсом [Jaspers 1949] и Айзенштадтом [Eisenstadt 1978; 1986 et al.].

Наиболее известный антропологический вариант такого подхода, пусть и более материалистический, – концепция «общей и особенной эволюции» Салинза [Sahlins 1960]. Неоэволюционистская идея общей и особенной эволюции была призвана разрешить «проклятую» проблему соотношения общего и особенного в истории, обществе и культуре, но в действительности она не содержала в себе ничего нового по сравнению с классическим эволюционизмом и марксизмом. Как и в эпоху классического эволюционизма XIX – начала XX в., за понятием «общая эволюция» стоит все то же телеологическое однолинейное видение социокультурной истории человечества. В рамках такого подхода различия между обществами и регионами принципиально схожего уровня сложности выглядят не более чем локальные варианты друг друга, различающиеся по форме, но единые по сути. Опять же только понимание эволюции как процесса многолинейного или даже нелинейного в состоянии предоставить выход из этого тупика [см.: Бондаренко 1997: 10–11; Korotayev 1998].

Также в XX в., благодаря таким ученым, как Вебер (Weber 1920 et al.), Сорокин (см., например, Сорокин 1992), Ясперс (Jaspers 1949),

Парсонс (Parsons 1966), Айзенштадт (Eisenstadt 1978; Айзенштадт 1997), дальнейшее развитие получила традиция, восходящая к просветителям XVIII в. – создателям первых цивилизационных теорий. Эта традиция объясняет специфику социально-политических систем локальных цивилизаций исходя из присущих последним особенностей культуры, личности, типов ментальности и т.п. При этом Сорокин, Ясперс, Парсонс и Айзенштадт синтезировали цивилизационный и эволюционный подходы. В рамках предложенных ими типологий признается существование цивилизаций различных уровней. В то же время большинство из них рассматривает цивилизации одного уровня или типа (например, «осевые») как «подобные», равноценные, т.е. как, в известном смысле, альтернативные друг другу.

Наш подход исходит из этой традиции. Конечно же, мы не утверждаем, что подобный «идеалистический» подход является единственным работоспособным подходом. Обратное воздействие социально-политической системы на культурные стереотипы, типы модальной личности, общую структуру цивилизации и составляющих ее обществ не вызывает никаких сомнений. Однако в данной монографии нас интересует прежде всего влияние социокультурного фактора на эволюцию политической подсистемы в различных цивилизациях в процессе политогенеза.

Наконец, следует сказать несколько слов о представленных в данной работе обществах. Их выбор неслучайен: это общества, известные по археологическим, антропологическим и историческим источникам; принадлежащие цивилизациям всех исторических эпох (древности, средневековья и нового времени); всех обитаемых континентов; всех основных экономических типов (присваивающего хозяйства, ручных земледельцев, плужных земледельцев, скотоводов) и, конечно, различных типов социально-политической организации – от простейших социумов до доиндустриальных государств.

ЛИТЕРАТУРА:

- Айзенштадт С.* Цивилизационные измерения социальных изменений. Структура и история // Цивилизации. Вып. 4. М., 1997. С. 20–32.
Артемова О.Ю. Личность и социальные нормы в раннепервобытной общине (По австралийским этнографическим данным). М., 1987.

- Артемова О.Ю.* К проблеме первобытного эгалитаризма // Лингвистическая реконструкция и древнейшая история Востока. М., 1989. Ч. 3. С. 3–5.
- Артемова О.Ю.* Эгалитарные и неэгалитарные первобытные общества // Архаическое общество: узловые проблемы социологии развития. М., 1991. Ч. 1. С. 44–91.
- Артемова О.Ю.* Первобытный эгалитаризм и ранние формы социальной дифференциации // Ранние формы социальной стратификации: генезис, историческая динамика, потестарно-политические функции. М., 1993. С. 40–70.
- Бахта В.М., Сенюта Т.В.* Локальная группа, семья и узы родства в обществеaborигенов Австралии // Охотники, собиратели, рыболовы. Л., 1972. С. 68–90.
- Березкин Ю.Е.* Вождества и акефальные сложные общества: данные археологии и этнографические параллели // Ранние формы политической организации: от первобытности к государственности. М., 1995(а). С. 62–78.
- Березкин Ю.Е.* Модели среднемасштабного общества: Америка и древнейший Ближний Восток // Альтернативные пути к ранней государственности. Владивосток, 1995(б). С. 94–104.
- Березкин Ю.Е.* Еще раз о горизонтальных и вертикальных связях в структуре среднемасштабных обществ // Альтернативные пути к цивилизации. М., 2000. С. 259–264.
- Бондаренко Д.М.* Теория цивилизаций и динамика исторического процесса в доколониальной Тропической Африке. М., 1997.
- Бондаренко Д.М.* Концепция «раннего государства»: основные положения и попытка их оценки // Африка: общества, культуры, языки. М., 1998(а). С. 16–26.
- Бондаренко Д.М.* Многолинейность социальной эволюции и альтернативы государству // Восток. 1998(б). № 1. С. 195–202.
- Бондаренко Д.М., Коротаев А.В.* Политогенез и общие проблемы теории социальной эволюции («гомологические ряды» и нелинейность) // Социальная антропология на пороге XXI века. М., 1998. С. 134–137.
- Бондаренко Д.М., Коротаев А.В.* Политогенез, «гомологические ряды» и нелинейные модели социальной эволюции (К кросс-культурному

- тестированию некоторых политантропологических гипотез) // Общественные науки и современность. 1999. № 5. С. 129–140.
- Бутовская М.Л.* Универсальные принципы организации социальных систем у приматов включая человека. Автореф. дис. д.и.н. М., 1994.
- Бутовская М.Л., Файнберг Л.А.* У истоков человеческого общества. Поведенческие аспекты эволюции человека. М., 1993.
- Вавилов Н.И.* Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости // Сельское и лесное хозяйство. 1921. № 1.
- Вавилов Н.И.* Географические закономерности в распределении генов культурных растений // Природа. 1927. № 10.
- Вавилов Н.И.* Избранные произведения. Т.1–2. Л., 1967.
- Валлерстайн И.* Миросистемный анализ // Время мира: Альманах современных исследований по теоретической истории, макросоциологии, geopolитике, анализу мировых систем и цивилизаций. Вып. 1. Новосибирск, 1998. С. 105–123.
- Гуревич А.Я.* История и сага. М., 1972.
- Ионов И.Н.* Понятие и теория локальных цивилизаций: проблема историографического приоритета // Цивилизации. Вып. 4. М., 1997. С. 136–152.
- Карнейро Р.Л.* Процесс или стадии: ложная дилемма в исследовании истории возникновения государства // Альтернативные пути к цивилизации. М., 2000. С. 84–94.
- Кабо В.Р.* Первобытная доземледельческая община. М., 1986.
- Классен Х.Дж.М.* Проблемы, парадоксы и перспективы эволюционизма // Альтернативные пути к цивилизации. М., 2000. С. 6–23.
- Коротаев А.В.* Некоторые проблемы социальной эволюции архаических (и не только архаических) обществ // Восток. 1995. № 5. С. 211–220.
- Коротаев А.В.* «Апология трайбализма»: племя как форма социально-политической организации сложных непервобытных обществ // Социологический журнал. 1996(а). № 4. С. 68–86.
- Коротаев А.В.* Горы и демократия: к постановке проблемы // Восток. 1996(б). №3. С. 18–26.
- Коротаев А.В.* Два социально-экологических кризиса и генезис племенной организации на Северо-Востоке Йемена // Восток. 1996(в). № 6. С. 18–28.

- Коротаев А.В.* От вождества к племени? Некоторые тенденции эволюции политических систем Северо-Восточного Йемена за последние две тысячи лет // Этнографическое обозрение. 1996(г). № 2. С. 81–91.
- Коротаев А.В.* Сабейские этюды. Некоторые общие тенденции и факторы эволюции сабейской цивилизации. М., 1997.
- Коротаев А.В.* Вождества и племена страны Хашид и Бакил: Общие тенденции и факторы эволюции социально-политических систем Северо-Восточного Йемена за последние три тысячи лет. М., 1998.
- Коротаев А.В.* Племя как форма социально-политической организации сложных непервобытных обществ (в основном по материалам Северо-Восточного Йемена) // Альтернативные пути к цивилизации. М., 2000. С. 265–291.
- Кочакова Н.Б.* Рождение африканской цивилизации (Ифе, Ойо, Бенин, Дагомея). М., 1986.
- Кочакова Н.Б.* Размышления по поводу раннего государства // Ранние формы политической организации: от первобытности к государственности. М., 1995. С. 153–164.
- Кочакова Н.Б.* Раннее государство и Африка (аналитический обзор публикаций Международного исследовательского проекта «Раннее государство»). М., 1999.
- Крадин Н.Н.* Кочевые общества (проблемы формационной характеристики). Владивосток, 1992.
- Крадин Н.Н.* Кочевые общества в контексте стадиальной эволюции // Этнографическое обозрение. 1994. № 1. С. 62–72.
- Крадин Н.Н.* Империя хунну. Владивосток, 1996.
- Крадин Н.Н.* «Раннее государство»: ключевые аспекты концепции и некоторые моменты ее истории // Африка: общества, культуры, языки. М., 1998. С. 4–15.
- Крадин Н.Н.* Империя хунну (структуре общества и власти). Автореф. дис. д.и.н. СПб., 1999.
- Крадин Н.Н.* Кочевники, мир-империи и социальная эволюция // Альтернативные пути к цивилизации. М., 2000. С. 314–336.
- Куббель Л.Е.* Очерки потестарно-политической этнографии. М., 1988.
- Марей А.В.* Особенности социально-политической организации печенегов // Альтернативные пути к цивилизации. М., 2000. С. 337–343.

- Мешков К.Ю.* Филиппины // Малые народы Индонезии, Малайзии и Филиппин. М., 1982. С. 175–226.
- Никитин Н.И.* О формационной природе ранних казачьих сообществ (к постановке вопроса) // Феодализм в России. М., 1987. С. 236–245.
- Никитин Н.И.* О традициях казачьего и общинного самоуправления в России XVII в. // Известия СО РАН. История, филология и философия. 1992. № 3. С. 3–8.
- Ольгейрссон Э.* Из прошлого исландского народа. М., 1957.
- Павленко Ю.* Історія світової цивілізації. Соціокультурний розвиток людства. Київ, 1996.
- Рашковский Е.* Запад, Россия, Восток. Востоковедные темы в трудах русских религиозных философов // Азия и Африка сегодня. 1990. № 6. С. 56–58; № 8. С. 55–58; № 9. С. 53–55.
- Ренев Е.Г.* Концепция цивилизации в философии истории шотландского Просвещения // Цивилизации. Вып. 2. М., 1992. С. 223–228.
- Рознер И.Г.* Антифеодальные государственные образования в России и на Украине в XVI–XVIII вв // Вопросы истории. 1970. № 8. С. 42–56.
- Северцов А.Н.* Морфологические закономерности эволюции. М – Л., 1949.
- Северцов А.Н.* Главные направления эволюционного процесса. М., 1967.
- Скальник П.* Понятие «политическая система» в западной социальной антропологии // Советская этнография. 1991. № 3. С. 144–146.
- Скрынникова Т.Д.* Харизма и власть в эпоху Чингис-хана. М., 1997.
- Скрынникова Т.Д.* Монгольское кочевое общество периода империи // Альтернативные пути к цивилизации. М., 2000. С. 344–355.
- Сорокин П.* Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992.
- Стеблин-Каменский М.И.* Мир саги. Л., 1984.
- Трапавлов В.В.* Ногайская альтернатива: от государства к вождству и обратно // Альтернативные пути к ранней государственности. Владивосток, 1995. С. 199–208.
- Трапавлов В.В.* Бий мангытов, коронованный chief: вождства в истории позднесредневековыхnomadov Западной Евразии // Альтернативные пути к цивилизации. М., 2000. С. 356–367.
- Февр Л.* Бои за историю. М., 1991 [1930].
- Франциузов С.А.* Общество Райбиона // Альтернативные пути к цивилизации. М., 2000. С. 302–312.

- Хачатуровян В.М.* Теория локальной цивилизации в русской цивилиографии второй трети XIX в. Славянофилы и П. Чаадаев // Цивилизации. Вып. 4. М., 1997. С. 153–168.
- Чиркин В.Е.* Об изучении государственных образований, возникавших в ходе восстаний рабов и крестьян // Вопросы истории. 1955. № 9.
- Чудинова О.Ю.* Мужчины и женщины в обществеaborигенов Австралии // Пути развития Австралии и Океании. История, экономика, этнография. М., 1981. С. 220–237
- Abu Ghani F.A.A.* Al-bunyah al-qabaliyyah fi: 'l-Yaman bayna 'l-istimra: wa-'l-taghayyur. Dimashq, 1985.
- Abu Ghani F.A.A.* Al-qabi:lah wa-'l-dawlah fi 'l-Yaman. al-Qa:hira, 1990.
- Abu-Lughod J.L.* Before European Hegemony: The World System A.D. 1250–1350. Oxford, 1989.
- Adams R.N.* Energy and Structure. Austin – London, 1975.
- Barton R.F.* Ifugao Economics. Berkeley, 1922.
- Baumann H., and Westermann D.* Les peuples et les civilisations de l'Afrique. Paris, 1948.
- Berent M.* Stateless polis. Unpublished Ph.D. thesis manuscript. Cambridge, 1994.
- Berent M.* Hobbes and the «Greek Tongues» // History of Political Thought. 1996. Vol. 17. P. 36–59.
- Bondarenko D.M.* «Homologous Series» of Social Evolution // Sociobiology of Ritual and Group Identity: A Homology of Animal and Human Behaviour. Concepts of Humans and Behaviour Patterns in the Cultures of the East and the West: Interdisciplinary Approach. Moscow, 1998. P. 98–99.
- Bondarenko D.M., and Korotayev A.V.* Family Structures and Community Organization: A Cross-Cultural Comparison. // Annual Meetings. The Society for Cross-Cultural Research (SCCR), The Association for the Study of Play (TASP). February 3–7, 1999. Santa Fe, New Mexico. Program and Abstracts. Santa Fe, 1999. P. 14.
- Bondarenko D.M., and Korotayev A.V.* Family Size and Community Organization: A Cross-Cultural Comparison // Cross-Cultural Research. 2000. Vol. 34. P. 152–189.
- Carneiro R.L.* A Theory of the Origin of the State // Science. 1970. Vol. 169. P. 733–738.

- Carneiro R.L.* The Chiefdom: Precursor of the State // The Transition to Statehood in the New World. Cambridge (MA), 1981. P. 37–79.
- Carneiro R.L.* Cross-currents in the Theory of State Formation // American Ethnologist. 1987. Vol. 14. P. 756–770.
- Carneiro R.L.* The Nature of the Chiefdom as Revealed by Evidence from the Cauca Valley of Colombia // Profiles in Cultural Evolution. Ann Arbor, 1991. P. 167–190.
- Chase-Dunn C., and Hall T.D.* Comparing World-Systems: Concepts and Working Hypotheses // Social Forces. 1993. Vol. 71. P. 851–886.
- Chase-Dunn C., and Hall T.D.* The Historical Evolution of World-Systems // Sociological Inquiry. 1994. Vol. 64. P. 257–280.
- Chase-Dunn C., and Hall T.D.* The Historical Evolution of World-Systems // Protosociologie. 1995. Bd. 7. S. 23–34, 301–303.
- Chase-Dunn C., and Hall T.D.* Rise and Demise. Comparing World-Systems. Boulder – Oxford, 1997.
- Chelhod J.* L'Organisation sociale au Yémen // L'Ethnographie. 1970. T. 64. P. 61–86.
- Chelhod J.* Social Organization in Yémen // Dira:sat Yamaniyyah. 1979. Vol. 3. P. 47–62.
- Chelhod J. et al.* L'Arabie du Sud: histoire et civilisation. T. 3: Culture et institutions du Yémen. Paris, 1984.
- Claessen H.J.M.* The Internal Dynamics of the Early State // Current Anthropology. 1984. Vol. 25. P. 365–370.
- Claessen H.J.M.* Kings, Chiefs and Officials: The Political Organization of Dahomey and Buganda Compared // Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law. 1987. Vol. 25/26. P. 203–241.
- Claessen H.J.M.* Evolutionism in Development. Beyond Growing Complexity and Classification // Kinship, Social Change and Evolution. Wien, 1989–1992. P. 231–247.
- Claessen H.J.M.* State // Encyclopedia of Cultural Anthropology. Vol. 4. New York, 1996. P. 1253–1257.
- Claessen H.J.M., and Oosten J.G.* (Eds.). Ideology and the Formation of Early States. Leiden etc, 1996.
- Claessen H.J.M., and Skalník P.* (Eds.). The Early State. The Hague etc, 1978.
- Claessen H.J.M., and Skalník P.* (Eds.). The Study of the State. The Hague etc, 1981.

- Claessen H.J.M., and van de Velde P.* Another Shot at the Moon // Research. 1982. № 1. P. 9–17.
- Claessen H.J.M., and van de Velde P.* Social Evolution in General // *Claessen H.J.M., van de Velde P., and Smith M.E. (Eds.). Development and Decline: The Evolution of Sociopolitical Organization.* South Hadley, 1985. P. 1–12.
- Claessen H.J.M., and van de Velde P. (Eds.). Early State Dynamics.* Leiden etc, 1987.
- Claessen H.J.M., van de Velde P., and Smith M.E. (Eds.). Development and Decline: The Evolution of Sociopolitical Organization.* South Hadley, 1985.
- Collins R.* Theoretical Sociology. San Diego, 1988.
- Dobzhansky T., Ayala F.J., Stebbins G.L., and Valentine J.W.* Evolution. San Francisco, 1977.
- Dostal W.* Eduard Glaser – Forschungen im Yemen. Wien, 1970.
- Dostal W.* Sozio-ökonomische Aspekte der Stammesdemokratie in Nordost-Yemen // *Sociologus.* 1974. Bd. 24. S. 1–15.
- Dresch P.* Position of Shaykhs among the Northern Tribes of Yemen // *Man.* 1984(a). Vol. 19. P. 31–49.
- Dresch P.* Tribal Relations and Political History in Upper Yemen // *Contemporary Yemen: Politics and Historical Background.* London – Sydney, 1984(b). P. 154–174.
- Dresch P.* Tribes, Government, and History in Yemen. Oxford, 1989.
- Earle T.* Economic and Social Organization of a Complex Chiefdom: The Halelea District, Kiua'i, Hawaii. Ann Arbor, 1978.
- Eisenstadt S.N.* European Civilization in a Comparative Perspective. A Study in the Relations Between Culture and Social Structure. Oslo, 1978.
- Eisenstadt S.N. (Ed.).* The Origins and Diversity of Axial Age Civilizations. Albany – New York, 1986.
- Eisenstadt S., Chazan N., and Abitbol M. (Eds.).* The Early State in African Perspective. Leiden, 1988.
- Frank A.G., and Gills B.K. (Eds.).* The World System: Five Hundred Years or Five Thousand? London, 1993.
- Frantsouzoff S.A.* The Inscriptions from the Temples of Dhat Himyam at Raybun // *Proceedings of the Seminar for Arabian Studies.* 1995. Vol. 25. P. 15–27. Tables I–II.

- Frantsouzoff S.A.* Regulation of Conjugal Relations in Ancient Raybun // Proceedings of the Seminar for Arabian Studies. 1997. Vol. 27. P. 47–62.
- Fried M.* On the Concepts of 'Tribe' and 'Tribal Society' // Essays on the Problem of Tribe. Seattle – London, 1967. P. 3–20.
- Fried M.* The Notion of Tribe. Menlo Park, 1975.
- Frobenius L.* Ursprung der afrikanischen Kulturen. Berlin, 1898.
- Frobenius L.* Paideuma. Umrisse einer Kultur- und Seelenlehre. München, 1921.
- Führer-Haimendorf C.* The Apa Tanis and Their Neighbours. London – New York, 1962.
- Futuyma D.J.* Evolutionary Biology. Sunderland, 1986.
- Goldenweiser A.A.* Early Civilization. An Introduction to Anthropology. New York, 1922.
- Goldman J.* Ancient Polynesian Society. Chicago, 1970.
- Gräbner F.* Die Methode der Ethnologie. Heidelberg, 1911.
- Hoebel E.A.* The Cheyennes: Indians of the Great Plains. Fort Worth, 1977.
- Jaspers K.* Vom Ursprung und Ziel der Geschichte. Zürich, 1949.
- Korotayev A.V.* Ancient Yemen. Some General Trends of Evolution of the Sabaic Language and the Sabaean Culture. Oxford – New York, 1995.
- Korotayev A.V.* Pre-Islamic Yemen. Sociopolitical Organization of the Sabaean Cultural Area in the 2nd and 3rd Centuries A.D. Wiesbaden, 1996.
- Korotayev A.V.* Evolution: Specific and General. A Critical Reappraisal // Sociobiology of Ritual and Group Identity: A Homology of Animal and Human Behaviour. Concepts of Humans and Behaviour Patterns in the Cultures of the East and the West: Interdisciplinary Approach. Moscow, 1998. P. 94–96.
- Kradin N.N.* Specific Features of Evolution in the Nomadic Societies // Prehistory and Ancient History. 1993. Vol. 4/5. P. 165–183.
- Kroeber A.L.* Style and Civilizations. Ithaca, New York, 1957.
- Kroeber A.L.* A Roster of Civilizations and Cultures. New York, 1962.
- Lubbock J.* The Origin of Civilization and the Primitive Condition of Man. Mental and Social Condition of Savages. London, 1870.
- Morgan L.H.* Ancient Society, Or Researches in the Lines of Human Progress from Savagery through Barbarism to Civilization. Cleveland, 1877.

- Obermeyer G. J.* (1982). Le formation de l'imamat et de l'état au Yémen: Islam et culture politique // La péninsule Arabique d'aujourd'hui. Etudes par pays. Paris, 1982. T. 2. P. 31–48.
- Parsons T.* Societies: Comparative and Evolutionary Perspectives. Englewood Cliffs, 1966.
- Rensch B.* Evolution above the Species Level. London, 1959.
- Sahlins M.D.* Social Stratification in Polynesia. Seattle, 1958.
- Sahlins M.D.* Evolution: Specific and General // Sahlins M.D. and Service E.R. (Eds.). Evolution and Culture. Ann Arbor, 1960. P. 12–44.
- Sahlins M.D., and Service E.R.* Introduction // Sahlins M.D. and Service E.R. (Eds.). Evolution and Culture. Ann Arbor, 1960. P. 1–11.
- Sanderson S.K.* Social Evolutionism. A Critical History. Cambridge (Mass.) – Oxford, 1990.
- Sanderson S.K.* (Ed.). Civilizations and World-Systems: Two Approaches to the Study of World-Historical Change. Walnut Creek, 1995.
- Service E.R.* Primitive Social Organization. An Evolutionary Perspective. New York, 1971 [1962].
- Schmidt W.* Die Stellung der Pygmaenvölker in der Entwicklungsgeschichte des Menschen. Stuttgart, 1910.
- Spencer H.* On Social Evolution (Selected Writings Edited and Introduced by J.D.Y. Peel). Chicago, 1972 [1862].
- Townsend J. B.* (1985). The Autonomous Village and the Development of Chiefdoms // Claessen H.J.M., van de Velde P., and Smith M.E., (Eds.). Development and Decline. The Evolution of Sociopolitical Organization. South Hadley, 1985. P. 141–155.
- Toynbee A.J.* A Study of History. Vol. 1–12. London, 1934–1954.
- Toynbee A.J.* Civilization on Trial. New York, 1948.
- Tylor E.B.* Forschungen über die Urgeschichte der Menschheit und die Entwicklung der Civilisation. Leipzig, 1866.
- Tylor E.B.* Primitive Culture: Researches into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Art and Custom. London. 1871.
- Tylor E.B.* Anthropology: An Introduction to the Study of Man and Civilization. London, 1881.
- Voget F.W.* A History of Ethnology. New York, 1975.
- Wallerstein I.* The Modern World-System: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century. New York, 1974.

- Wallerstein I.* The Capitalist World Economy. Cambridge, 1979.
- Wallerstein I.* World-Systems Analysis // Social Theory Today. Cambridge, 1987. P. 309–324.
- Webb M.C.* The State of the Art on State Origins? // Reviews in Anthropology. 1984. Vol. 11. P. 270–281.
- Weber M.* Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie. Vol. 1–12. Tübingen, 1920.
- Whyte M.K.* The Status of Women in Preindustrial Societies. Princeton, 1978.
- Wissler C.* Man and Culture. New York, 1923.
- Wissler C.* The American Indian. London, 1931.
- Woodburn J.C.* (1972). Ecology, Nomadic Movement and the Composition of the Local Group among Hunters and Gatherers: An East African Example and its Implications // Man, Settlement and Urbanism. London, 1972. P. 193–206
- Woodburn J.C.* Minimal Politics: The Political Organization of the Hadza of North Tanzania // Politics and Leadership: A Comparative Perspective. Oxford, 1979.
- Woodburn J.C.* Hunters and Gatherers Today and Reconstruction of the Past // Soviet and Western Anthropology. London, 1980. P. 95–117.
- Woodburn J.C.* Egalitarian Societies // Man. 1982. Vol. 17. P. 431–451.
- Woodburn J.C.* African Hunter-Gatherer Social Organization. Is it Best Understood as a Product of Encapsulation? // Hunters and Gatherers. Vol. 1: History, Evolution and Social Change. P. 43–64. Oxford, 1988(a).
- Woodburn J.C.* Some Connections between Property, Power and Ideology // Hunters and Gatherers. Vol. 2: Property, Power and Ideology. P. 10–31. Oxford, 1988(b).

I. ПРЕДПОСЫЛКИ АЛЬТЕРНАТИВНОСТИ И НАЧАЛЬНЫЕ ФАЗЫ ПОЛИТОГЕНЕЗА

БИОСОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ АЛЬТЕРНАТИВНОСТИ*

М.Л. Бутовская

Исследования по эволюции человека, этологии и нейрофизиологии неизбежно затрагивают вопросы о месте человека в природе и его поведенческой уникальности [Parker, Gibson 1979; Tanner 1987; McGrew 1992; Butovskaya, Fainberg 1993; Picq 1994; Moore 1996]. Свежие данные, полученные молекулярными генетиками, приматологами и специалистами в области этологии человека открывают новые перспективы для аргументации степени близости человека к другим живым существам. Понять и объяснить пути формирования человеческого общества представляется совершенно невозможным без учета факта преемственности базовых моделей социальных отношений у приматов и человека [Butovskaya and Feinberg 1993]. Способность к самоузнаванию, целеполагание, долгосрочная память, способность предсказывать действия окружающих, обман, достижение общих закономерностей социальных отношений в пределах группы – вот далеко не полный список базовых характеристик, лежащих в основе формирования человеческого общества и отмеченных также по крайней мере у человекообразных обезьян (шимпанзе, бонобо, горилл, орангутанов). Как и многие другие феномены человеческой жизни, некоторые аспекты культуры возможно объяснить с позиций естественных наук [Rodseth et al 1991; Eibl-Eibesfeldt, Sutterlin 1992]. В настоящее время, собранный полевой материал позволяет, как нам представляется, решить ряд спорных вопросов о биологических корнях таких явлений, как системы передачи социальной информации, системы родства, брачных связей и принципы социальной стратификации [Butovskaya, Fainberg 1993; Butovskaya 1999a; 1999b]. Цель данной статьи – продемонстрировать наличие ряда базовых для социальных структур свойств, проявляющихся в процессе взаимодействия на внутри- и межгрупповом уровнях человека и приматов. Особое внимание будет уделено сравнительному анализу типов социальной иерархии и их возможной взаимосвязи с экологическими факторами. В

* Исследование проведено при поддержке фондов РФФИ, грант № # 99-06-80346 и РГНФ, грант № 98-06-00136.

круг обсуждаемых вопросов будет также включена проблема возможной роли филогенетической инерции в формировании социального поведения гоминид. Отдельно будет обсуждена проблема взаимосвязи степени сложности социальных отношений и интеллекта.

Социоэкология и социальная сложность: сообщества с тесными связями между самками и без таковых

Современный человек обладает максимальным разнообразием типов социальных структур и стилей доминирования на межпопуляционном уровне по сравнению с любым из ныне живущих видов приматов. Связано ли такое разнообразие с социоэкологическими факторами? Данные из области приматологии, как нам кажется, могут дать некоторые общие ответы на этот вопрос. В соответствии с социоэкологической парадигмой, степень сложности социальных отношений и механизмы, направленные на предотвращение социальной напряженности, зависят от экологических условий, в которых происходило формирование данного вида, и тех условий, в которых он существует в данный момент времени. Вид выступает одним из компонентов локальной экосистемы, а социальные взаимоотношения в группах данного вида рассматриваются как факторы, оптимизирующие адаптацию представителей этого вида к конкретной среде обитания.

В настоящее время существуют две гипотезы, объясняющие причины, приведшие к групповому образу жизни и развитию тесных связей на внутригрупповом уровне. Первая гипотеза исходит из необходимости формирования сплоченных групп для успешной конкуренции за пищевые ресурсы с представителями своего вида [Wrangham 1980]. Установлена также связь между наземным образом жизни, пищевой специализацией и общими размерами группы [Clutton-Brock, Harvey 1977; van Schaik 1989]. Как показывают расчеты Р. Данбара [Dunbar 1988], наземные фруктоядные формы и неспециализированные всеядные виды преимущественно формируют большие группы с избирательными конкурентными отношениями между самками. Размеры групп могут также зависеть от среды обитания. Наблюдения за группами шимпанзе из разных национальных парков показывают, что популяции, живущие в более открытой и засушливой местности, как правило, характеризуются большей сплоченностью и компактностью групп (например, гора Аssirik, Сенегал [см. Tutin et al. 1983]). В открытой безлесной местности шимпанзе держаться более крупными группами, в состав которых практически всегда входят взрослые самцы. Одиночные животные или группы из одних самок с детенышами не отваживаются на длительные самостоятельные путешествия. Описанные примеры, по-

видимому, делают вполне оправданной вторую гипотезу: социальность у приматов формировалась под влиянием пресса хищников [van Schaik, van Hooff 1983]. Причем по мере увеличения общей доли времени, проводимого на земле, этот фактор становился все более значимым.

Обе гипотезы (гипотеза пресса хищников и гипотеза межгрупповой конкуренции за пищевые ресурсы) сходятся в одном, а именно, что виды должны существенно различаться в первую очередь по характеру внутригрупповых отношений между самками. Уровень внутригрупповой конкуренции также отражает характер распределения пищевых ресурсов в пространстве, равно как и качество этих ресурсов (пища является основным объектом конкуренции самок, тогда как самцы преимущественно соревнуются за обладание самками) [van Noordwijk, van Schaik 1987; van Schaik 1989].

Социальные отношения являются следствием давления экологических факторов на отдельную особь, и социальное поведение направлено на повышение итоговой приспособленности индивидов. В силу указанных ранее причин, последняя определяется разными факторами для самцов и самок (это правило остается неизменным и для человека). В то время как пища является основным фактором, ограничивающим репродуктивный успех самок, репродуктивный успех самцов определяется ограниченным доступом к самкам [Wrangham 1980].

В настоящее время нет единого мнения о том, что является основополагающим фактором, определяющим тип связей между самцами или самками в группе. Одни авторы полагают, что таким фактором выступает конкуренция на межгрупповом уровне. Она является стимулом к формированию тесных связей между самками, и ее воздействие на итоговую приспособленность самок гораздо более значимо по сравнению с внутригрупповой конкуренцией [Wrangham 1980; Butovskaya 1999a]. Другие в первую очередь обращают внимание на причины, порождающие внутригрупповую конкуренцию. В процессе формирования группировок у самок неизбежно возникает конкуренция за пищевые ресурсы [van Schaik 1989]. Там, где пищу легко монополизировать, внутригрупповая конкуренция носит прямые силовые формы (яванские макаки, макаки резусы), и отношения самок принимают выраженный деспотический и непотистский (предпочтение родственников) характер. В этих условиях с высокой долей вероятности формируются социальные структуры с упором на тесные связи между самками (матрилинейные отношения) [van Noordwijk, van Schaik 1987; van Schaik 1989]. В условиях, когда пищевые запасы небогаты и распределены в пространстве дисперсно, конкуренция носит завуалированный, непрямой характер (*Saimiri spp.* [Mitchell et al. 1991]). В этих ситуациях, с высокой до-

лей вероятности, формируются социальные структуры без тесных связей между самками. Там, где ресурсы имеются в изобилии и распространены на большом пространстве, а не сконцентрированы в небольшой зоне, конкуренция между самками практически отсутствует (*Presbytes thomasi* [Sterck et al 1997]), и отношения между самками преимущественно носят эгалитарный характер. Самки не объединяются в тесные группы по родственно-клановому признаку, и их связи друг с другом часто бывают слабо выражены.

Типы внутригрупповых отношений между самками (тесные или слабые связи) формируются главным образом под влиянием прямой внутригрупповой конкуренции за пищу. Этот фактор оказывается более значим, нежели межгрупповая конкуренция за ресурсы. Многие виды со слабой внутригрупповой конкуренцией между самками преимущественно листоядны (*Gorilla gorilla beringei* [Watts 1994]), тогда как большинство видов с развитыми связями самок на групповом уровне специализируется на питании фруктами (*Macaca spp.* [Schaik 1989; Butovskaya 1993]). В тех случаях, когда животные кормятся на крупных фруктовых деревьях и дополняют свой рацион другими кормами, то есть их диета менее специализированна, внутригрупповая конкуренция может быть очень слабой (*Macaca Tonkeana*). Напротив, в таких случаях вероятность межгрупповой конкуренции сильно возрастает и можно ожидать что группы будут формироваться по матрилокальному типу (*Erythrocebus patas* [Chism, Rowell 1986]).

Дополнительным стимулом к объединению самок в группы является опасность нападения со стороны хищников.

Упомянутая выше модель ван Схайка преимущественно разъясняет причины формирования связей между самками. Несколько позднее этим же автором была предпринята попытка прогнозировать типы социальных отношений между самцами [van Hooff, van Schaik 1994]. Поскольку самки являются основным ограниченным ресурсом для самцов и самцы не могут с легкостью делиться этим ресурсом, предполагается, что самцы менее склонны к альтруизму и кооперации, по сравнению с самками, и в основном кооперации принимает форму альянсов или reciprocalного альтруизма.

Объяснение эволюции групповых отношений у самок приматов с необходимостью требует понимания обратной связи в эволюции социальных отношений [Sterck et al. 1997]. Одним из таких катализирующих стимулов выступает опасность инфаницида со стороны самцов. Риск инфаницида может способствовать формированию мультисамцовых и мультисамковых групп. В этих условиях самкам «легче сбить самцов с толку», относительно вероятности отцовства. Осуществляется

это посредством скрытой овуляции и исчезновения наружных признаков эструса, а также промискуитетного спаривания. В результате сразу несколько самцов выступают потенциальными защитниками детенышней данной самки. Опасность инфантицида выступает ведущим фактором, стимулирующим групповой образ жизни в тех случаях, когда другие факторы не работают (отсутствует пресс со стороны хищников, низка внутргрупповая и межгрупповая конкуренция) [Sterck et al. 1997]. Сравнение близкородственных видов (например, представителей рода *Macaca*) показало, что механизмы контроля социальной напряженности у древесных видов развиты слабее, чем у наземных форм (яванские макаки в сравнении с тонкинскими). Причина заключается в том, что социальность выступает существенно более важным фактором выживания у наземных видов, будучи надежной защитой от хищников, кроме того, групповой образ жизни обеспечивает и более успешную конкуренцию членов группы с другими группами данного вида за доступ к пище.

В основе формирования устойчивой социальной структуры лежит положительный баланс между платой и выгодой, которые получает отдельная особь от социального образа жизни. Этот баланс может варьироваться в пределах одного вида на популяционном уровне, что и приводит к формированию межгрупповых различий в стиле доминирования, моделях контроля социальной напряженности и устранения отрицательных последствий внутригрупповой агрессии.

Устойчивая связь «самец-самка», кооперация самок и инфантицид

Разнообразие типов иерархических структур у современного человека можно рассматривать как результат эволюционного развития социальных структур у предковых групп ранних гоминид. Отдельные общие черты социального поведения последних представляется возможным реконструировать на основе данных по социо-экологии ныне живущих приматов. Вполне возможно, что социальные структуры ранних гоминид строились на принципах патрилокальности и конкурентных альянсов между самцами. Вместе с тем, мы предполагаем, что сообщества ранних гоминид в существенной степени являлись матрицентрическими (Таблица 1) [Butovskaya 1999a]. У шимпанзе, например, самки, как правило, не родственны друг другу, однако они способны организовывать устойчивые избирательные коалиции. Родственные и дружественные связи могут часто перекрываться и «дифференциация на друзей и врагов у самок выражены подчас еще острее, чем у самцов» [de Waal 1990: 53]. Порой самки путешествуют с дочерьми и в этих случаях кооперация принимает выраженные формы [Goodall 1986]. В отличие от обычновенных шимпанзе, у бонобо самки в целом обладают

более высоким социальным статусом и могут даже доминировать над самцами [de Waal 1987; Kano 1992; Ihobe 1992]. В человеческих обществах женщины явно продолжают следовать той же модели, и их связи друг с другом характеризуются исключительной стабильностью. Во многих традиционных обществах женщина, переходя в дом мужа, устанавливает тесные связи, включая совместную работу по дому и обязанности по выращиванию детей, с родственницами мужа, и их социальный статус напрямую бывает связан с длительностью пребывания в данной группе и возрастом (Таблица 1).

Таблица 1
Типы групповых отношений у африканских человекообразных обезьян, современного человека и ранних гоминид

Виды	Устойчивые социальные связи	Контактная агрессия		Доминирование		Альянсы	
		Самцы	Самки	Самцы	Самки	Самцы	Самки
Горилла	Самец-самка	В	Н	Д	П	КА	Н
Шимпанзе	Самец-самец, самка-самка*	В	Н	Д	П	КА	ДП
Бонобо	самец-самец, самка-самка, самец-самка	Н	Н	Д*	Д*	КА	ДП
Современный человек	Мужчина-мужчина, женщина-женщина, мужчина-женщина	В	Н	Д	Д*	КА	ДП
Ранние гоминиды	Самец-самец, самец-самка, самка-самка	?	Н	Д	Д*	КА	ДП

Условные обозначения: самка-самка* – тесные дружественные связи между самками возможны при некоторых условиях; В – высокий; Н – низкий, Д – самцы доминируют над самками; П – самки подчиненные по отношению к самцам; Д* – самцы и самки могут доминировать над противоположным полом при определенных условиях; КА – конку-

рентные альянсы; ДП – дружественные предпочтения; Н – отсутствуют; ? – не возможно предсказать [Butovskaya 1999a].

Другим часто игнорируемым фактором, способствующим развитию дружественных связей между самками, является опасность инфантицида со стороны самцов (как будет показано ниже, такая адаптация реально существует у нескольких видов приматов). Как следует из данных, полученных в последние годы, инфантицид является одной из важнейших репродуктивной стратегии у приматов [Angst, Tommen 1977; Daly, Wilson 1988; Hiraiwa-Hasegawa 1992]. Вполне возможно, что инфантицид также практикуется в качестве эффективной мужской репродуктивной стратегии и в современном человеческом обществе. Как было показано В. Шивенховелом [Schiefenhovel 1989], дети, рожденные от внебрачных связей, или дети от прошлых браков оказываются более вероятными жертвами инфантицида в 15 из 39 традиционных обществ, практикующих этот обычай. Хотя в большинстве случаев убивают детей преимущественно женщины (в том числе и сами матери), не подлежит сомнению, что стороной, выносящей «смертный приговор» и инициирующей данное поведение, являются именно мужчины или их кровные родственники. Данные по арче, современным охотникам-собирателям Парагвая, дают возможность заключить, что дети, не имеющие отца, имеют в 15 раз больше шансов погибнуть от инфантицида в возрасте от двух до пятнадцати лет, чем их сверстники, имеющие отцов [Hill, Kaplan 1988]. В западных обществах риск погибнуть в первые два года жизни для усыновленных детей в 65 раз выше, чем для их сверстников, живущих с двумя биологическими родителями [Daly, Wilson 1988].

Инфантицид снижает итоговую приспособленность самок. Не удивительно, что самки приматов выработали специальные стратегии, препятствующие убийству детенышей самцами. В то время как у некоторых таксонов (например, у макаков и мартышек) самки демонстрируют исключительную сплоченность и коллективно защищают детенышей от самцов-пришельцев, для других таксонов (например, колобусов или лангур) типичной реакцией является эмиграция и дробление группы на более мелкие.

Социальная иерархия и доминирующий пол

Модель дисперсии и проявление иерархических отношений могут быть различными у близкородственных видов даже при условии, что они в равной мере являются объектом интенсивного пресса со стороны хищников. Приведем в качестве примера данные по двум видам

саймири – *Saimiri oerstedi* и *Saimiri sciureus* [Mitchell et al. 1991]. Прямая межгрупповая конкуренция за пищевые ресурсы отсутствовала, по данным исследователей, у обоих видов. Вместе с тем, внутригрупповая конкуренция за пищу оказалась сильно выраженной у *S. sciureus*, а у *S. oerstedi* была мало заметной. Как и следовало предполагать, для *S. oerstedi* были характерны неиерархичные, недифференцированные отношения между самками, и именно самки покидали родительскую группу, достигнув половой зрелости. Напротив, у самок вида *S. sciureus* наблюдалась отчетливая иерархия доминирования, их внутригрупповые альянсы были часты и стабильны, самки проводили в родной группе всю жизнь, а самцы являлись мигрирующим полом.

Данные из области социоэкологии приматов указывают на сложный характер взаимосвязей между моделью дисперсии и характером доминирования в пределах пола и между полами. Например, и у шимпанзе, и у бонобо самцы являются резидентным полом. Но эти виды поразительно различаются между собой по характеру отношений внутри и между полами (Таблица 1). У шимпанзе самцы тесно взаимосвязаны друг с другом. Эти связи напрямую завязаны с иерархией доминирования. При изменении положения самца на иерархической лестнице меняются и его партнеры по альянсам [Goodall 1986]. Груминг у самцов шимпанзе, по-видимому, не является свидетельством привязанности между самцами-родственниками, но служит надежной социальной тактикой, обеспечивающей формирование альянсов против других особей. Напротив, у бонобо иерархия доминирования самцов выражена менее отчетливо, самцы реже объединяются друг с другом, и редко формируют конкурентные альянсы [Susman 1987]. Более того, у бонобо самки часто доминируют над самцами при конкуренции за пищу [Kano 1992]. Предполагается, что только кооперация и взаимная поддержка самок обеспечивает им доминирующее положение в группе [Franz 1999; Kano 1992]. Поскольку большинство взрослых самок в группах у бонобо, как правило, не родственники, единственным объяснением данного феномена является тот факт, что при переходе в новую группу самки активно практикуют стратегию «социальной адаптации». Суть ее сводится к установлению дружественных связей со старейшей и наиболее высокоранговой самкой сообщества. В отличие от самцов шимпанзе, груминг между самками бонобо положительно коррелирует с дружественными связями и никоим образом не может у этого вида объясняться в терминах платы вышестоящей особи за поддержку в агрессивных конфликтах. Данные показывают, что высокоранговые самки бонобо не только не являлись более частым объектом груминга по сравнению с подчиненными самками, но зачастую сами чаще чистят более низкоранг-

говых партнерш [Franz 1999]. Дележ пищи между самцами менее типичен. Отношения между самками бонобо характеризуются высоким уровнем социабельности: самки часто вступают в дружественные контакты друг с другом, и взаимные умиротворяющие действия между ними – явление распространённое [Nishida, Hiraiwa-Hasegawa 1987]. Хотя дележ пищи более типичен для взаимоотношений в парах самец-самка, дележ между самками (в том числе неродственными) также не является исключением из правил [Hohmann and Fruth 1993]. Подобные случаи совершенно отсутствуют в сообществах шимпанзе [Kuroda 1984].

Различия между шимпанзе и бонобо в структуре социального поведения легко объяснить, если обратиться к анализу конкуренции между самцами за доступ к репродуктивным самкам. У самок бонобо период псевдо-эструса значительно длиннее, чем у шимпанзе, и в этих условиях попытки доминантного самца монополизировать самку в эструсе приносят меньше выгод [Ihobe 1992]. Обращаясь к моделям поведения ранних гоминид, можно предположить, что отсутствие внешних признаков рецептивности (овуляции) может оказаться сходное воздействие на отношение между самцами. Аналогично самцам бонобо, и вопреки привычным представлениям, у самцов ранних гоминид можно предположить снижение внутригрупповой конкуренции за самку (Таблица 1). Помимо этого, как и большинства видов приматов, менструальные циклы самок из одной группы могут быть значительно синхронизированы (отголоски этого явления наблюдаются и у современного человека), что снижает эффективность практики монополизации рецептивных самок доминантным самцом.

У видов, ориентированных на связи между самками, могут также наблюдаться устойчивые привязанности между самцами. Макаки боннеты (*Macaca radiata*) и бурые макаки (*M. arctoides*) являются хорошей иллюстрацией таких отношений [Butovskaya, Kozintsev 1996a]. У данных видов самцы хотя и не являются родственниками, демонстрируют исключительную терпимость в отношениях друг с другом, они проводят много времени в тесном контакте с другими самцами, часто вмешиваются в конфликты других самцов и часто примиряются после конфликтов [Silk 1992; Butovskaya 1993]. Вместе с тем, нами было показано, что самцы бурых макаков могут манипулировать своими дружественными предпочтениями в пользу более выгодных партнеров. Родственные связи также играют определенную роль в жизни самцов. Установлено, что при исключении фактора иерархического статуса именно родственные предпочтения оказываются решающими при выборе аффилиативного партнера (Таблица 2). Последнее вполне объяснимо, если вспомнить полевые данные по тибетским макакам из которых следует,

что самцы склонны переходить в другие группы совместно с родственниками, или выбирают для эмиграции группы, в которых уже обосновались их старшие братья.

В сообществах охотников-собирателей модели дисперсии совершенно иные, они существенным образом институционализированы и регулируются в рамках социальной традиции. Происхождение разных вариантов трудно восстановить для каждого конкретного общества, однако, представляется наиболее существенным, что наличие патри-, матри- и билокальности в современных человеческих обществах указывает на то обстоятельство, что локальность брачного поселения не может быть использована в качестве отправной точки при реконструкции социальных отношений в популяциях гоминид. Во многих случаях социальный статус самцов и самок по отношению к представителям противоположного пола является ситуативным и относительным, а вовсе не абсолютным.

Родственные связи и стили доминирования

Родственные связи являются одними из наиболее важных факторов, обеспечивающих поддержание группового единства. Многочисленные полевые наблюдения убедительно показали, что родственные животные более склонны защищать и поддерживать друг друга, по сравнению с не-родственниками. Они могут кооперироваться для выращивания потомства (самки) или для защиты самок от самцов-пришельцев (самцы). Было также показано, что тесная привязанность между родственниками является следствием их близкого и длительного знакомства. Фактор знакомства важен как для самок, так и для самцов, независимо от того, какой пол покидает группу по достижении половой зрелости. Даже в сообществах макаков, организованных по матрилокальному принципу, тесные родственные отношения между самцами и самками могут поддерживаться на протяжении всей жизни (бурые и тонкинские макаки). У видов с патрилокальным типом сообществ родственные самки также более привязаны друг к другу, нежели неродственные самки той же группы (шимпанзе) [Goodall 1986], и именно фактор родства является решающим при объяснении избирательности поддержки между самками в конфликтных ситуациях у видов с таким типом социальной организации (гориллы) [Watts 1992].

Интенсивность социальных контактов между членами группы, равно как и степень готовности к контактам с другими особями (родственными и неродственными, знакомыми и незнакомыми) может сильно варьировать на межвидовом уровне, даже в том случае, когда внешние характеристики социальной структуры могут быть сходными. Сущест-

венные различия могут наблюдаться между близкородственными видами. Так, в пределах рода *Macaca* виды отличаются по степени жесткости социальных отношений в пределах группы, хотя у всех без исключения видов этого рода группы построены по матрилокальному матрилинейному принципу и у всех видов подавляющее число взрослеющих самцов покидает родительскую группу. Выявлена некоторая положительная связь между степенью жесткости социальных отношений (деспотизм в отношении сородичей) и степенью выраженности родственных связей (Таблица 2) [Silk 1982; Butovskaya 1993; Matsumura 1999]. В рамках рода *Macaca* действует своеобразное правило: более деспотические сообщества одновременно являются и более непотичными (ориентированными на родственные предпочтения). В этих условиях проявления альтруизма можно наблюдать преимущественно в направлении близких родственников (в парах мать-детеныш, братья-сестры, бабушки-внуки). Есть, однако, все основания предполагать, что эволюционировав исходно как поведение, направленное на родственных особей, альтруистическое поведение впоследствии (при определенных условиях) могло постепенно переадресовываться другим членам группы. Реципрокный альтруизм – один из примеров такой ситуации. Модель группового отбора, основанная на учете выраженной избирательности внутригрупповых отношений, отражает реальное положение дел в сообществах приматов и проясняет отдельные моменты происхождения альтруистического поведения в эволюции человека.

Работы последних лет, посвященные проблемам социальных отношений в сообществах у разных видов макаков продемонстрировали высокий уровень коадаптивности между различными поведенческими признаками. Показано, что высокий уровень контактной агрессии, связанный с нанесениемувечий сопернику, сопряжен в первую очередь с частой практикой избегания и выраженным комплексом демонстраций подчинения, тогда как в условиях низкого риска повреждений, у вида можно наблюдать развитый репертуар поведения примирения (Таблица 2) [Thierry 1990]. Степень асимметрии доминирования и выраженность родственных отношений отчетливо оказывается нааждодневных взаимоотношениях между членами группы. Так, у видов с незначительными ранговыми различиями, тенденции к примирению после конфликтов выражены очень значительно, межиндивидуальные дистанции минимальны, агрессивные конфликты носят по большей части характер взаимных нападений между соперниками, высокий уровень аффилиативных (дружественных) контактов типичен между членами группы независимо от их ранговой принадлежности и степени родства (*Macaca arctoides*, *M. tonkeana*, *M. radiata*, *M. sylvanus*) [Thierry 1988; Butovskaya

1993; 1995; Butovskaya, Kozintsev 1996a; Silk, 1992]. Напротив, для видов с выраженным иерархическими отношениями типична односторонненаправленная контактная агрессия, высокая опасность повреждений в результате конфликта; выбор аффилиативных партнеров ограничен кругом родственников и близкими по рангу животными, а агрессоры и их жертвы менее склонны примиряться друг с другом (*M. mulatta*, *M. fascicularis*, *M. fuscata*, *M. nemestrina*) [de Waal, Luttrell, 1989; Thierry, 1990; Butovskaya, 1993] (Таблица 2).

Как правило, у большинства видов приматов взрослые самцы доминируют над самками (исключение составляют кошачьи лемуры, зеленые мартышки, бонобо). У некоторых видов макаков с выраженным деспотическими отношениями, матрилинейные связи настолько сильны, что порой самки совместно атакуют самца доминанта и могут даже ранить последнего (резусы и яванские макаки). Такие ситуации можно наблюдать в периоды «борьбы за власть» между матрилиниями (Таблица 2). Например, мы были свидетелями жестокой битвы между доминирующей и второй по рангу матрилиниями в колонии яванских макаков Тамышского питомника, в результате которой шестеро животных были убиты и многие тяжело ранены. Зачинщиками и реальными агрессорами в этом эпизоде выступали взрослые самки. Все попытки самца-доминанта прекратить драку оказались безрезультатными. Конфликт завершился «переделом власти» в группе: матрилиния, «правившая» в группе несколько лет, была низвергнута на самое дно иерархической лестницы, тогда как ее противники заняли доминирующие позиции в группе.

Разумеется разделение видов в пределах рода *Macaca* на эгалитарные и деспотические не абсолютно. В целом виды демонстрируют разную степень социального равновесия, в пределах некоего континуума от более эгалитарных моделей поведения до более деспотических [Thierry 1990]. Сравнение пяти видов макаков на базе наших собственных данных и материалов других авторов наглядно демонстрирует этот тезис [Thierry 1988; de Waal and Luttrell 1989; Aureli et al. 1989; Butovskaya 1993; 1995] (Таблица 2). Вкратце остановимся на характеристиках видов с деспотическим и эгалитарным стилем доминирования, с учетом выделенных нами параметров.

Как следует из таблицы, виды с эгалитарным стилем доминирования имеют низкий уровень контактной агрессии; для этих видов характерна также низкая вероятность получить ранения в ссоре с сородичем (тем более травму, представляющую угрозу для жизни). Взаимная агрессия, при которой оба участника столкновения нападают друг на друга, явление типичное для видов с эгалитарным стилем доминиро-

вания и вовсе невозможное в условиях, когда в группе существует жесткая деспотия «верхов». Напротив, в группах с деспотическим стилем доминирования, распространенным средством общения сородичей является демонстрация подчинения. Не последнюю роль в оценке стилей доминирования играет также ориентация тела особи, демонстрирующей подчинение. У видов, для которых опасность быть раненым велика, характерна демонстрация подчинения, при которой к доминанту обращена бывает задняя часть подчиненного (ягодицы, круп, задние ноги). У видов с эгалитарным стилем доминирования подчиненные не только реже демонстрируют «покорность», они не боятся встретить доминанта «лицом к лицу» (Таблица 2).

Существенные различия между видами прослеживаются и по характеру примирения после конфликтов. Установлено, что виды, ориентированные на деспотические внутригрупповые отношения, склонны «почтить родственников» и всячески «просить у них прощения» после ссоры (если таковая возникнет), с неродственными особями такая «щепетильность» куда менее вероятна, в группах же с эгалитарным стилем доминирования, уровень примирения много выше, а кроме того, фактор родства оказывает существенно меньше влияния на решение «помириться» [Aureli, de Waal 2000]. Аффилиативные отношения в группе в условиях эгалитарности также не ограничиваются кругом родственников, а груминг не ориентирован вверх по иерархической лестнице, как это часто прослеживается у видов с жестким стилем доминирования. Важнейшей характеристикой эгалитарного стиля доминирования является высокая терпимость особей к действиям сородичей (низкоранговые члены группы не только «позволяют себе» спокойно расхаживать вблизи доминантов, первыми инициировать контакт с последними, но порой даже осмеливаются брать пищу вблизи доминанта или вовсе уводить еду из-под носа последнего (разумеется, речь не идет об экстремальных ситуациях пищевой депривации).

В условиях групп с эгалитарным стилем доминирования самки-матери не бояться доверять своих младенцев другим самкам. Последние не просто заглядывают на чужих детенышей, касаются, чистят их, но могут даже брать на руки и проводить с ними в тесном контакте много времени, не вызывая при этом никакого протesta у матери младенца. В группах с деспотическим стилем доминирования такие эпизоды практически невозможны. Самки более низкого ранга избегают приближения доминантных самок и оберегают детенышей от контактов с неродственными особями. Вопреки ожиданию, в группах с эгалитарным стилем доминирования лидер куда успешнее контролирует ситуации внутри группы, его слушают, ему подчиняются, тогда как в группах с деспоти-

ческим стилем доминирования «власть» часто строится на клановых отношениях, и сила преимущественно на стороне тех, у кого родственников больше, и чьи родственники сильнее.

**Таблица 2.
Основные черты социальной структуры и внутригрупповых отношений у пяти видов рода *Macaca***^{*}

Показатели	Виды				
	Тонкинские макаки	Бурые макаки	Макаки лапундеры	Макаки яванские	Макаки резусы
Контактная агрессия	Редко	Средне	Средне	Часто	Часто
Неконтактная агрессия	Средне	Часто	Часто	Средне	Часто
Риск быть раненым	Очень низкий	Низкий	Средний	Высокий	Высокий
Риск тяжелого ранения	Минимальный	Минимальный	Средний	Высокий	Высокий
Ритуальное прикусывание	Дружественное	Мягкое доминирование	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует
Взаимно направленная агрессия	Часто	Часто	Средне	Редко	Редко
Демонстрация подчинения	Редко	Средне	Часто	Очень часто	Очень часто

* Данные представлены на основании следующих работ: Butovskaya 1993; 1995; Butovskaya, Kozintsev 1996; Petit, Thierry 1994; Thierry et al. 1990.

Ориентация тела в момент демонстрации подчинения	Лицом	Лицом > крупом	Крупом > лицом	Крупом > лицом	Крупом
Примирение после конфликта	Часто	Часто	Средне	Редко	Редко
Родственные предпочтения в примирении	Отсутствует	Отсутствует	Сильно выражены	Сильно выражены	Сильно выражены
Контроль агрессии со стороны лидера	Очень эффективен	Очень эффективен	Средне эффективен	Среднебыстро эффективен	Среднебыстро эффективен
Поддержка	Жертва	Жертва	Нет предпочтений	Агрессор	Жертва
Родственные предпочтения в поддержке	Практически отсутствуют	Слабо выражены	Отчетливы	Отчетливы	Отчетливы
Терпимость	Очень высокая	Высокая	Средняя	Низкая	Низкая
Родственные предпочтения в аффилиации	Слабые	Средние	Сильно выражены	Сильно выражены	Сильно выражены
Направленность груминга вверх по иерархии	Нет	Нет	Да	Да	Да

Матери разрешают другим самкам брать на руки детенышней	Часто	Иногда	Нет	Нет	Нет
Взаимодействие самца с детенышами	Нет	Да	Нет	Нет	Нет

Можно предполагать, что эгалитарные социальные отношения будут приносить больше выгоды в условиях, когда группы большего размера обеспечивают больше шансов на выживание и успешное воспроизводство. Тесные внутригрупповые альянсы, независимые от родственных связей, снижают вероятность развития асимметрических отношений доминирования. Сплоченность группы особенно важна для видов, проводящих значительное время на земле и подвергающихся риску нападения со стороны хищников. Тесные кооперативные отношения с другими членами, не ограниченные рамками родственных связей, способствовали формированию групп большего размера. Именно такие более крупные и хорошо сплоченные коллективы имели существенные адаптивные преимущества при выходе в саванну. Вопреки расхожим представлениям некоторых отечественных исследователей, указывающих на повышение жесткости социальных отношений при выходе гоминид в саванну, есть веские основания предполагать, что наши предки, перешедшие к жизни на более открытых пространствах обладали социальными системами с эгалитарным стилем доминирования [Butovskaya 1999a]. Это не подразумевает, что иерархические отношения у них не были развиты, или что в группе отсутствовали лидеры и вожаки. Иерархия в группе могла быть достаточно линейной и все ее члены соблюдали правила «вежливости» по отношению к вышестоящему. Эгалитарность предковых групп, в нашем понимании, предполагала, что члены группы в высшей мере терпимо относились друг к другу, избегали применять открытое насилие в отношении сородичей, кроме того нижестоящие по рангу члены группы «имели право голоса», «свободу исследовательской активности», и в отношении их неукоснительно соблюдались «права собственности».

История формирования групп и социальная организация

В ряде случаев групповые различия в социальной организации лишь с величайшей натяжкой можно объяснить исходя из требований экологии питания или плотности популяции. Следует принимать во внимание фактор индивидуальных особенностей поведения. Действительно, данные этологических наблюдений свидетельствуют, что социальные взаимоотношения обезьян существенным образом зависят от истории формирования конкретной группы, равно как и индивидуальных характеристик животных, в нее входящих [Datta 1989; Butovskaya 1995]. Это положение можно проиллюстрировать нашими данными по двум группам яванских макаков. Различия в стилях доминирования, выявленные нами оказались столь велики, что по многим показателям превышали средние межвидовые различия. Обе группы содержались в совершенно идентичных клетках, получали идентичную пищу и имели сходные размеры. Каждая группа включала в свой состав одного взрослого самца-лидера. Единственное принципиальное различие состояло в том, что одна группа (группа Д) была сформирована из животных, являвшихся потомками высокоранговых самок, вторая группа (группа Н) – из отпрысков низкоранговых матерей [Butovskaya, Kozintsev 1996b].

Индекс Ландау, используемый в этологии для оценки степени линейности иерархических отношений, вычисленный для каждой из групп оказался сходным и указывал на то обстоятельство, что обе группы характеризовались относительной линейностью внутригрупповых отношений. Однако, большая часть показателей агрессивного поведения были существенно выше в группе Н. Исключение составил уровень нанесенных повреждений, достоверно более высокий в группе Д. Примирение в группе Д отмечалось значительно реже, в той же группе жертвы существенно реже переадресовывали агрессию другим особям. В группе Д животные много реже искали утешения у третьих особей (не принимавших участия в конфликте). Самец-лидер в группе Д, был практически единственным, кто утешал и успокаивал жертвы после драки.

Самки агрессоры в группе Н инициировали примирение в семь раз чаще, чем самки из группы Д. В группе Н жертвы часто искали утешения у друзей, а последние их успокаивали и утешали. Такое поведение наблюдали в группе Н в девять раз чаще по сравнению с группой Д. В то время как ритуальное прикусывание было распространенным способом демонстрации доминирования в группе Н, подобное поведение вообще не наблюдалось в группе Д [Butovskaya, Kozintsev 1996b]. Перечисленные выше различия и позволили нам характеризовать группу Д

как сообщество с деспотическим стилем доминирования, а группу Н как эгалитарное сообщество. По всей видимости, эти две группы можно считать хорошей моделью эволюции разных стилей доминирования в сходных экологических условиях [Butovskaya, Kozintsev 1996b].

Филогенетические факторы и сходство социальной организации

Иногда вариативность социальных стратегий не может быть объяснена ни через экологические факторы, ни через историю группы. В некоторых случаях «главной детерминантой социальных отношений» могут быть филогенетические факторы [Thierry et al. 1999]. Эта гипотеза представляется верной при объяснении основных тенденций эволюции рода *Macaca* [Thierry 1999]. Так, в соответствии с предложенкой четырехуровневой шкалой социальной организации стили доминирования в модели социальной активности варьируются от жестких до эгалитарных. *Macaca mulatta* и *M. fuscata* принадлежат к первому уровню, являясь наиболее иерархизированными с исключительно асимметричными и диктаторскими отношениями внутри группы [Butovskaya 1993; Thierry 1985; 1999]. Особи низкого ранга всегда следят за самцом-лидером, стараются угодить ему и избегают прямых столкновений из-за пищи или сексуальных партнеров. Они должны демонстрировать подчинение самцу-лидеру, чтобы не подвергнуться нападению. Второй уровень представлен видами *Macaca fascicularis* и *M. nemestrina*. Эти виды демонстрируют большее сходство социальной организации с видами первого уровня, но отмеченные выше черты у них не так ярко выражены. Четвертый уровень, представленный сулавесскими видами (*Macaca tonkeana*, *M. nigra*), имеет наиболее эгалитарный характер [Thierry 1985; Matsumura 1999]. Третий уровень включает виды *Macaca arctoides*, *M. assamensis*, *M. radiata*, *M. thibetana* и др. и схож с четвертым. В этих группах преобладают мягкие социальные отношения и животные высокого ранга заинтересованы в поддержании связей с подчиненными [Butovskaya 1993]. В третьем и четвертом уровнях общая внутригрупповая аффилияция выше, особи низкого ранга имеют большую свободу и сами могут инициировать контакты с лидерами. Типичный образец стратегии, использующейся лидерами для нейтрализации их агрессии, – это ритуальные драки, в которых низка вероятность каких-либо повреждений.

Реконструкция системы социальной организации предков макак показывает, что *Macaca sylvanus*, *M. silenus* и *M. arctoides*, принадлежащие к третьему уровню, являются наиболее близкими к ней

[Thierry 1999]. Этот вывод подтверждается морфологическими и генетическими данными по крайней мере для *M. sylvanus* и *M. silenus* – оба вида похожи на предков макаков [Cunningham et al. 1998]. Разделение макаков могло происходить тремя волнами, и в процессе дивергенции различия в стилях доминирования могли достичь крайних состояний (деспотического и эгалитарного). Модель социальной эволюции макаков имеет определенную ценность для понимания происхождения социальной организации у людей. Несмотря на широчайшее разнообразие форм человеческой социальной организации, модели и пути ее развития могли быть сущностно близки тем, которые выстраиваются для видов макаков, принимая во внимание все факторы (филогенетические, социоэкологию и историю группы).

Социоэкология и социальный интеллект

Сложная социальная среда требует развитой системы коммуникации, эта же среда обеспечивает сохранение и передачу традиций использования орудий в общине. При прочих равных условиях виды, живущие большими группами, как правило, имеют более развитый комплекс орудий и более сложную систему коммуникации. Важным фактором развития когнитивных способностей является питание. Социоэкологи первыми обратили внимание на связь между типами питания и относительным размером мозга [Clutton-Brock, Harvey 1980; Foley, Lee 1991]. Анализ, основанный на 68 независимых параметрах, взятых из главной приматологической базы (119 видов), дает основания полагать, что размер мозга независимо и положительно коррелирует с пропорцией фруктов в диете и с размером социальной группы [Barton 1999: 170]. В то же время, ограничения на развитие мозга млекопитающих налагаются онтогенетически, препятствуя развитию некоторых его областей [Finlay, Darlington 1995]. Увеличение продолжительности детства имеет результатом развитие эволюционно более молодых мозговых структур, в первую очередь неокортекса [Barton 1999: 176].

Адаптивная специализация мозга происходит в определенном направлении. У дневных приматов фруктоядные виды имеют большую по размерам зрительную кору, особенно парвощелулярный зрительный путь, чем листоядные. Эволюция цветового зрения, произошедшая у фруктоядных приматов, затронула и рост неокортекса. У обезьян развитие зрительных каналов коррелирует с развитием сложных социальных систем [Allman 1987: 639].

Таким образом, фруктоядность способствовала эволюции социального интеллекта, хотя и не напрямую. Общие предки шимпанзе и человека были фруктоядными, и их мозг был затронут вышеупомяну-

тыми процессами. Специализация в итоге привела к появлению языка, что было бы невозможно без высоких когнитивных способностей и склонности к использованию орудий. Согласно некоторым исследователям [Whiten, Byrne 1997], человекообразные обезьяны испытывали селекционное давление, благоприятствовавшее появлению большей разумности. Это, в свою очередь, вело к большей способности к обучению и использованию социального знания и в конце концов привело к увеличению размеров мозга. Жизнь в социальных группах делала тонкое социальное маневрирование более продуктивным и безопасным как для самого индивида, так и для других членов группы. Например, самки бабуинов, имеющие сексуальные контакты с молодыми самцами, могут избежать вмешательства самца-лидера, находясь за всей группой и издавая призывные крики или просто гуляя по земле (как делают самки *Ateles*, которые в этой ситуации спускаются на землю, хотя принадлежат к типичному древесному виду).

Стратегии обмана гораздо более выражены у человекообразных обезьян, чем у низших узконосых. Человекообразные обезьяны демонстрируют понимание притворства как средства социального манипулирования. Развитие социального притворства, типично для видов со сложной социальной структурой и активной социальной жизнью, может всерьез рассматриваться как средство борьбы с социальной напряженностью. Когнитивных способностей низших узконосых (например, гамадрилов) вполне достаточно для использования социального манипулирования, нацеленного на восстановление связей между бывшими оппонентами в ситуациях, когда прямое примирение по каким-либо причинам невозможно (например, когда различие в ранге очень высоко и подчиненная особь боится приблизиться к доминирующей). Примером может служить поведение самок гамадрилов после конфликта в одном гареме. Жертва немедленно жалуется самцу и, получив его поддержку, садится около него и начинает груминг. Самка, которая начала конфликт, садится по другую сторону от самца и делает то же самое. Через некоторое время самки сближаются и начинают груминг друг друга, а самец уходит.

Онтогенетические изменения привели также к появлению у человека еще одной уникальной черты – менопаузы. Продолжительное детство и связанная с этим беспомощность младенцев делали женщин более зависимыми от других членов группы. До недавнего времени считалось, что выходом из этого было активное привлечение мужчин (отцов) к заботе о потомстве. Однако, согласно гипотезе, предложенной Блертон Джонсом, Хоуксом и О'Коннеллом ([Blurton Jones, Hawkes, O'Connell 1999]), бабушки были более эффективными помощницами. В

современных обществах охотников и собирателей и у ранних земледельцев, как в матрилинейных, так и в патрилинейных группах, бабушки по матери часто помогают во вскармливании внуков, принося растильную пищу. Кроме того, они заботятся о старших детях. С точки зрения эволюционной психологии менопауза является адаптивным новообразованием. Старшие женщины имеют меньше шансов выкормить собственных детей из-за высокой смертности, но они могут повышать свою приспособленность, заботясь о внуках, тем самым увеличивая их шансы выжить.

Существует определенная положительная связь между жесткостью отношений доминирования и непотизмом. В пределах рода *Macaca*, виды с более деспотическим стилем доминирования существенно более ориентированы на тесные дружественные связи и альянсы с родственными особями по сравнению с видами, обладающими более эгалитарными внутригрупповыми отношениями.

В определенных экологических условиях выраженные дружественные связи с не-родственными особями могут давать группе существенные преимущества в борьбе за выживание. Примером могут служить сообщества бонобо. Наблюдения за бонобо показали также, что сообщества с выраженным социальными связями между самками могут формироваться и на основе патрилокальных социальных структур.

Близкородственные виды могут практиковать разные стили доминирования. Род *Macaca* является хорошей иллюстрацией данного тезиса. Разные виды в пределах этого рода можно расположить на всем протяжении шкалы эгалитарности, на одном конце которой будут виды с максимально выраженным признаками эгалитарности (тонкинские макаки), тогда как на противоположном конце континуума будут расположены виды с максимально жесткими деспотическими внутригрупповыми отношениями.

Чтобы понять причины формирования определенного стиля доминирования в конкретной группе, необходимо учитывать целый комплекс факторов: социоэкологических, филогенетических и исторических (связанных с историей формирования данной группы и специфическими характеристиками особей, входящих в ее состав)

Процессы формирования разных стилей доминирования у видов в пределах рода *Macaca* являются хорошей моделью для описания процессов дифференциации стилей доминирования в разных человеческих культурах.

ЛИТЕРАТУРА:

- Бутовская М.Л., Файнберг Л.А.* У истоков человеческого общества. М., 1993.
- Allman J.* Primates, Evolution of the Brain // The Oxford Companion of the Mind. Oxford, 1987. P. 663–669.
- Angst W., Tommen D.* New Data and Discussion of Infant Killing in Old World Monkeys and Apes // Folia Primatol. 1977. Vol. 27. P. 198–229.
- Aureli F., van Schaik C. P., van Hooff J.A.* Functional Aspects of Reconciliation Among Captive Long-tailed Macaques (*Macaca fascicularis*) // American Journal of Primatology. 1989. Vol. 19. P. 39–51.
- Barton R.* The Evolutionary Ecology of the Primate Brain // Comparative Primate Socioecology. Cambridge, 1999. P. 167–204.
- Blurton Jones N., Hawkes K., O'Connell J.F.* Some Current Ideas About the Evolution of the Human Life History // Comparative Primate Socioecology. Cambridge, 1999. P. 140–167.
- Butovskaya M.L.* Kinship and Different Dominance Styles in Three Species of the Genus *Macaca* // Folia Primatologica. 1993. Vol. 60. P. 210–224.
- Butovskaya M.L.* Some Aspects of Hominid Socioecology According to Primatological Data // Man and Environment in the Paleolithic. Liege, 1995. P. 309–316.
- Butovskaya M.L.* Coping with Social Tension in Primate Societies: Strategic Modelling of Early Hominid Lifestyles // Hominid Evolution: Lifestyles and Survival Strategies. Schwelm, 1999a. P. 44–54.
- Butovskaya M.L.* The Evolution of Human Behaviour: The Relationship between the Biological and the Social // World Anthropology at the Turn of the Centuries. Abstracts of the IV-th International Congress of Ales Hrdlicka / D.Sabik, J.Vigner and M.Vigner, eds. Prague, 1999b. P. 26–27.
- Butovskaya M.L., Kozintsev A.G.* Gender-related Factors Affecting Primate Social Behavior: Grooming, Rank, Age, and Kinship in Bisexual and All-Male Groups of Stumptail Macaques // American Journal of Physical Anthropology. 1996a. Vol. 11. P. 39–54.
- Butovskaya M.L., Kozintsev A.G.* Group History and Social Style: The Case of Crab-Eating Monkeys // Anthropologie. 1996b. Vol. 34. P. 165–176.
- Chism J.B., Rowell T.E.* Mating and Residence Patterns in Male Patas monkeys // Ethology. 1986. Vol. 72. P. 31–39.

- Clutton-Brock T.H., Harvey P.H.* Species Differences in Feeding and Ranging Behaviour in Primates // Primate Ecology: Studies of Feeding Behaviour in Lemurs, Monkeys and Apes / T.H. Clutton-Brock, ed. London, 1977. P. 557–579.
- Cunningham C.W., Omland K.E., Oakley T.H.* Reconstructing ancestral character states: a critical reappraisal // Trends of Ecological Evolution. 1998. Vol. 13. P. 361–366.
- Daly M, Wilson M.* Evolutionary social psychology and family homicide // Science. 1988. Vol. 242. P. 519–524.
- Dunbar R.I.M.* Primate Social Systems. London, 1988.
- Datta S.B.* Demographic influences on dominance structure among female primates // Comparative socioecology. The behavioural ecology of humans and other mammals / V. Standen, R.A. Foley, eds. Oxford, 1989. P. 265–284..
- Eibl-Eibesfeldt I, Sutterlin C.* Im Banne Der Angst. Munchen, 1992.
- Finlay B.L., Darlington R.B.* Linked regularities in the development and evolution of mammalian brains // Science. 1995. Vol. 268. P. 1578–1584.
- Foley R.A., Lee P.C.* Ecology and energetics of encephalization in hominid evolution // Philosophical Transactions of the Royal Society. Series B. London, 1991. Vol. 334. P. 223–232.
- Franz C.* Allogrooming behavior and grooming site preferences in captive bonobos (*Pan paniscus*): association with female dominance // International Journal of Primatology. 1999. Vol. 20. P. 525–546.
- Hill K, Kaplan H.* Trade offs in male and female reproductive strategies among the Arche: part 2 // Human Reproductive Behaviour / L.Betzig, M.Borgerhoff Mulder and P.Turke, eds. Cambridge, 1988. P. 291–306.
- Hiraiwa-Hasegawa M.* Cannibalism among non-human primates // Cannibalism: Ecology and Evolution Among Diverse Taxa / M.A. Elgar, B.J. Crespi, eds. Oxford, 1992. P. 323–338.
- Hohmann G. and Fruth B.* Field observations on meat sharing among bonobos (*Pan paniscus*) // Folia Primatologica. 1993. Vol. 60. P. 225–229.
- van Hooff J.A., van Schaik C.P.* Male bonds: affiliative relationships among nonhuman primate males // Behaviour. 1994. Vol. 130. P. 309–337.
- Ihobe H.* Male-male relationships among wild bonobos (*Pan paniscus*) at Wamba, Republic of Zaire // Primates. 1992. Vol. 33. P. 163–179.
- Goodall J.* The Chimpanzees of Gombe: Patterns of Behavior. Cambridge (Mass.), 1986.

- Kano T.* The last Ape: Pygmy Chimpanzee behaviour and ecology. Stanford, 1992.
- Kuroda S.* Interactions over food among pygmy chimpanzees // The Pygmy Chimpanzee: Evolutionary Biology and behavior / R.L.Susman, ed. New York, 1984. P. 301–324.
- Matsumura S.* The evolution of «egalitarian» and «despotic» social systems among macaques // Primates. 1999. Vol. 43. P. 23–31.
- McGrew W.* Chimpanzee material culture: Implications for human evolution., Cambridge, 1992.
- Mitchell C.L., Boinski S., van Schaik C.P.* Competitive regimes and female bonding in two species of squirrel monkeys (*Saimiri oerstedi* and *S.sciereus*). Behavioral Ecology and Sociobiology. 1991. Vol. 28. P. 55–60.
- Moore J.* Savanna chimpanzees, referential models and the last common ancestor // Great Apes Societies / W.C. McGrew, L. Marchant and T. Nishida, eds. Cambridge, 1996. P. 275–292.
- Nishida T., Hiraiwa-Hasegawa M.* Chimpanzees and bonobos: cooperative relationships among males // Primate Societies / B. Smuts, D.L. Cheney, R.M. Seyfarth, R.W. Wrangham, T.T. Struhsaker, eds. Chicago, 1987. P.165–177.
- van Noordwijk M.A., van Schaik C.P.* Competition among female long-tailed macaques, *Macaca fascicularis* // Animal Behaviour. 1987. Vol. 35. P. 577–589.
- Parker S., Gibson K.* A model of the evolution of language and intelligence in early hominids // Behavioral and Brain Sciences. 1979. Vol. 2. P. 367–407.
- Petit O. and Thierry B.* Aggressive and peaceful interventions in conflicts in Tonkean macaques // Animal Behaviour. 1994. Vol. 48. P. 89–95.
- Picq P.* The socioecology of *Australopithecus afarensis*: an attempt at reconstruction // Current Primatology I / B. Thierry, J. Anderson, J. Roeder and N. Herrenschmidt, eds. Strasbourg, 1994. P.175–186.
- Rodseth L., Wrangham R.W., Harrigan A.M., Smuts B.B.* The Human Community as a Primate Society // Current Anthropology. 1991. Vol. 32. P. 221–254.
- Savage-Rumbaugh E.S., Rumbaugh D.M.* The emergence of language // Tools, language and cognition in human evolution / K.R. Gibson, T. Ingold, eds. Cambridge, 1993. P. 86–108.
- van Schaik C.P.* The ecology of social relationships amongst female primates // Comparative socioecology. The behavioural ecology of humans and other mammals / V. Standen, R.A. Foley, eds. Oxford, 1989. P. 195–218.

- Schiefenhovel W.* Reproduction and sex-ratio manipulation through preferential female infanticide among the Eipo in the highlands of West New Guinea // The Sociobiology of Sexual and Reproductive Strategies / A.E. Rasa, C. Vogel and E. Voland, eds. London, 1989. P. 170–193.
- Silk J.* Altruism among female *Macaca radiata*: explanations and analysis of patterns of grooming and coalition formation. Behaviour. 1982. Vol. 79. P. 162–168.
- Silk J.* Patterns of intervention in agonistic contests among male bonnet macaques // Coalitions and Alliances in Humans and other Animals / A.H. Harcourt and F.B.M. de Waal, eds. Oxford, 1992. P. 214–232.
- Sterck E. H., Watts D.W., Schaik C.P.* The evolution of female social relationships in nonhuman primates // Behav. Ecol. Sociobiol. 1997. Vol. 41. P. 291–309.
- Susman R.L.* Pygmy chimpanzees and common chimpanzees: models for the behavioral ecology of the earliest hominids // The Evolution of Human Behavior: Primate Models / W.G.Kinzey, ed. Albany, 1987. P. 72–86.
- Tanner N.M.* The Chimpanzee model revisited and the gathering hypothesis // The Evolution of Human Behavior: Primate Models / W.G.Kinzey, ed. New York, 1987. P. 3–27.
- Thierry B.* Patterns of agonistic interactions in three species of macaque (*Macaca mulatta*, *M. fascicularis*, *M. tonkeana*) // Aggressive Behaviour. 1987. Vol. 11. P. 223–233.
- Thierry B.* A comparative study of aggression and response to aggression in three species of macaques // Primate Ontogeny, Cognition, and Social Behaviour / J. Else and P.C. Lee, eds. Cambridge, 1988. P. 307–313.
- Thierry B.* Feedback loop between kinship and dominance: The macaque model // Journal of Theoretical Biology. 1990. Vol. 145. P. 511–521.
- Thierry B.* Covariation of conflict management patterns across macaque species // Natural Conflict Resolution / F. Aureli, F. de Waal, eds. Berkeley, 1999 (in press).
- Thierry B., Gauthier C. and Peignot P.* Social grooming in Tonkean macaques (*Macaca tonkeana*) // International Journal of Primatology. 1990. Vol. 11. P. 357–375.
- Tutin C.E., McGrew W.C. and Baldwin P.J.* Social Organization of Savanna-dwelling Chimpanzees, *Pan troglodytes verus*, at Mt.Assirik, Senegal // Primates. 1983. Vol. 24, N. 2. P. 154–173.
- Waal F.B. de.* Tension regulation and nonreproductive function of sex in captive bonobos (*Pan paniscus*) // National Geographic Research. 1987. Vol.3, N. 3. P. 318–335.

- de Waal F.B.* Peacemaking among primates. Cambridge (Mass.), 1990.
- de Waal F., Luttrell L.* Toward a comparative socioecology of the genus Macaca: different dominance styles in rhesus and stumptail monkeys // American Journal of Primatology. 1989. Vol. 19. P. 83–109.
- Watts D.P.* Social relationships of resident and immigrant female mountain gorillas, I. Male-female relationships // American Journal of Primatology. 1992. Vol. 28. P. 159–181.
- Watts D.P.* Social relationships of immigrant and resident female mountain gorillas // American Journal of Primatology. 1996. Vol. 32. P. 13–30.
- Whyten A., Byrne R.* Machiavellian intelligence // Machiavellian intelligence II: Extinctions and Evaluations / A. Whiten, R. Byrne, eds. Cambridge, 1997. P. 1–23.
- Wrangham R.W.* An ecological model of female-bonded primate groups // Behaviour. 1980. Vol. 75. P. 262–300.

НАЧАЛЬНЫЕ СТАДИИ ПОЛИТОГЕНЕЗА

О.Ю. Артемова

«Происхождение, возникновение или создание социального неравенства» традиционно было и до некоторой степени остается [см., например, Haydon 1995] темой многочисленных исследований в области социальной антропологии доисторических и догосударственных обществ. Само слово «происхождение» или «создание» показывает, что предполагается существование такого периода в ранней человеческой истории, когда неравенства не существовало: древние человеческие общины расцениваются как эгалитарные, а отношения в их пределах характеризуются как «социальное равенство». В то же самое время, с самого начала исследований в области социальной эволюции ряд ученых (Генри Майн, Эдвард Вестермарк) рассматривали социальное неравенство как *a priori* свойственное так называемой «человеческой природе». Современные исследования в социобиологии и этологии приматов со всей ясностью показывают, что все наши «ближайшие родственники» обладают более или менее существенной иерархией статусов и, таким образом, заставляют нас предположить, что люди унаследовали некоторые формы иерархических отношений, то есть социального неравенства, от своих животных предков [Whinterhalter & Smith 1992: 3–23; Fitzhugh 1998: 8]. Мы согласны со многими авторами [см., например, Burch & Ellan 1994; Schweitzer 1998], которые в разной форме утверждают, что необходимо искать не столько корни социального неравенства как такового, сколько факторы, которые могли стать причиной формирования того или иного типа этого неравенства, и механизмы формирования определенных структурных особенностей иерархических социальных систем в человеческих обществах, а также причины развития действительно эгалитарных социальных систем*. Эгалитаризм, оп-

* В отличие от авторов некоторых неоэволюционистских исследований [Fried 1967; Service 1975], а также ряда недавних работ [например, Schweitzer 1998], я использую понятие «эгалитарное общество» в его прямом значении, т.е. понимаю под ним общество, в котором все люди имеют равный доступ ко всем материальным и духовным ценностям их культуры, обладают равной степенью личной свободы и равными возможностями для принятия решений. Соответственно, общества, к которым это определение неприменимо, я называю неэгалитарными. Так, например, культуры приморских чукчей или эскимосов являются эгалитарными с точки зрения Сервиса или Швейцера, но не являются таковыми с моей.

ределенно свойственный ряду человеческих обществ, ни в коем случае не является некоей изначальной данностью [Shweitzer 1998: 1]. Напротив, это результат специфических эволюционных процессов в той же степени, как и различные формы социального неравенства.

Стремление связать эволюционные процессы структурирования социального неравенства главным образом со сферой материального производства и с отношениями собственности является в обществоведении (и отнюдь не только в марксистском) общим местом. Гораздо реже можно встретить попытки связать эти процессы со сферой идеологии, особенно со сферой религиозной жизни [Wason 1998]. Крайне распространенным является стремление расценивать какую-либо одну из предлагаемых моделей таких процессов как первичную или базовую парадигму, будь то «отсроченный возврат» (*delayed return*), деятельность амбициозных личностей и т.п. [Woodburn 1980; 1982; Barnard & Woodburn 1988]. Наше предположение состоит в том, что различные типы или проявления социального неравенства, были, вероятно, порождены весьма различными явлениями. Разные механизмы структурирования или институционализации иерархических систем могли действовать параллельно в одной и той же культуре или быть свойственны конкретным культурам в конкретных условиях в те или иные периоды времени. Эти механизмы могли действовать как в сфере материального производства и отношений собственности, так и вне этой сферы.

В некоторых меланезийских обществах можно найти одновременно: 1) «отсроченный возврат» как характерную особенность способа добычи средств к существованию, являющийся, согласно Джеймсу Вудберну, универсальной причиной, возникновения институтов статусной иерархии и структурированного неравенства в отношениях собственности; 2) деятельность бигменов, стимулирующую, согласно Кларку и Блейку, развитие тех же самых институтов; 3) сложный церемониал, также продуцирующий стратификацию статусных или властных позиций. Однако у оленеводов Чукотки, например, можно обнаружить только модель «отсроченного возврата» и «накопления богатства», а среди некоторых австралийских охотников-собирателей – только модель церемониальной дифференциации статусов. Последний случай, на наш взгляд, особенно интересен с теоретической точки зрения. Он в наиболее яркой и доступной форме демонстрирует один из основных и наиболее широко распространенных во всем мире типов институциализации социального неравенства, структурной основой и движущим механизмом которой является монополизация определенного знания или рода деятельности, тесно связанных с идеологией, отдельными соци-

альными группами, а иногда и отдельными индивидуумами.

Как неоднократно отмечалось в новейшей антропологической литературе, даже в так называемых «относительно простых» обществах охотников-собирателей различные группы, ведущие одинаковый образ жизни и имеющие сходные способы пропитания, обнаруживают существенные различия в системах социальных отношений и типах организационных структур. Например, у мбуты, !кунг, хадза и некоторых других африканских охотников и собирателей, также как и у некоторых азиатских народов (например, у палиан Юга Индии), межличностные отношения в локальных общинах были почти полностью эгалитарными; никакие группы или индивидуумы не обладали, по крайней мере формально, каким-либо приоритетом перед другими группами или индивидуумами. Более того, общество стремилосьстереть даже неформальные различия в индивидуальном престиже или персональном влиянии, неизбежные в любом социальном организме. Мораль этих эгалитарных обществ и сам их социopsихологический климат в целом последовательно блокировали любые честолюбивые стремления. Это, в свою очередь, было связано с недостатком соревновательности в общественной и индивидуальной деятельности [Gardner 1965; 1991; Turnbull 1965; Marshall 1976; Lee 1979; Woodburn 1979; 1982; Begler 1987; Endicot 1988].

Напротив, большинство австралийских аборигенов имело систему социальной организации, которую определенно нельзя назвать эгалитарной*. Как известно, в их обществах имелось значительное различие в социальном статусе мужчин и женщин. Если сравнить нормы и обычаи, регулировавшие отношения между полами в этих обществах с такого же рода обычаями и нормами мбуты, хадза или !кунг, станет ясно, как выглядит реальное равенство статусов, прав и обязанностей полов.

Как описано в антропологической литературе, в большинстве обществ австралийских аборигенов помолвка и заключение брака были прерогативой мужских родственников будущих супругов, хотя в некоторых группах матери обоих новобрачных также имели право голоса. Браки молодежи устраивались их старшими родственниками. Мужчины зрелого возраста имели некоторую возможность вступать в брак по собственному выбору. Женщины же либо вовсе не имели таковой ни в каком возрасте (кроме случая тайного бегства), либо имели гораздо более

* Обобщения по австралийским аборигенам основываются на результатах критического исследования различных письменных источников, представленных в книге «Личность и социальные нормы в раннепервобытной общине» [Артемова 1987].

ограниченные возможности, чем их соплеменники-мужчины. Даже вдовы, матери взрослых детей, зависели в этом отношении от своих мужских родственников, включая собственных сыновей [White 1970: 21; Goodale 1971: 56]. В литературе по брачным нормам у аборигенов даже встречается специальный термин – «перераспределение вдов». Развод, как правило, был довольно легок для мужчин и затруднен для женщин. Во многих группах тайное бегство, связанное со значительным риском, было единственным способом для женщины разорвать брак.

Широко было распространено многоженство, и случаи, когда мужчина имел одновременно пять или шесть жен, не рассматривались как отклонения от нормы, хотя такие факты, конечно, не могли быть многочисленными. Часто мужья были намного старше жен, особенно по сравнению со второй или третьей женой, и большой возрастной промежуток между супругами также не считался нарушением обычая. Некоторыми учеными предпринимались попытки объяснить многоженство и браки между молодыми женщинами и пожилыми мужчинами экономическими соображениями: с одной стороны, жены, обремененные маленькими детьми, нуждались во взаимопомощи, в противном случае они не смогли бы справляться со своими домашними обязанностями; с другой стороны, пожилые люди, которые были не в состоянии прокормить себя самостоятельно, нуждались в помощи более молодых женщин для обеспечения средств к существованию. Однако женщины и так постоянно помогали друг другу, и не являясь женами одного мужа, а молодые родственники, согласно нормам, также заботились о старицах. Кроме того, сама форма, которую принимало многоженство у австралийских аборигенов, как выясняется, не вполне соответствует такому объяснению. Представляется весьма затруднительным объяснить экономическими потребностями попытки человека в зрелом возрасте, когда он уже имеет семь жен (четыре из которых молоды и здоровы), получить в качестве восьмой жены двенадцатилетнюю девочку. То же можно сказать и о стремлении шестидесятилетних мужчин заранее взять себе в невесты новорожденных девочек. Такие случаи, очевидно, не были редкостью. Вероятнее всего, эти люди руководствовались соображениями персонального престижа, стремлением повысить свой социальный статус, а также и сексуальными мотивами.

В этой связи представляется не случайным, что зачастую реальный объем власти человека и число его жен были тесно взаимосвязаны. Это обстоятельство вполне согласуется с тем, что чаще всего главы полигинных семейств были нестарыми по возрасту людьми, но принадлежали к наиболее авторитетной категории «старших». В своих по-

вседневных делах замужние женщины имели значительную свободу в принятии решений, однако в ряде ситуаций традиции предписывали женщинам повиноваться своим мужьям. Если же женщина отказывалась повиноваться, считалось вполне допустимым применение мужчины физической силы.

Многие авторы утверждают, что традиционно женщины работали намного больше и интенсивнее, чем мужчины. Некоторые ученые небезосновательно критиковали утверждения такого рода. Специфика труда собирателей в австралийских условиях требует большего количества времени, чем охота. Однако это отнюдь не значит, что охотиться намного легче; гораздо более вероятно, что дело обстоит как раз наоборот. Но в то же самое время, сравнение ряда традиционных обязанностей мужчин и женщин, не связанных непосредственно с добычей пропитания, показывает, что объемы работы, которую они выполняли, не были равны, и некоторые женские обязанности выглядели как служба мужчине. Например, во время передвижения с одного места на другое женщины часто несли младенцев и все имущество семейства, а мужчины шли без всякой ноши. В некоторых группах женщины должны были нести копья или другое оружие своих мужей, например, тяжелые деревянные мечи, используемые мужчинами в Центральной Австралии во время войн. По свидетельству ряда наблюдателей, большие камни, используемые для создания примитивных зернотерок, также несли на себе женщины.

Хотя женщины во многих аборигенных обществах добывали основную часть продовольствия, заботились о детях и выполняли множество других функций, их роль в обществе, в соответствии с традиционными представлениями, считалась гораздо менее важной по сравнению с мужской. Особенно ярко, как представляется, это выражалось в погребальных обрядах. Смерть мужчины считалась намного более серьезной потерей для общества, чем смерть женщины, и сопровождалась, как правило, более сложными и длительными похоронными ритуалами с гораздо большим числом участников.

Все важные решения, касавшиеся жизни группы в целом (или любой другой социальной единицы), принимались мужчинами, по крайней мере только мужчины участвовали в формальных обсуждениях общественных дел в лагере или в советах локальной группы, хотя женщины, конечно, имели возможность влиять на мнение мужчин. Только мужчины, как правило, выступали в роли формальных и неофициальных лидеров. Только мужчины, за редкими исключениями, могли быть колдунами или знахарями. Мужчины отправляли тотемические культы

и другие религиозные обряды, важность которых для аборигенной культуры исключительно велика. Установлено, что в огромном большинстве аборигенных обществ женщины были частично или полностью исключены из тех сфер ритуальной деятельности, которые, согласно местным верованиям, обеспечивали само существование окружающей природы и человеческой жизни. Материальные и духовные атрибуты этих священных ритуалов – песни, мифы, танцы, священные предметы и сакральные тотемные места – также были скрыты от женщин, и любое нарушение запретов, гарантирующих сакральную тайну, строго наказывалось, вплоть до смертной казни.

Фактически во многих аборигенных обществах существовали тайные женские обряды, в которых мужчины не принимали участия, хотя их исключение из этого вида религиозной деятельности не было связано с серьезными запрещениями или санкциями. Кроме того, тайные женские ритуалы были менее сложны по своей структуре, и не так многочисленны как мужские. Вся организация женских обрядов имела в основном неофициальный характер. Они были направлены, главным образом, на приворот, обеспечение женской плодовитости, благополучие детей и другие сферы специфических женских интересов и желаний, весьма часто имевших личный характер.

Литература по австралийским аборигенам содержит более чем достаточно свидетельств институциализированного доминирования мужчин и подчиненного положения женщин, а также свидетельств гораздо большей ограниченности личной независимости женщин традиционными нормами.

В отличие от австралийских материалов, доступные нам сведения об африканских охотниках и собирателях практически не содержат никаких данных о существовании у них формализованного неравенства между полами. Хотя среди мбути, хадза, !кунг и нхаро, согласно описаниям Тернбулла, Вудберна, Ли, Маршалл, Барнарда, Гентера и некоторых других исследователей, браки также устраивались старшими родственниками будущих супругов, и девушка, и юноша имели право голоса в решении вопроса о заключении брака и могли его аннулировать. Последующие же браки могли устраиваться по собственному выбору и мужчинами, и женщинами. Развод был одинаково легок для обоих полов. Разница в возрасте между супругами, как правило, не была очень большой, хотя мужчина часто мог быть на несколько лет старше своей жены. Многоженство существовало, но было довольно редким, и случаи, когда мужчины имели более двух жен одновременно выглядят как исключения.

Как среди австралийских аборигенов, у африканских охотников и собирателей существовали обусловленные традициями нормы разделения труда по добывче средств к существованию между мужчинами и женщинами, равно как и разделение функций в ритуальной практике и художественной деятельности. Однако женщины, очевидно, не имели никаких обязанностей, которые напоминали бы службу мужчинам, и при этом они не были исключены из тех сфер, которые считались наиболее важными для всего общества, или почетными, интересными, привлекательными.

В отличие от австралийских аборигенов, африканские охотники и собиратели, очевидно, не считали позором для мужчины выполнять женскую работу. По крайней мере мужчины здесь не избегали участия в собирательстве, доставке хвороста и воды к стоянке, приготовлении пищи и т.д. Мужчины наряду с женщинами переносили различные грузы, что было крайне важно в условиях бродячей жизни.

Барнард даже описывает случаи некоторого господства женщин в супружеских отношениях среди тех групп нхаро, которые он изучал [Barnard 1980: 199]. Маршалл засвидетельствовала определенное мужское господство среди !кунг области Нье-Нье [Marshall 1976: 177], но она же подчеркивает, что от женщин не требовалось выражения какого-либо формального повиновения, и женщины ни в коем случае не были порабощены мужчинами. Маршалл также указывает, что ей не удалось обнаружить свидетельств избиения жен, которыми изобилует литература по австралийским аборигенам

В некоторых африканских обществах охотников-собирателей мужчины играли в ритуальной практике более активную роль, чем женщины. Например, среди !кунг и нхаро мужчины были главными исполнителями экстатических танцев, важнейшего ритуала в культуре бушменов. Однако женщины также принимали участие в этом религиозно-магическом действе, не содержащем в себе, как представляется, никакой тайны. В некоторых обществах бушменов так называемые «мужские охотничьи обряды» (иногда также именуемые «мужскими инициациями»), во время которых вновь посвященным передавалась сакральная информация, были недоступны для женщин. Но это уравновешивалось, по крайней мере частично, довольно сложными женскими обрядами, связанными с достижением половой зрелости, некоторые этапы которых были закрыты для мужчин. Стоит упомянуть также, что такие обряды женской инициации у африканских охотников и собирателей были намного сложнее и обладали гораздо большей социальной важностью, чем в Австралии.

Приведенные сравнения неизбежно вызывают вопрос: почему в обществах с весьма схожим образом жизни и одинаковым способом добычи средств к существованию можно встретить различные стереотипы взаимоотношений между полами? Какова природа этих различий?

Ответы на эти вопросы следует искать в более широком контексте проблем, связанных с принципиальной разницей в системах социальных отношений и организационных структурах рассматриваемых австралийских и африканских обществ охотников-собирателей.

У австралийских аборигенов существовало значительное различие в социальном статусе не только между мужчинами и женщинами, но также между мужчинами, составлявшими группу «старших», с одной стороны, и всеми остальными, не входившими в эту группу, с другой. Так же создается впечатление, что по крайней мере в некоторых частях австралийской Абorigenii отнюдь не все мужчины зрелого или пожилого возраста могли входить в группу «старших», являвшуюся, таким образом, не просто возрастной группой. Чтобы быть включенным в такую группу, нужно было отвечать определенным условиям. Один человек мог быть признан полноправным членом группы намного раньше, чем другой.

«Старшие» сосредоточивали в своих руках значительную власть, как в религиозных вопросах, так и в повседневной жизни обществ австралийских аборигенов и обладали определенными привилегиями, которые гарантировались правилами, регулировавшими распределение некоторых особенно ценных видов продовольствия, а также супружеские отношения, в частности, порядок заключения браков. Как утверждает Кин, в традиционном обществе йолнгу (северо-восток Арнемленда) «обладание религиозным знанием было ключевым элементом в политической экономии брака, поселения и церемониала. Имелась прямая связь между религиозными прерогативами и властью...» [Keen 1997: 300]. Группа «старших» включала в себя, обладателей особого статуса: руководителей ритуалов и хранителей священных объектов и тотемных центров, колдунов и знахарей.

В свое время среди австралийских исследователей развернулась дискуссия на тему: были ли в традиционных ситуациях у аборигенов «светские» формальные лидеры? Несмотря на попытки некоторых авторов доказать их отсутствие, представляется, что, по крайней мере в некоторых частях страны, существовали главы местных групп, поселений и других социальных единиц. Их деятельность была, главным образом, связана с организацией межгрупповых отношений. Кроме того, как показывают Стрелоу и Берндты, религиозные лидеры во многих случаях

имели значительные полномочия вне ритуальной сферы. В аборигенной культуре не существовало четкого различия между светской и религиозной сферой, также как между светской и религиозной властью. В связи с этим можно предположить, что существование двух типов формальных лидеров – организаторов религиозных церемоний и глав отдельных поселений было связано с тем, что жившие вместе группы людей не всегда выполняли одни и те же ритуалы. Власть или организационная деятельность лидеров различных типов распространялась на разный контингент людей.

В целом можно утверждать, что австралийские аборигены обладали системой институциализированных властных позиций, которые представляли собой некоторую иерархию. Очевидно, эта система была более развита в некоторых регионах Севера и Юго-Востока континента со сравнительно высокой первоначальной плотностью населения и в меньшей степени – в засушливых центральных областях с очень низкой плотностью населения.

В функционировании этой системы чрезвычайно важную роль играл институт формального ритуального посвящения в особое тайное/священное знание. Только мужчины, прошедшие по крайней мере первичные стадии посвящения в эзотерическое знание, связанное с религиозными культурами, имели власть над женщинами и «младшими» мужчинами. «Старшими» становились мужчины, прошедшие все или почти все стадии такого посвящения. Однако некоторые виды религиозного знания сохранялись за религиозными лидерами определенных типов. «Профессиональные» маги, колдуны и «народные целители» также приобретали особую эзотерическую информацию в ходе специальной инициации.

Таким образом, институт инициации в некотором смысле разделял людей на несколько статусных категорий. Вся совокупность духовного наследия была разделена на несколько частей, некоторые из которых были доступны каждому, а другие – только некоторым статусным категориям.

Эзотерическое знание и тайна охранялись многочисленными и разнообразными табу, нарушение которых влекло за собой серьезные наказания, а также посредством особого метода, который можно обозначить как «предписанная или санкционированная дезинформация». Беккет называет это явление иначе – «благородная ложь» [Beckett 1977: XI]. Те, кто был посвящен в таинства, намеренно передавали посторонним ложные идеи или представления относительно эзотерических аспектов культуры. Такой «обман», в отличие от обычной лжи, расцени-

вался как необходимость, законный и неизбежный способ поведения, воспринимавшийся как *conditio sine qua non* успеха магических обрядов или тотемических культовых ритуалов. В то же время, такой предписанный и освященный религией обман служил средством поддержания и укрепления социального превосходства тех, кто имел к этому отношение, а в некоторых ситуациях являлся и средством психологического принуждения непосвященных повиноваться посвященным.

Строгая тайна, налагавшаяся на некоторые виды деятельности и знания, также как санкционированная дезинформация, имела глубокое моральное и психологическое воздействие и на непосвященных, и на посвященных, на последних, возможно, даже большее. Они считали себя обладателями «реального знания», тесно связанными с великими мистическими сверхъестественными силами, способными влиять на судьбу как общества в целом, так и отдельных индивидуумов. Обладая к тому же законным правом распространять («для общего блага») ложную и упрощенную информацию (предназначенную для «профанного» восприятия) среди непосвященных, они неизбежно становились убежденными в собственной существенной важности и высокой социальной ценности их персон. Это чувство превосходства гарантировало им право на определенные привилегии.

Таким образом, общество, не имевшее классовых различий и частной собственности, даже не производившее никакого материально-го излишка и не имевшее, по выражению Вудберна, «никакого механизма для накопления материального богатства», могло, однако, создавать довольно эффективные механизмы социальной дифференциации, в некотором отношении подобные тем, которые существуют в так называемых цивилизованных обществах, где определенные социальные группы монополизировали отдельные сферы информации и особенно престижные занятия. Очевидно, что для создания таких механизмов не обязательно проделывать долгий путь развития производительной экономики. Представляется, что монополизация особого знания и рода деятельности *per se* была мощной силой, структурировавшей социальное неравенство. В связи с этим представляется некорректным распространять, как это делается иногда, понятие «собственность» на сферу религиозных обрядов и идей, доступных только ограниченному контингенту людей [Keen 1988]. Такое распространение, также как и попытка связать концепцию отсроченного возвращения с экономической системой австралийскихaborигенов [Woodburn 1980] заслоняет тот важный факт, что различные типы или формы социального неравенства могут иметь свои корни в весьма различных явлениях.

В условиях жизни кочевых охотников-собирателей социальное неравенство едва ли могло бы принять более сложные и развитые формы, чем это имело место у австралийских аборигенов. Однако, возможно, что причиной этого являлось не отсутствие сложных технологий в сфере добычи пропитания. Более вероятно, что причиной этого была просто низкая плотность населения и в целом незначительное число членов сообщества. Возможно, только по этой причине названные механизмы дифференциации статуса особенно оказывали влияние на межполовые отношения у австралийских аборигенов. Создается впечатление, что подобная ситуация существовала в традиционном контексте в некоторых обществах охотников-собирателей аборигенов Америки, например, у она Огненной Земли, имевших церемониальные объединения и секретные ритуалы с ограниченным членством или участием (прежде всего исключались женщины).

Вопросы о том, почему различные группы охотников и собирателей с одинаковым способом пропитания создавали различные системы социальных отношений; почему в некоторых обществах охотников-собирателей монополизация социально важной информации и иерархия институциализированных властных статусов развивалась, а в других нет; почему, напротив, в некоторых обществах были созданы механизмы так называемого социального выравнивания – все эти вопросы крайне сложны, и, несмотря на множество специальных исследований, остаются нерешенными.

Наиболее оригинальный подход к данной проблеме был предложен Вудберном, всесторонне изучившим этот предмет. Его предположение состоит в том, что австралийские аборигены и африканские охотники и собиратели, несмотря на одинаковый способ добывания средств к существованию, имели различные экономические системы и поэтому обладали различной социальной организацией. Он рассматривает данную проблему в рамках общего различия между обществами с системами хозяйства, основанными на *немедленном возврате* (*immediate return*) и обществами, чьи системы хозяйства основаны на *отложенном возврате* (*delayed return*). В первом случае не существует или почти не существует никакого временного промежутка между выполнением работы и получением и потреблением продукта. Во втором случае всегда есть более или менее значительная «задержка» (*delay*), и ее наличие формирует основные организационные требования к системе упорядоченных, регламентированных и определенных законом отношений, посредством которых товары и услуги распределяются особо регулируемым способом. Это, в свою очередь, ведет к иерархии статусов, в то

время как в обществах с *немедленным возвратом* не имеется никаких долгосрочных отношений и статусного неравенства [Woodburn 1980: 97–98]. Кроме этих черт, отличающих австралийские и африканские экономические и социальные системы, имеется целый ряд других, тесно связанных между собой. Общества охотников-собирателей, характеризующиеся в данной работе как «эгалитарные», относятся Вудберном к первой категории, в то время как все аграрные общества и все другие общества охотников-собирателей рассматриваются как общества с *отсроченным возвратом* (то есть относятся ко второй категории).

Названная типология, как представляется, имеет большую теоретическую важность, так как она отрицает любую жесткую корреляцию между способом добывания средств к существованию и экономической системой, как и социальной системой в целом. Эта типология ставит под сомнение различные упрощенные теории эволюции человечества. Она также отвергает любую жесткую корреляцию между способом добывания средств к существованию и окружающей средой. Так, по утверждению Алана Барнарда, модель Вудберна «отрицает технологию как главный фактор и отводит скромную роль окружающей среде». Вместо этого модель выдвигает в качестве «основополагающего принципа» идеологию [Barnard 1983: 205]. Из этого следует, если мы правильно понимаем, что общества с *немедленным возвратом* не переходят к сельскому хозяйству или более эффективным формам хозяйствования не из-за препятствий, связанных с технологией и окружающей средой, а в силу особенностей соционормативной культуры, моральных отношений и психологического климата сообществ.

То же самое, как представляется, имело место и уaborигенов Австралии. Все, что нам известно относительно их традиционной жизни, побуждает думать, что они не развивали более эффективные экономически формы охоты и рыбной ловли (как некоторые автохтонные общества Северо-Западного побережья Америки или Дальнего Востока), несмотря на довольно развитые технологические навыки и благоприятные экологические условия, благодаря наличию в их культуре превентивных механизмов, во многих отношениях, очень сходных с таковыми у !кунг или хадза.

Вудберн, однако, рассматриваетaborигенов как общества с *отсроченным возвратом*. Он допускает, что они получали средства пропитания и использовали продукты труда тем же способом, что и охотники и собиратели в обществах с *немедленным возвратом*. Но он предполагает, что *отсроченный возврат* уaborигенов кроется не в самой организации трудового процесса и способа потребления продукта (как во всех

других обществах с подобными экономическими системами, особенно у охотников и рыбаков, которые создавали долгосрочные технические приспособления, требующие значительных затрат рабочей силы и значительно увеличивающие эффективность охоты и рыбной ловли), а в праве мужчин управлять брачными отношениями своих младших родственников женского пола. Приобретая право решать, когда и за кого их дочери, младшие сестры, дочери сестер будут выходить замуж, мужчины участвуют тем самым в долгосрочном предприятии, которое связывает их различными узами. Эти узы влекут за собой различные обязательства и выгоды, помещают мужчин в состояние взаимозависимости и создают отношения подчинения между ними, в особенности между молодыми людьми, стремящимися получить жен, и старшими мужчинами, имеющими право организовывать брачные союзы. Это, конечно, бесспорно, но какая часть в этой системе заставляла функционировать явление, обозначенное понятием «возврат»?

Если я правильно понимаю Вудберна, он трактует отсроченный возврат как получение аборигенами продовольствия, различных предметов и услуг от своих зятьев, мужей сестер или мужей племянниц и других мужских родственников [Woodburn 1980: 108–109]. Но, как отмечает сам Вудберн, в некоторых обществах с *немедленным возвратом* практиковалось «обслуживание невесты» в течение нескольких лет после брака, когда супруги жили вместе с родителями жены и муж регулярно отдавал им часть своей охотничьей добычи (элемент *отсроченного возврата*). У австралийцев с их вирилокальным и патрилокальным брачным поселением «компенсация» за жену осуществлялась через «систему пролонгированных взносов», часто в форме различных предметов и услуг. Представляется, что едва ли возможно точно определить, какой вид «возврата» за труд или за воспитание дочери более весом.

Конечно, право людей устраивать браки своего потомства женского (а зачастую и мужского) пола тесно связано с системой иерархии статусов и других специфических черт аборигенных социальных отношений. Однако само понятие «система возврата», как представляется, не способствует пониманию сущности этой связи, так как различие статуса мужчин и женщин а также и среди самих мужчин имеет, вероятно, один и тот же источник, находящийся вне экономической системы. Видимо не случайно для того, чтобы доказать, что аборигены имели систему *отложенного возврата*, Вудберн должен был распространить само понятие «система возврата» на сферу явлений, которые он не включал в категорию факторов, определяющих характер этой системы для всех других обществ. Поэтому его гипотеза относительно аборигенов вос-

принимается как довольно странная и искусственная на фоне его в целом четких и безуокоризненных построений. Возможно, данное обобщение, как и всякое другое, не является абсолютным: *отсроченный возврат* не является единственным фактором, формирующим «долгосрочные», несущие социальную нагрузку отношения среди людей и неравенство социального статуса. Возможно, подобные формы отношений, также как неэгалитарные отношения, могут иметь другое основание и сосуществовать с экономической системой с *немедленным возвратом*. Возможно также, что в этом отношении среди обществ охотников-собирателей аборигены были не исключением: подобная ситуация могла существовать и в некоторых автохтонных обществах Америки. Наконец, возможно общества австралийских аборигенов действительно имели экономические системы, которые отличались так или иначе от экономических систем хадза, !кунг или мбтуи, но основные черты этих различий необходимо искать в чем-то ином.

На настоящий момент нет убедительных доказательств, что рассмотренные различия в социальных отношениях были вызваны различием в экономических системах. Однако несомненно, что эгалитаризм упомянутых африканских и азиатских охотников и собирателей, с одной стороны, и неэгалитарные общественные отношения австралийских аборигенов – с другой, вызваны сложной комбинацией различных факторов.

Как представляется, одним из важнейших таких факторов является степень социальной интенсивности жизни, в частности коллективная культовая практика и межгрупповые контакты. Ни в одном из вышеупомянутых эгалитарных обществ эти сферы деятельности не были такими сложными и разветвленными, как в традиционных обществах аборигенов Севера, Востока и Юго-Востока Австралии. Длительные и тщательно разработанные религиозные церемонии, часто составлявшие сложные циклы, традиционные *корробори* с многочисленными участниками из разных общин, разветвленная система межгрупповых церемониальных обменов, сеть которых охватывала обширные области континента, частые войны между соседними группами, формировавшими в таких случаях специальные партии из воинов (экспедиции мести) – все это требовало довольно тесных социальных связей, четких структурных принципов формирования группы, а также некоторых организационных усилий. Там, где люди были разделены на активных и пассивных участников, где выдвигались лидеры и организаторы коллективной социальной деятельности, там формировались правила или нормы подчинения. Эти нормы, в свою очередь, значимо воздействовали на текущую соци-

альную жизнь во всех сферах, включая экономику.

Как писали Берндты, особенное значение имеет деятельность людей делают вне сферы удовлетворения основных жизненных потребностей [Berndt & Berndt 1977: 519]. Среди аборигенов подавляющая часть деятельности «вне сферы потребности» была связана с их религиозными культурами и другими духовными занятиями. Мы часто недооцениваем то, каким мощным фактором социального развития является так называемая «неутилитарная» деятельность, представляющая, очевидно, одну из главных психологических потребностей людей. Такая деятельность, как правило, не основана на реальных потребностях текущей жизни, но, в конце концов, приводит людей к новым культурным достижениям [Асмолов 1984].

Интенсивная духовная деятельность, сложная религиозная практика давали аборигенам возможность развивать и накапливать богатое интеллектуальное и духовное наследие. В то же время, эти занятия дали им средства для создания иерархических отношений и механизмов социального дифференцирования. Неудивительно, что эти занятия были, в значительной степени, прерогативой мужчин. Определенные особенности труда собирательниц и материнские обязанности не позволяли женщинам проявлять себя в общественной и ритуальной деятельности в той же степени, как мужчинам. А развитие регулирующих правил, неизбежных в любых коллективных человеческих занятиях, постепенно укрепило ведущее положение мужчин в этой сфере и привело к исключению женщин из некоторых сфер ритуальной и общественной жизни.

Монополизация некоторых видов информации и права предписанной дезинформации, являющаяся средством психологического принуждения, также вела к ограничениям женской независимости и подчинению женщин вне сферы ритуала, что, в свою очередь, позволяло мужчинам эксплуатировать, в известной степени, женский труд, супружеские связи и даже сексуальные отношения.

Среди мужчин механизмы социальной дифференциации действовали точно также, хотя, возможно, и более сложно [Barnard & Woodburn 1988: 27-31]. Представляется, что «долгосрочные», «несущие нагрузку» связи между людьми определялись скорее их религиозным статусом, их социальным положением в целом, степенью их персонального престижа и их возможностями вступления в брак, чем их доступом к критически значимым ресурсам жизнеобеспечения.

Существенными факторами, благоприятствовавшими относительно интенсивной социальной жизни и богатой коллективной религи-

озной практике, в частности у австралийских аборигенов, были относительно благоприятная экологическая ситуация в многих частях страны и доступность обширных территорий, где люди различных племенных групп могли перемещаться и контактировать друг с другом, не опасаясь более мощных врагов. Другие рассматриваемые общества охотников-собирателей не имели такого комплекса условий. Однако едва ли можно свести все причины различий интенсивности социальной жизни охотников и собирателей к географическим, экологическим факторам и факторам окружающей социальной и культурной среды (инкапсуляция или изоляция от чужих культур). Очевидно, что все эти факторы не обеспечивают исчерпывающего объяснения, независимо от того, рассматриваем ли мы их отдельно или вместе.

Различные народы создают различные культуры не только из-за того, что живут в различных условиях (природных и социальных) и имеют различающиеся культурные традиции, но и в силу других сложных и неясных причин, которые в значительной степени связаны с неисследованной сферой психологических явлений. Образно говоря, каждая культура, также как каждый человек, имеет собственную индивидуальность, которая развивается под влиянием многих факторов, некоторые из которых не поддаются научному определению.

Мы далеки от мысли, что если бы !унг или палиан неким фантастическим способом были помещены в те же самые условия жизни, что и австралийские аборигены, то они выработали бы ту же самую систему социальных отношений. Представляется, что культуры австралийских аборигенов, с одной стороны, и культуры мбути, хадза или палиан, с другой, не представляют собой различные стадии человеческого развития. Мы также склонны рассматривать эгалитаризм последних и неэгалитаризм первых как результат их собственной и длительной традиции культурного развития.

Ни одна из этих культур не дает возможности для универсальных обобщений и выводов относительно далекого прошлого. Однако нам представляется, что все же некоторые обобщения на этом материале возможны. Могущественные закрытые сообщества, имеющие монополию на некие социальные знания и престиж, могут развиться, но могут и не развиться в обществах с одинаковым способом и уровнем жизнеобеспечения. В то же время такие сообщества могут существовать в обществах различных типов – с различными способами жизнеобеспечения – какова бы ни была их типология: среди бродячих охотников-собирателей и среди оседлых земледельцев, также как в современных индустриальных обществах с их классовой стратификацией или в тех

социумах, которые стремятся нивелировать классы и частную собственность на средства производства, как это было в бывшем Советском Союзе. Коммунистическая партия в целом и Центральный комитет в частности представляют собой прекрасный пример этому.

Существование могущественных закрытых сообществ-монополистов зачастую точно коррелирует со статусом полов. Поскольку такие сообщества имеют тенденцию возникать под влиянием различных исторических и социоэкономических обстоятельств, то мы можем предположить, что само их существование тесно связано с некими социопсихологическими факторами, проявляющимися в строго ограниченных культурных, исторических, локальных, цивилизационных, социально-экономических и других рамках. Вероятно, эти корпорации были призваны гарантировать социально-политическую монополию мужчин и, соответственно, низкий, или, по крайней мере невысокий, женский статус, поскольку они создавались мужчинами и для мужчин как ответ на психологические установки, характерные именно для мужчин.

ЛИТЕРАТУРА:

- Артемова О.Ю.* Личность и социальные нормы в раннепервобытной общине (По австралийским этнографическим данным). М., 1987.
- Асмолов А.* Личность как субъект психологического изучения // Советская психология. 1984. № 2-3.
- Barnard A.* Sex Roles among the Nhara Bushmen of Botswana // Africa. Vol. 50. London, 1980.
- Barnard A.* Contemporary Hunter-Gatherers: Current Theoretical Issues in Ecology and Social Organization // Current Anthropology. 1983. Vol. 12.
- Barnard A. & Woodburn J.* Some connections between property, power and ideology // Hunters and Gatherers. Vol. 2: Property, Power and Ideology. Oxford, 1988. P. 10-31.
- Beckett J.* Preface // Elkin A. Aboriginal Men of High Degree. St. Lucia, 1977.
- Begler E.B.* Sex, Status and Authority in Egalitarian Society // American Anthropologist. 1987. Vol. 80. P. 571–596.
- Berndt R.M. & Berndt C.H.* The World of the First Australians. Sydney, 1977.
- Burch E.S., Jr. & Ellana L.J.* Social Stratification, Editorial // Key Issues in Hunter-Gatherer Research. Oxford, 1994. P. 219–221.

- Endicott K.L.* Property, Power and Conflict among the Batek in Malaysia // Hunters and Gatherers. Vol. 2: Property, Power and Ideology. Oxford, 1988.
- Fitzhugh B.* Developing a Synthetic Theory of the Evolution of Complex Hunter-Gatherers. Paper presented at the 8th Conference on Hunting and Gathering Societies, Aomori, Japan, Oct. 22, 1998.
- Fried M.H.* The Evolution of Political Societies. New York, 1967.
- Gardner P.M.* Symmetric Respect and Emigrate Knowledge: The Structure and Ecology of Individualistic Culture // Southwestern Journal of Anthropology. 1965. Vol. 22. P. 389–415.
- Gardner P.M.* Forager's Pursuit of Individual Autonomy // Current Anthropology. 1991. Vol. 32. P. 543–572.
- Goodale J.C.* Tiwi Wives. A Study of the Women of Melville Island, North Australia. Seattle, 1971.
- Haydon B.* Pathways to Power: Principles for Creating Socioeconomic Inequalities // Foundations of Social Inequality. New York, 1995. P. 15–85.
- Keen I.* Yolngu Religious Property // Hunters and Gatherers. Vol. 2: Property, Power and Ideology. Oxford, 1988. P. 271–291.
- Keen I.* Knowledge and Secrecy in an Aboriginal Religion. Melbourne, 1997.
- Lee R.B.* !Kung San. Men, Woman and Work in a Foraging Society. Cambridge, 1979.
- Marshall L.* The !Kung of Nyae Nyae. Cambridge (Mass.), 1976.
- Schweitzer P.P.* Hierarchy and Equality among Hunter-Gatherers of the North Pacific Rim: Toward a Structural History of Social Organization. Paper presented at the 8th Conference on Hunting and Gathering Societies, Aomori, Japan, Oct. 22, 1998.
- Service E. R.* Origin of The State and Civilization. New York, 1975.
- Turnbull C.M.* Wayward Servants. The Two Worlds of African Pygmies. New York, 1965.
- Wason P.K.* Monuments, Status and Communication in the Neolithic. Paper presented at Prehistoric Communication Symposium, Seattle, WA, U.S.A., March 27, 1998.
- White I.M.* Aboriginal Woman's Status Resolved. In Woman's Role in Aboriginal Society. Canberra, 1970.
- Winterhalter B. & Smith E.A.* Evolutionary Ecology and the Social Sciences // Evolutionary Ecology and Human behavior / Ed. by E.A. Smith & B. Winterhalter. New York, 1992. P. 3–23.

- Woodburn J.C.* Minimal Politics: The Political Organization of the Hadza of North Tanzania // Politics and Leadership: A Comparative Perspective. Oxford, 1979.
- Woodburn J.C.* Hunters and Gatherers Today and Reconstruction of the Past // Soviet and Western Anthropology. London, 1980. P. 95–117.
- Woodburn J.C.* Egalitarian Societies // Man. 1982. Vol. 17. P. 431–451.
- Woodburn J.C.* African Hunter-Gatherer Social Organization. Is it Best Understood as a Product of Encapsulation? // Hunters and Gatherers. Vol. 1: History, Evolution and Social Change. Oxford, 1988. P. 43–64.

**II. ИЕРАРХИЧЕСКИЕ
АЛЬТЕРНАТИВЫ ПОЛИТОГЕНЕЗА**

Гавайские острова (800–1824 гг.)

Т.К. Ёрл

Гавайский архипелаг состоит из семи крупных островов, расположенных на севере центральной части Тихого океана, в тропической зоне ($19\text{--}22^{\circ}$ северной широты). Это цепь вулканических пиков, отстоящих от материка и других островов более чем на 5000 км. В центре каждого острова расположена гора, склоны которой резко обрываются в море.

Климатически острова являются настоящим тропическим раем с теплой погодой, сильными дождями и впечатляющим ландшафтом. Склоны холмов покрыты густой растительностью, а ниточки водопадов подчеркивают живописный эффект. Годовое количество осадков – 1500–2000 мм; дожди идут практически круглый год, однако наибольшее их количество приходится на зимние месяцы [Thomas 1965: 34]. Растительность влажной наветренной стороны островов резко отличается от более сухой подветренной. Температура стабильна в течение года, в среднем составляя $23\text{--}27^{\circ}$ С при небольших суточных колебаниях.

Для данного исследования был выбран Кауаи – самый западный и самый старый из крупнейших островов архипелага [Earle 1997: Рис. 2.7]. Его размеры составляют 40 км в поперечнике, а площадь около 1400 кв. км. Центральный горный пик вздымается на 1548 м. Кауаи известен как «Остров-сад». Склоны острова подвержены сильной эрозии. Горные потоки, спускаясь вниз к океану, прорезали глубокие долины. Почвы острова вулканические, в долинах и устьях рек – богатые аллювиальные отложения.

Топография острова определяет контраст в выпадении осадков. Когда на северо-восточном берегу острова дуют переменные ветры, воздух поднимается вверх и охлаждается, формируя дождевые облака. На наветренной стороне на побережье выпадает около 1300 мм осадков в год, возрастая до 10000 мм на гребне горного массива. На подветренной стороне количество осадков падает до 500 мм в год. В соответствии с этим растительность варьирует от влажных тропических лесов до полупустынь. Внутри этой компактной зоны почвы, вода и флора могут радикально отличаться, что оказывает сильное влияние на сельскохозяйственную продуктивность земель.

На момент контакта с европейцами социальная организация Гавайских островов была наиболее сложной среди всех полинезийских вождеств, а, может быть, и среди всех известных вождеств. Между вождями и их подданными существовало четкое разделение. Вожди были организованы в линиджи, управлявшие крупными островами – Кауаи, Оаху, Мауи и Гавайи. Специалисты по генеалогии помнили родословные знати до 20 поколений или даже больше. Верховный вождь обладал самым высоким статусом в правящем линидже. Теоретически права на должности вождей долин определяла генеалогическая дистанция от верховного вождя. В действительности борьба за эти посты была очень ожесточенной, так как большинство местных вождей были родичами верховного вождя (как правило, двоюродными братьями) и часто сражались на его стороне в династических войнах и в завоевательных походах.

Вожди жили чтобы править. В общинах они назывались *али’и ’ai ahu’ua’* («вождь, которого кормит община»). Менее знатные могли входить в состав свиты верховного правителя как воины или прислуживать ему и нести символы его должности – *кахили* (мухобойку) и плевательницу. Они также выполняли функции управляющих (*конохики*) *ahu’ua’* (общины) вождя, собирая общинников для земледельческих и иных работ. *Конохики* выступал как местный лидер, организуя экономическую деятельность общины. Например, если оросительные системы нуждались в починке, он как представитель правителя организовывал работы и последующий праздник. Кроме того *конохики* руководил подготовкой даров, которые ежегодно вручались верховному вождю, когда он, персонифицируя бога Лено, прибывал в общинное святилище.

Общинники составляли основную массу населения Гавайев и существовали за счет земледельческих участков или наделов, полученных от вождя, рыбной ловли и других пищевых ресурсов побережья и лесов. Общинники были лишены доступа к «специалистам по памяти» и не знали своих генеалогий; более того, для них это было запрещено (*табу*) [Kamakau 1961: 242; Malo 1951: 60; Sahlins 1971]. Контраст в знании родословных подчеркивал различия между вождями и общинниками. Идентичность и организация последних определялись общиной, к которой они принадлежали, и вождями, от которых зависели.

Исторические источники хорошо освещают гавайские вождества накануне, во время и после европейской экспансии.

В 1778 г. Джеймс Кук высажился в бухте Ваймека на южном берегу Кауаи. Его встретили с наивысшими почестями, достойными вождя

или бога: «Как только я выскочил на берег, они [островитяне] упали ниц и оставались так, пока я не сделал знак, чтобы они поднялись. Затем они принесли множество маленьких свиней и отдали их нам, не требуя ничего взамен...» [Cook 1967: 269].

Разбросанные в Ваймее поселения дали Куку возможность увидеть картину жизни в сложном вождестве [Earle 1997: Рис. 2.8]. По долине были рассыпаны небольшие участки, обнесенные стенами, выше располагалась сеть каналов для орошения полей таро. Женщины изготавливали материю *tapa*, мужчины работали на полях. Гавайцы с готовностью обменивали еду, перья и сексуальные услуги на европейские товары, в особенности на железо. Последующие путешественники, торговцы и миссионеры в деталях описали политическое и социальное устройство быстро меняющегося гавайского общества в то время, когда оно инкорпорировалось в историю европейского мира и в мировую экономику [см.: Broughton 1804; Campbell 1967; Dixon 1789; Ellis 1963; Portlock 1789; Turnbull 1813; Vancouver 1798; Whitman 1813-1815]. Но наше видение этого общества не односторонне. Гавайские вожди, научившись читать и писать на родном языке, запечатлели историю островов и свои личные воспоминания и детальные этнографические описания [Beckwith 1932; I'i 1959; Kamakau 1961, 1964, 1976; Malo 1951]. Камакау так описал роковой для Кауаи момент: «Долина Ваймее звенела от взорванных криков людей, когда они увидели корабль с его мачтами и парусами, похожий на гигантского ската. Одни спрашивали: “Что это за ветвистые вещи?”, а другие отвечали: “Это деревья, которые двигаются по морю”. Еще одни думали: “Двойное каноэ безволосого Мана!”. Некий кахуна по имени Ку-’оху заявил: «Это не может быть ничем иным кроме *xeiau* Лоно, башни Ке-о-лева и жертвенного алтаря» [1961: 92]. Кука, по-видимому, приняли за воплощение бога Лоно, который вернулся в бухту Ваймее, занимавшую важное место в мифе о нем [Sahlins 1985; Valeri 1985]. Но европейские корабли и железо были магией, которую гавайцы быстро научились использовать в собственных целях.

Гавайское королевство, созданное вскоре при помощи европейцев и их военной технологии, было организовано по европейской модели и оставило богатое документальное наследие, запечатлевшее быстрые социальные и экономические изменения, а также многие аспекты традиционного образа жизни в качестве прецедентов для судебных разбирательств.

Археологические данные, свидетельствующие о развитии гавайского общества, не очень богаты. Ранние исследования были направлены на составление каталогов археологических памятников, многие из которых известны из исторических документов. Профессиональная карьера У. Беннетта, получившего впоследствии известность своими раскопками в Южной Америке, началась с работы по документированию памятников Кауаи [Bennett 1931]. Значительную их часть составляли святилища (*heiau*), и для них была создана первая типология. В 50-е годы XX в. благодаря серии малых раскопок (особенно следует отметить работы Эмори), в том числе на побережье Напали на Кауаи была установлена твердая хронология. Комплексные исследования поселенческих систем и экономики начались в 60-е годы обследованием долин на островах Оаху, Молокай и Гавайи [Green 1967, 1980; Kirch, Lepofsky 1975; Rosendahl 1972].

В русле этого нового направления в экономической и социальной археологии моя диссертация была посвящена анализу экономического развития северного побережья Кауаи накануне контакта с европейцами [Earle 1973]. Я принял участие в этноисторическом проекте, организованном Маршаллом Салинзом [Sahlins 1971, 1992; Linnekin 1987] и направленном на исследование «Великого Махеле» – реформ, приведших к появлению частной собственности на землю. Долины (бывшие *ahupua'a*) были переданы вождям, а небольшие участки остались за общинниками. С самого начала Салинз [1971, 1992; Kirch 1992] ориентировался на комплексное использование документальных и археологических источников. Я был ответственным за исторические данные в округе Халелеа (северное побережье Кауаи) и за проект картографирования с целью определить размеры и технологию исторических ирригационных систем [Earle 1978].

В 70-е и 80-е годы это исследование было дополнено программой масштабных проектов по управлению культурными ресурсами, с целью инвентаризации археологических памятников и раскопок тех, перед которыми стояла угроза уничтожения. Эта работа совмещала как исследование поселенческой, социальной и экономической организации, так и обширные раскопки памятников и изучение долговременных тенденций эволюции общества [Cordy 1981; Hommon 1986; Kirch 1984, 1985; Dye, Komori 1992]. Теперь мы можем проследить историю заселения островов и развития сложного общества, каким его застали первые европейцы.

Гавайский архипелаг был заселен около 400 г. н. э. В то время их природа значительно отличалась от той, что наблюдал Кук спустя 1400 лет. Изначально острова были покрыты лесами; заросли *охия* и *коа* спускались на побережье. Однако видовое разнообразие фауны этих лесов вследствие отдаленности от континента было достаточно бедным [Kirch 1982a]. Не все виды могли достичь островов, те же, которые достигали, в процессе движения на восток, вглубь океана, вырождались. Гавайи и другие полинезийские острова Центральной и Восточной Океании были одними из самых изолированных участков суши на планете, и поэтому количество эндемичных животных видов здесь невелико. Ни одно наземное млекопитающее, за исключением летучей мыши, не добралось до архипелага. Из птиц можно было охотиться на несколько видов уток, гусей, ибисов и водяных пастушков. Глубоководные и прибрежные рыбы, а также морские млекопитающие были главным источником пищи.

Колонизаторы-полинезийцы постепенно трансформировали исходную природную среду. Они, по-видимому, сознавали относительную бедность новых земель и потому везли с собой растения и животных, которые были необходимы для создания экономически устойчивой системы. Можно себе представить идущие по морю каноэ, наполненные людьми, свиньями, собаками и курами, саженцами и клубнями растений (таро, батат, сахарный тростник и бананы) и семенами, орехами и членками кокосовых пальм, лекарственных и волокнистых, пригодных для изготовления тканей растений. И если сначала переселенцы сильно зависели от морских ресурсов [Kirch 1984], то вскоре на Халаяу (остров Молокай) рыба как основной источник протеина вскоре уступила место одомашненной собаке и свинье [Kirch, Kelly 1975: 68-69]. Как на Галапагосских островах местные птицы-эндемики (гусь, ибис, водяной пастушок) были легкой добычей. В условиях отсутствия крупных хищников они зачастую не умели летать и не боялись охотников, которые вскоре истребили их всех. Другие виды исчезли в результате изменений среды [Olson, James 1984]. На многих островах Полинезии была распространена подобная «привозная среда», созданная переселенцами, чтобы заменить хрупкую и ограниченную естественную среду [Kirch 1982a].

Трансформация природы архипелага, вырубка лесов земледельцами усилили дефорестацию и эрозию почв. Палеоэкологические данные свидетельствуют, что быстрое исчезновение лесов и саванн было связано с их выжиганием для сельскохозяйственных нужд [Kirch 1982b; Christensen, Kirch 1986]. На маленьком острове Кахо'олаве после 1400 г.

движение населения вглубь суши было вызвано интенсивной вырубкой лесов, а последующее возвращение на побережье было, очевидно, следствием истощения почв и эрозии [Hommon 1986; Spriggs 1991]. Но одновременно эти процессы в горных районах, ранее поросших лесом, увеличивали отложения в долинах и создавали новые возможности для земледелия [Spriggs 1986].

Новые аллювиальные почвы вскоре превратились в орошаемые поля таро [Allen 1991]. Была создана искусственная высокопродуктивная экосистема, составляющими которой стали орошаемые участки таро, насыпи между ними, засаженные кокосовыми пальмами, бананом и сахарным тростником, и пруды для разведения рыбы [Earle 1997: Chapter 3]. Долины и травянистые горные склоны, которые Кук наблюдал в Ваймеа, были, как и большая часть остального ландшафта, культурным артефактом.

Изменение окружающей среды сопровождалось ростом населения. Небольшая группа поселенцев (несколько сот человек) к 800 г. выросла до нескольких тысяч. Изначально селясь на наиболее плодородных землях, они должны были занять все лучшие участки и начать двигаться на сухие подветренные берега и во внутренние районы [Cordy 1974]. Все возрастающая зависимость от сельского хозяйства способствовала распространению людей на островах и вскоре после 1200 г. быстро растущее население потребовало интенсификации земледелия.

Каково было население Гавайев и когда оно достигло максимума?

Несомненно, Гавайи были самым густонаселенным архипелагом в Полинезии, однако количественные оценки до сих пор вызывают жаркие споры [Stannard 1989; Nordyke 1989]. Приблизительные оценки Кука и его спутников варьируются от 240 тыс. до 400 тыс. человек. Более осторожная оценка Шмитта [Schmitt 1971] в 200–250 тыс. долгое время оставалась общепринятой; Нордайк [Nordyke 1989: Табл. 1] поднял ее до 310 тыс. Стэннэрд [Stannard 1989], предложил цифру в 800 тыс., основываясь на возможном уровне прироста населения и на сельскохозяйственном потенциале островов. Очевидно, что проблема не решена и, видимо не может быть решена исходя из анализа исторических свидетельств и демографических расчетов. Необходимо систематическое изучение археологических материалов.

Установление хронологии поселений и отдельных домов может дать начало разрешению вопроса о величине населения. Одним из способов расчета роста населения является оценка относительной частоты

радиоуглеродных датировок для археологической последовательности [Rick 1987]. Используя эту технику, Дай и Комори [Dye, Komori 1992] исследовали 495 проб со всего архипелага (18 с Кауаи) и установили кривую роста населения. Вслед за долгим периодом постепенного роста (400–1200 гг.) население резко увеличилось, возможно, до 160 тыс. человек около 1500 г. Затем вплоть до появления европейцев в конце XVIII в. население стабилизировалось или слегка уменьшилось. Эти оценки, особенно остановки роста, не являются общепринятыми из-за возможной проблемы репрезентативности радиоуглеродных выборок. Они могут недостаточно отражать демографические процессы в центральных регионах, так как раскопки, из которых происходят образцы, концентрировались на периферии, а районы, где жило большинство гавайцев, разрушены современным строительством. Установление демографических тенденций и их варьирование на островах является важной задачей для будущих археологов [Kirch 1990].

Общий рост населения до 1500 г. может быть признан несомненным. Он был связан с трансформацией окружающей среды, когда леса сменились полями. Однако крупнейшая реконструкция среды, состоявшая в создании искусственных земледельческих экосистем [см. Earle 1997: Chapter 3], произошла значительно позднее 1500 г., когда прирост, видимо, остановился [Kirch 1990]. Возможно, что фаза спада (по Даю и Комори), являлась следствием концентрации населения. Мы можем сделать вывод, что начальный демографический рост вызвал интенсификацию земледелия, но технологические трансформации периода после 1500 г. (быстрое развитие ирrigации) не были связаны с демографическим давлением. Скорее концентрация обитателей островов в районах с ирригацией отражает динамику в политической экономии.

Первые поселенцы несли с собой архаические, протополинезийские принципы рангов и лидерства. Хотя сами по себе эти принципы были недостаточным источником власти, они могли служить важным средством ее легитимизации. Полинезийская социальная структура часто описывается как конический клан – неэкзогамная, амбилатеральная социально-политическая группа с внутренним ранжированием. Ранги зависели от близости к старшей линии. Наивысший ранг имел старший сын в старшей линии. Теоретически каждый человек имел индивидуальный ранг «в точности пропорциональный его родству со старшей линией наследования» [Sahlins 1958: 141]. Наименование вождя (*apike*, гав. *ali'i*) является общеполинезийским. Вожди поддерживали свой

статус разными способами, возможно, изначально как владельцы морских каноэ и организаторы колонизации.

За рассматриваемый здесь тысячелетний период сложность гавайской политической организации значительно увеличилась. Устная традиция сообщает о росте власти вождей и соответствующем масштабе политической интеграции. Путем завоеваний и браков удачливые вожди расширили пределы своих политий. Основываясь на устной истории острова Мауи, Колб [Kolb 1994] описал последовательное формирование все более крупных вождеств. К 800 г. Мауи был окончательно освоен. Как это реконструировано для протополинезийской культуры [Kirch, Green 1987: 431], раннее гавайское общество было организовано по принципу простых вождеств, в которых вожди возглавляли местные родовые группы, владевшие землей. В формативный период (1200–1400 гг.) размеры вождеств выросли, и в период консолидации (1400–1500 гг.) возникли два региональных объединения – на востоке и на западе острова соответственно. Каждое пыталось расширить свою территорию за счет другого. Корди [Cordy 1981: 180–181] описывает, что в это время на западном побережье острова Гавайи образовалась буферная зона без поселений. В период унификации (1500–1600 гг.) на Мауи сформировалось вождество, охватывающее весь остров. Тогда же 'Уми завоевал весь Гавайи. Долговременная тенденция увеличения размеров политий продолжалась, и в следующей фазе (период аннексии, 1650–1820 гг.) правители Мауи и Гавайи постоянно воевали, чтобы создать многоостровное объединение. Используя европейские корабли, оружие и специалистов, юный вождь Гавайи Камеамеа в 1790 г. завоевал Мауи в своей первой успешной кампании по созданию Гавайского государства.

Возникновение стратификации археологически отражается в росте дифференциации затрат труда на погребальные монументы [Tainter 1973] и резиденции элиты [Cordy 1981]. До 1400 г. дома не отличались друг от друга, но затем появились домовладения на террасах, окруженные стенами. Эти постройки демонстрируют выделение вождей, использовавших групповой труд. На Мауи в период консолидации резко выросло строительство религиозных монументов (*heiau*) [Kolb 1994]. Увеличение контроля над рабочей силой, о котором свидетельствуют размеры монументальных построек, отражает институализацию и усиление власти правителей в период формирования восточного и западного вождеств. Эти изменения, засвидетельствованные в археологических и исторических источниках, отражали долгий процесс роста масштабов и структуры вождеств.

Таким образом, Гавайские острова дают пример развития, в ходе которого естественная среда была превращена в культурный мир, при надлежавший вождям. Это тот самый случай, которого может ожидать любой представитель культурно-экологического направления. Увеличение населения ведет к интенсификации земледелия, деградации природной среды и к контролю вождей над экономикой. Такой сценарий частично отражает реальное состояние вещей, однако в нем теряются некоторые подробности эволюционного процесса. Да, демографический рост имел место, и распространение подсечно-огневого земледелия существенно затронуло окружающую среду. Однако развитие интенсивных ирригационных технологий и стратифицированных вождеств произошло достаточно быстро. После строительства оросительных комплексов, когда продуктивность земледелия значительно выросла, население уже могло не расти.

Гавайские вожди смогли создать эффективную стратегию власти, основанную на высокопродуктивном сельском хозяйстве. Прибавочный продукт, создаваемый на орошаемых угодьях, шел на поддержку ремесленников, воинов и жрецов, обслуживавших правящий род. Контроль над земледельческой экономикой был основным источником власти, позволявшим использовать и другие источники. *Али’и* владели самыми крупными сельскохозяйственными участками, включая ирригационные комплексы в долинах и поля на «сухих землях» на склонах гор. На них общинники собирали таро и другие овощи, которые поддерживали значительное земледельческое население и обогащали вождей. Эта система была, в терминах Гирца [Geertz 1963], способна к инволюции. Прополка полей, расчистка рвов или другая несложная работа всегда приносила больше пищи. Тяжелая работа крестьян производила прибавочный продукт, чтобы поддерживать элиту.

Высокая продуктивность ирригационной системы и значительное вложение труда удерживали общинников на их земле. Они неохотно отказывались от участков, расположенных на лучших землях. Управляющий общиной (*конохики*) «собирал» своих людей для постройки новых оросительных каналов, работы на полях вождя, заготовки перьев для плащей, сооружения храмов и дорог (предоставляя рабочую силу для различных инициатив вождей).

Оросительные системы и «сухие земли» были своего рода физическим воплощением упорядоченной политической экономии. Права на использование наделов предоставлялись в обмен на труд общинников. Происхождение земледельческих комплексов становится важным тео-

ретическим вопросом. Это не был медленный процесс, решающий местные нужды. Обширные системы ирrigации были построены за сравнительно короткий период под наблюдением вождей и их *конохики*. Рост населения на островах вызвал необходимость интенсификации производства, однако именно место, которое системы орошаемых полей занимали в политэкономической структуре общества, было ключевым в эволюции на Гавайских островах.

Хотя контроль над землей был первичным источником социальной власти, другие ее источники представляются не менее важными. Война играла особую роль на раннем этапе. По всей Полинезии вожди боролись друг с другом за власть, влияние и ресурсы. Война между гавайскими политиями была главным мотивом устной истории. Первые региональные и островные вождества были созданы путем завоеваний. Война была основным инструментом политической экспансии.

Идеология связывала вождей с богами, представляя их как ответственных за жизнь (плодородие) и смерть (война) [Valeri 1985]. Хотя монументальное строительство существовало и в историческое время, его пик пришелся на более раннее время, около 1200–1400 гг. [Kolb 1994]. Будучи связано с завоевательными походами, сооружение храмов создавало новый культурный ландшафт. Впоследствии монументальное строительство сократилось и ему на смену пришли пышные церемонии. В этот период основные усилия в создании культурного ландшафта сместились в область земледельческих систем и иерархических земельных держаний. В процессе сложения гавайских вождеств идеология легитимизировала и поддерживала новый социальный порядок, но вложения в идеологию были периодическими и стратегическими.

Власть на Гавайских островах покоялась на земледелии. Прибавочный продукт, производимый в формирующихся иерархических обществах, мог быть использован различными способами. Военная мощь вела к увеличению политий, однако экспансия затрудняла контроль. Вождь-завоеватель мог запросто потерять метрополию из-за предательства или восстания. Идеология легитимизировала новый политический порядок, однако он мог подвернуться переинтерпретации. Большое количество ресурсов, вложенное в монументальное строительство, позволяло создать упорядоченный культурный ландшафт, но, в конце концов, пышность церемоний и обрядов преходяща. Пышность требует новой пышности, более высоких расходов, которые могут буквально обанкротить стратегию власти. На Гавайских островах экономический базис власти вождей доказал свою эффективность, поскольку ресурсы,

инвестированные в строительство земледельческих комплексов, возвращались в виде прибавочного продукта, который можно было мобилизовать. Эта система в исследуемый период имела практически неограниченный потенциал.

Первоначальная стратегия, делающая упор на войну и идеологию была трансформирована. Развитие политической экономии было необходимым условием для централизованнойластной стратегии, которую застали европейцы. Потенциал ее роста дает основания полагать, что гавайские вождества могли бы стать государствами. Для этого были необходимы лишь небольшие технические нововведения. Гавайские вожди знали, что им нужно, и быстро осознали ценность европейского оружия. Камеамеа эффективно использовал западные суда и ружья, чтобы завоевать острова Мауи, Молокай и О'аху и создал первое гавайское государство. Все ингредиенты были на месте, и решения были найдены, даже если бы европейцы не появились.

ЛИТЕРАТУРА:

- Allen J. The Role of Agriculture in the Evolution of the Pre-Contact Hawaiian State // Asian Perspectives. 1991. Vol. 30. P. 117–132.*
- Beckwith M.W. Kepelino's Traditions of Hawaii. Honolulu, 1932.*
- Bennett W.C. Archaeology of Kauai. Honolulu, 1931.*
- Broughton W.R. A Voyage of Discovery in the North Pacific Ocean. London, 1804.*
- Campbell A.A. Voyage Round the World from 1806–1812. Honolulu, 1967 (1822).*
- Christensen C., Kirch P. Nonmarine Mollusks and Ecological Change at Barbers Point, Oahu, Hawaii // Bernice P. Bishop Museum Occasional Papers. 1986. № 26. P. 52–80.*
- Cook J. The Journals of Captain James Cook on his Voyages of Discovery: III. The Voyage of the Resolution and Discovery 1776-1780. Pt. I. Cambridge, 1967.*
- Cordy R. Cultural Adaptation and Evolution in Hawaii: A Suggested New Sequence // Journal of Polynesian Society. 1974. Vol. 83. P. 89–109.*
- Cordy R. A Study of Prehistoric Social Change: The Development of Complex Societies in the Hawaiian Islands. New York, 1981.*
- Dixon G. A Voyage Around the World...in 1785–1788... London, 1789.*
- Dye T., Komori E. A Pre-Censal Population History of Hawai'i // New Zealand Journal of Archaeology. 1992. Vol. 14. P. 113–128.*

- Earle T.* Control Hierarchies in the Traditional Irrigation Economy of the Halelea District, Kauai, Hawaii. Ph.D. Dissertation, Department of Anthropology, University of Michigan, Ann Arbor. Ann Arbor, 1973.
- Earle T.* Economic and Social Organization of a Complex Chiefdom, the Halelea District, Kaua'i, Hawaii. Ann Arbor, 1978.
- Earle T.* How Chiefs Come to Power. The Political Economy in Prehistory. Stanford, 1997.
- Ellis W.* Journal of William Ellis. Honolulu, 1963 (1827).
- Geertz C.* Agricultural Innovation. Chicago, 1963.
- Green R.* Makaha Valley Historical Project: Interim Report 1. Honolulu, 1969.
- Green R.* Makaha before 1880 AD. Makaha Valley Historical Project Summary Report 5. Honolulu, 1980.
- Hommon R.J.* Social Evolution in Ancient Hawaii // Island Societies: Archaeological Approaches to Evolution and Transformation. Cambridge, 1986. P. 55-68.
- I'i J.P.* Fragments of Hawaiian History. Honolulu, 1959.
- Kamakau S.M.* Ruling Chiefs of Hawaii. Honolulu, 1961.
- Kamakau S.M.* The People of Old. Honolulu, 1964.
- Kamakau S.M.* The Works of People of Old. Honolulu, 1976.
- Kirch P.* Transported Landscapes // Natural History. 1982. Vol. 91. P. 32–35.
- Kirch P.* The Impact of Prehistoric Polynesians on the Hawaiian Ecosystems // Pacific Science. 1982. Vol. 36. P. 1–14.
- Kirch P.* The Evolution of Polynesian Chiefdoms. Cambridge, 1984.
- Kirch P.* Feathered Gods and Fishhooks: An Introduction to Hawaiian Archaeology. Honolulu, 1985.
- Kirch P.* The Evolution of Socio-Political Complexity in Prehistoric Hawai'i: An Assessment of the Archaeological Evidence // Journal of World Prehistory. 1990. Vol. 4. P. 311–345.
- Kirch P.* (Ed.). Anahulu: the Anthropology of History in the Kingdom of Hawaii. Chicago, 1992. Vol. 2.
- Kirch P., Green R.* History, Phylogeny, and Polynesia // Current Anthropology. 1987. Vol. 28. P. 431–456.
- Kirch P., Kelly M.* (Eds.) Prehistory and Ecology in a Windward Hawaiian Valley: Halawa Valley, Molokai. (Pacific Anthropological Records. 1975. Vol. 24).
- Kolb M.* Monumental Grandeur and the Rise of Religious Authority in Pre-contact Hawaii // Current Anthropology. 1994. Vol. 34. P. 1–38.

- Linnekin J.* Statistical Analysis of the Great Mahele: Some Preliminary Findings // *Journal of Pacific History*. 1987. Vol. 22. P. 15–33.
- Malo D.* Hawaiian Antiquities. Honolulu, 1951 (1898).
- Nordyke E.* Comment // *Stannard D.* Before the Horror: The Polynesian Population of Hawai'i on the Eve of Western Contact. Honolulu, 1989. P. 105–113.
- Olson S., James H.* The Role of Polynesians in the Extinction of the Avifauna of the Hawaiian Islands // *Quaternary Extinctions*. Tucson, 1984. P. 768–780.
- Portlock N.* A Voyage around the World...in 1785–1788. London, 1789.
- Rick J.* Dates as Data: An Examination of the Peruvian Preceramic Record // *American Antiquity*. 1987. Vol. 52. P. 55–73.
- Rosendahl P.* Aboriginal Agriculture and Residential Patterns in Upland Lapakahi, Hawaii. Ph.D. dissertation, Department of Anthropology, University of Hawaii. Honolulu, 1972.
- Sahlins M.* Social Stratification in Polynesia. Seattle, 1958.
- Sahlins M.* An Interdisciplinary Investigation of Hawaiian Social Morphology and Economy in the Late Prehistoric and Early Historic Periods. Grant proposal submitted to the National Science Foundation. 1971
- Sahlins M.* Islands of History. Chicago, 1985.
- Sahlins M. (Ed.)*. Anahulu. The Anthropology of History in the Kingdom of Hawaii. Chicago, 1992. Vol. 1.
- Schmitt R.* New Estimates of the Pre-Censal Population of Hawai'i // *Journal of the Polynesian Society*. 1971. Vol. 80. P. 241–242.
- Spriggs M.* Landscape, Land Use and Political Transformation in Southern Melanesia // *Island Societies: Archaeological Approaches to Evolution and Transformation*. Cambridge, 1986. P. 174–189.
- Spriggs M.* «Preceded by Forest»: Changing Interpretations of Landscape Change on Kaho'olawe // *Asian Perspectives*. 1991. Vol. 30. P. 71–116.
- Stannard D.* Before the Horror: The Polynesian Population of Hawai'i on the Eve of Western Contact. Honolulu, 1989.
- Tainter J.* The Social Correlates of Mortuary Patterning at Kaloko, North Kona, Hawaii // *Archaeology and Physical Anthropology in Oceania*. 1973. Vol. 8. P. 1–11.
- Thomas W.L.* The Variety of Physical Environments among Pacific Islands // *Man's Place in the Island Ecosystem*. Honolulu, 1965. P. 7–38.
- Turnbull J.* A Voyage Around the World in the Years 1800–1804. London, 1813.

Valeri V. The Human Sacrifice: Ritual and Society in Ancient Hawaii. Chicago, 1985.

Vancouver G.A. Voyage of Discovery to the North Pacific Ocean and Round the World. London, 1798. Vol.1.

Whitman J.B. Journal 1813-1815. Manuscript, Peabody Museum, Salem.

БЕНИН (I тыс. до н.э. – XIX в. н.э.)^{*}

Д.М. Бондаренко

Цель данной главы – проследить в общих чертах процесс сложения, возможно, наиболее яркого общества доколониальной Тропической Африки, эволюцию его характера и системы социально-политических институтов.

Предки бини пришли в места своего нынешнего расселения в зоне тропических лесов к западу от низовьев р. Нигер из пояса саванн, вероятнее всего, – из области слияния Нигера и Бенуэ. После примерно трех тысячелетий жизни в саванне они начали проникать в леса в III–II тыс. до н.э. и окончательно переселились туда в I тыс. до н.э. [Bondarenko & Roesel 1999]. Есть основания полагать, что протобини были вынуждены покинуть историческую прародину вследствие климатических перемен, происходивших в Северной и Западной Африке начиная с VII тыс. до н.э. Эти изменения привели к сокращению территории саванны как с севера (из-за нараставшей аридизации, ведшей к увеличению площади пустыни Сахары), так и с юга, где разрастался тропический лес [Omokhodion 1986: 3–4]. В итоге саванна оказалась не в состоянии и дальше обеспечивать существование прежнему числу населения, вынудив часть из них мигрировать за ее пределы.

Однако народы этно-лингвистической группы ква, к числу которых относятся бини, не были первопоселенцами в поясе лесов Верхнегвинейского побережья. Человек впервые появился на территории средневекового Бенина не позднее пяти тысяч лет назад, если не еще

* Я признателен своему другу и коллеге Петеру М. Рёзе (Лаутерталь, Германия), совместно с которым мы предприняли несколько попыток реконструировать различные аспекты ранней истории бини. В то же время хотелось бы обратить внимание читателя на то, что все недостатки данной работы целиком и полностью лежат на совести ее автора. Также я рад возможности поблагодарить профессора Хенри Дж.М. Классена (Вассенаар, Нидерланды) за добное отношение ко мне и регулярное представление возможности знакомиться с его новыми публикациями, некоторые из которых упоминаются и цитируются в данной главе.

Наконец, я благодарен сотрудникам Библиотеки африканстики им. М.Дж. Херсковица Североизападного университета (Эванстон, Иллинойс, США) и, прежде всего, – ее куратору, Дэйвиду Л. Истерброку за неоценимую помощь и дружеское расположение.

раньше [Connah 1975: 247–248]. В Бенине народ, населявший страну до прихода бини, называют «эфа». При нынешнем объеме наших знаний очень немногое может быть сказано о нем, и едва ли есть надежда на существенное расширение имеющейся об эфа информации без дополнительных археологических исследований. Тем не менее очевидно, чтоaborигены леса к приходу бини уже были мотыжными земледельцами [Esan 1960: 75; Agiri 1975: 166] – об этом, в частности, свидетельствует устойчивый, постоянный характер их поселений. Предельным же уровнем сложности социально-политической организации эфа был уровень локальной общины [Bondarenko & Roese 1998a].

Можно предположить, что поначалу – с момента прихода и оседания ква в зоне леса – представители двух этнических массивов сосуществовали, проживая чересполосно. Но в конце концов бини (очевидно, немирным путем) возвысились над эфа, превратив этнокультурные различия также в различия социально-политические. В дальнейшем же, частично вследствие смешанных браков, а главным образом, благодаря влиянию престижной культуры элиты, бини ассимилировали эфа. При этом потомки эфа поныне являются обладателями нескольких довольно важных жреческих титулов, в прошлом имевших и политическое значение [см. Eweka 1992: 74; Bondarenko & Roese 1998a: 24–25].

Первые биниязычные обитатели тропических лесов были еще охотниками-собирателями, и им, несомненно, потребовалось время для всесторонней адаптации к новым экологическим условиям; адаптации, приведшей к не только экономическим, но и социокультурным, политическим изменениям. Переход к земледелию произошел в конце I тыс. до н.э. – первой половине I тыс. н.э. [Shaw 1978: 68; Ryder 1985: 371; Connah 1987: 140–141], хотя охота и собирательство играли довольно значительную роль в системе жизнеобеспечения бини еще целое тысячелетие [Morgan 1959: 52; Roese & Rees 1994]. В социально-политической сфере радикальное изменение типа экономической организации ознаменовалось сложением у бини земледельческой общины с присущими ей институтами управления [Bondarenko & Roese 1998b].

Подъем независимых общин представлял собой наиболее раннюю стадию процесса, в итоге приведшего к возникновению Бенинского «королевства». С момента своего сложения большесемейная община, в которой большесемейные связи дополнялись соседскими (такая община в науке именуется «гетерогенная» [Маретин 1975; Ольдерогге 1975; Следзевский 1978: 114–116]), стала базовым, субстратным социально-политическим институтом бини. Таковыми она оставалась и после

образования надобщинных уровней сложности бенинского социума, причем не только в социально-политическом, но и в культурном и экономическом отношениях. В ходе последующей эволюции большесемейно-соседская община послужила моделью, своего рода матрицей, по которой строились надобщинные уровни бытия бини, хотя переход на более высокие уровни социально-политической организации сопровождался не только количественными, но и качественными изменениями во всех подсистемах социума [см.: Бондаренко 1995а: 134, 227–230, 257–264, 276–284].

Фундаментальное значение большесемейно-соседской общины для социокультурной и политической эволюции бини во многом было связано с характером их системы земледелия. Покрытость значительной части территории страны труднопроходимыми тропическими лесами в сочетании с тонкостью плодородного слоя почвы практически исключала внедрение плуга и препятствовала индивидуализации земледельческого производства. Система ручного (мотыжного) земледелия представляется оптимальной и, по сути дела, предельной для бини. Следовательно, и существование у них большесемейно-соседской общины как субстратного социального института оказывается оправданным и необходимым на весьма длительную историческую перспективу [Бондаренко 1995а: 101–117]. В практически неизменном виде большесемейно-соседская община сохраняется в деревнях бини по сей день. И именно ее стабильность позволяет экстраполировать значительную часть этнографических данных по общине на более ранние периоды социально-политической истории народа с достаточно большой степенью уверенности в близости получаемой картины к истинной [Bradbury 1964].

Принцип старшинства, столь характерный в большей или меньшей степени для всех уровней бытия бини времен существования у них независимого «королевства», коренился в общинной системе трех мужских возрастных рангов [подробно см.: Thomas 1910: 11–12; Talbot 1926: III, 545–549; Bradbury 1957: 15, 32, 34, 49–50; 1969; 1973а: 170–175; Igbafe 1979: 13–15; Бондаренко 1995а: 144–149]. Члены каждого возрастного ранга выполняли определенные виды работ. В частности, обязанностью представителей старшего ранга *эдион* («старшие»; ед.ч. – *одион*) было управлять семьями (эгбе) и общинами. В сознании бенинцев кульп предков определял место каждого человека в мироздании и в обществе как важнейшей части мироздания. Именно пожилые люди считались наиболее близкими к предкам, а потому способными

лучше всех играть роль посредников между ними и их ныне живущими потомками.

Члены возрастного ранга *эдион*, включая глав и представителей всех без исключения больших семей [Egharevba 1949: 13–14; Bradbury 1957: 29; 1973a: 156], образовывали общинный совет старейшин. Совет провозглашал старейшего члена общины, главу *эдион* пожизненным главой и совета, и общины. Он получал титул *одионвере* (мн.ч. – *эдионвере*). Таким образом, главы общины вполне могли не быть представителем семьи своего предшественника: изначально в общине бини не существовало единственной привилегированной семьи. (В тех случаях, когда община состояла только из одной большой семьи, главы и представители ее малых семей становились членами семейного и общинного советов одновременно. Главой общины и главой семьи – *одионманом* – также был один и тот же человек. Но такие общины были редкостью, исключением из правил [Egharevba 1949: 11].

Общинный совет собирался по инициативе или *одионвере*, или совета одной из больших семей [Sidahome 1964: 114], будучи продолжением и развитием этого института на более высоком уровне. Он принимал реальное и весьма деятельное участие в управлении общиной, рассматривая совместно с ее главой (и при сохранении за последними права решающего голоса) все вопросы, входившие в компетенцию *одионвере*: поземельные, судебные и др. [Dapper 1671: 492; Egharevba 1949: 11; Bradbury 1957: 33–34; 1973a: 172, 179–180; 1973b: 243; Sidahome 1964: 127; Uwechue 1970: 145].

Возможно, в додинастическую эпоху свою роль в управлении общинным коллективом играло и народное собрание. Сказать что-то более определенное по этому поводу затруднительно, поскольку реминисценции о его вероятном существовании в далеком прошлом сохранились лишь в праве членов совета общины обращаться к широкому кругу общинников за консультациями (последние правом «законодательной инициативы» не обладали), да, может быть, в единичных «глухих» намеках устной традиции [Egharevba 1965: 15]. Видимо, косвенным подтверждением существования у бини в далеком прошлом народного собрания может служить и его наличие еще в первые десятилетия XX в. у многих социально-политически менее развитых этнических групп современной Южной Нигерии, включая некоторые народы, родственные бини [Talbot 1926: III, 565].

Главный смысл самого существования института *эдионвере* в сознании общинников (отраженный в принципе назначения лидера общины) обусловил восприятие ими ритуальной функции как важнейшей среди всех обязанностей *эдионвере*. К тому же направление *одионвере*

культов божеств и предков от имени общинников еще более усиливало его позиции в коллективе. Но в изначальной общине бини ее глава, *одионвере*, не был лишь ритуальным лидером. Как уже отмечалось, он был ответственен за распределение земельного фонда общины, вершил суд, выступал блюстителем общинных традиций и т.д. [Bradbury 1957: 32–33; 1973а: 176–179]. Хотя *эдионвере* общинниками подносились «дары», они имели преимущественно престижно-ритуальную значимость [Talbot: III, 914]. В большинстве случаев не подношения были основой материального благополучия главы старшего возрастного ранга и всей общины, а труд членов его семьи.

Однако в середине I тыс. н.э. [Obayemi 1976: 256] в Биниленде созрели условия для дальнейшей политической централизации и концентрации власти.

Следующим этапом общественной эволюции бини явилось разделение власти в общине на ритуальную, оставшуюся в руках *одионвере*, и профанную. Этот шаг был связан с процессом преодоления общинного уровня организации как предельного – со сложением исторически первой из ставших в дальнейшем основных надсубстратных форм бытия бини. Такой формой социально-политической организации явилось вождество – структура иерархического типа.

Примечательно, что и до этого момента общины могли объединяться [Egharevba 1952: 26; 1965: 12]. Но такой союз общин не представлял собой вождества – «автономной политической единицы, включающей в себя некоторое число деревень или общин, находящихся под постоянным контролем верховного вождя» [Carneiro 1981: 45] (подробнее см., например, [Крадин 1995]), поскольку в него входили по-прежнему независимые и равноправные в политическом отношении общины. В таком союзе не было верховного вождя в том смысле, какой вкладывается в это понятие, когда речь идет о вождестве: его главой становился старейший среди *эдионвере* составлявших объединение общин, не обязательно из поколения в поколение представитель одной и той же общины. То есть, в силу независимости и равенства общин, в подобном объединении не было одной привилегированной, политически доминирующей общиной. Хотя выдающийся *одионвере* мог обрести значительную власть в возглавляемом им союзе общин, он, как правило, не имел возможности обеспечить ее передачу в дальнейшем представителю собственной общины или, тем более, своей семьи.

Во второй половине I тыс. н.э. вождество, иерархическая в основе форма социально-политической организации, быстро пре-

взошло по степени распространённости в Биниленде союз независимых равноправных общин. И роль вождества в дальнейших социополитических и исторических судьбах народа также оказалась несравненно более значительной. В то же время и независимые общины, и союзы независимых равноправных общин продолжали существовать параллельно с вождествами. А в эпоху, наступившую после образования бенинского «королевства», ранее независимые общины обладали автономией, их *эдионвере* в административной иерархии приравнивались к главам автономных же вождеств [Bradbury 1957: 34; Бондаренко 1995а: 164–173, 184–185].

Образование вождеств у бини было связано с возникновением новой системы управления общиной. В то время как в одних общинах по-прежнему не было привилегированной семьи, а единственный правитель, *одионвере*, мог представлять любую родственную группу, в части общин появился особый профанный, в том числе военный лидер (*оногие*; мн.ч. – *энигие*), всегда выдвигавшийся из одной и той же семьи и сосуществовавший с сохранявшим за собой ритуальные функции *одионвере* [Thomas 1910: 12; Egharevba 1956: 6; Bradbury 1957: 33; 1973а: 177–179]. Появление *оногие* сначала усложнило систему общинного управления, а уже затем привело к повышению общей степени сложности социально-политической организации бини. Только вокруг общин нового типа – с «разделением властей» – складывались вождества.

«Разделение властей» в общине и консолидация соседних общин вокруг ее «профанного» главы – вовсе не обязательное условие последующего образования вождества. Напротив, некоторые ученые, склонные в своих теоретических построениях к излишним генерализациям, включая первого теоретика вождества Элмана Сервиса [Service 1975: 16, 307], даже утверждают, что сакральность власти якобы есть одна из общих характеристик этой формы социально-политической организации [см.: Куббель 1988: 153–154; Крадин 1995: 16; Бондаренко и Коротаев 1998а: 884]. И относительно бини есть некоторые указания на то, что изредка наиболее могущественные из *одионвере* могли предпринимать попытки подчинить себе соседние общины с менее сильными лидерами. Ф. Игбафе описывает подобную ситуацию следующим образом: *одионвере* «...обосновывал свои притязания на руководство другими правителями маленьких общин посредством окружения себя ореолом и атрибутами сверхъестественности и прибегал к объяснению своей роли лидера божественностью возложенной на него миссии» [Igbafe 1974: 2]. Также в XX в. в Биниленде этнографически зафиксиро-

ван факт существования небольшого количества общин, в которых власть *одионвере* наследовалась в рамках одной большой семьи, а не передавалась в пределах всего старшего возрастного ранга, хотя эти случаи могут иметь более позднее, нежели додинастические времена, происхождение [Bradbury 1957: 33].

Но все же в конкретных условиях общества бини *эдионвере* в принципе продемонстрировали неспособность обеспечивать своим общинам военные успехи в борьбе с соседями, через которые, вероятно, и пролегал путь к сложению вождеств. Будучи членами старшего возрастного ранга, *эдионвере* не только в силу возраста, но и потому, что участие в боевых действиях предписывалось людям среднего ранга, более не могли проявлять себя в военной сфере. И это притом, что и соответствующие достоинства, и достижения в этой сфере ценились исключительно высоко, тогда как былые заслуги здесь в счет, похоже, не шли. К тому же, *эдионвере* были слишком тесно связаны со своими родными общинами, ассоциировались только с ними и считались лишь их законными правителями как наследники предков именно данных общин. Стремление *эдионвере* к «профанной» власти подавлялось тем, что сакрально-ритуальные функции всегда рассматривались как наиглавнейшие из выполнявшихся ими, ну а в общинах с «разделением властей» являлись абсолютно доминирующими [см. Bondarenko & Roes 1998b: 369–371].

Именно в силу этих обстоятельств вождества у бини формировались исключительно вокруг общин с «разделением властей»: на ритуальную власть *одионвере* и профанину, включая военную, — *оногие*. Хотя, в отличие от *оногие*, *одионвере* существует в каждой деревне бини по сей день, поддерживая связи с предками членов данной обороны и в связи с этим также осуществляя (совместно с другими членами *эдион* деревни) контроль над общинным землепользованием [Ajisafe 1945: 15; Bradbury 1973a: 180], только носитель «профанной» власти мог стать главой вождества [Bradbury 1957: 33; Egharevba 1960: 4]. Община *оногие* занимала вождестве столь же привилегированное положение, сколь и семья *оногие* в этой общине. Культ же предков главы вождества был подобен культам глав семей и общин (а в эпоху монархии — и верховного правителя) [Bradbury 1973b: 232; Eweka 1992: 162].

Определение власти *одионвере* и *оногие* как соответственно ритуальной и «профанной» до некоторой степени условно, поскольку первый мог в том или ином конкретном случае сохранять за собой некоторые «профанные» управленческие функции. Но они ни в коем случае

не оказывались для него важнейшими, сущностными, тогда как *оногие*, сосредоточивался практически исключительно на исполнении «профаных» обязанностей. Не случайно «*в деревнях без энигие собрания деревенского совета происходят либо в доме одионвере, либо в особом доме собраний, огведио, в котором находится святилище общих предков (эдио) жителей деревни*». Но «*в деревнях с наследственным главой собрания проводятся в его доме*» [Bradbury 1957: 34]. Таким образом, иногда сферы компетенции *одионвере* и *оногие* могли пересекаться, и реальное разделение властей в конкретной деревне отчасти зависело от соотношения сил двух ее глав [Bradbury 1957: 33, 65, 73–74]. Но подобная ситуация могла сложиться только на общинном уровне, так как *одионвере* привилегированной деревни (деревни *оногие*) чаще всего не обладал достаточным влиянием за ее пределами – во всем вождестве.

В вождестве также существовал совет, который по своим структуре и функциям был подобен, на более высоком уровне, советам большой семьи и общины. Помимо *оногие* в него входили *эдионвере* и другие члены *эдион* составлявших данное вождество общин [Egharevba 1949: 11; Sidahome 1964: 100, 158, 164]. Таким образом, ведущую роль в управлении вождествами, как и деревнями-общинами, в конечном счете играли члены старшего возрастного ранга [Bradbury 1957: 16].

Образование вождеств явилось существенным шагом на пути этнической консолидации, политической централизации, концентрации власти и иерархизации общества у бини. С их появлением уменьшилось количество прежде почти неизменно тождественных локальным общинам независимых бинийских социумов, в то время как площадь и население последних увеличились. Но почему и как в Биниленде появились вождества? Кем были их правители – *энигие*? И какова связь между становлением у бини вождеств и протогородских центров?

Сама возможность повышения уровня социополитической интеграции путем объединения соседних общин в вождества создавалась развитием земледелия, ростом его производительности на основе новых технологий. Их появление благодаря внедрению в середине I тыс. н.э. железа, пусть и не автоматически [Shaw 1984: 155], но, безусловно, вполне реально и очевидно привело к повышению в этот период численности и плотности населения [Connah 1975: 242; 1987: 141–145; Obayemi 1976: 257–258; Oliver & Fagan 1975: 65; Atmore & Stacey 1979: 39; Darling 1981: 107, 111, 114–118; 1984: II, 302; Isichei 1983: 266; Shaw 1984: 155–157]. Последнее обстоятельство вызвало яростную борьбу за

обладание естественными ресурсами, прежде всего землей [Bondarenko 1999: 23–24].

Однако подобная экономическая база сама по себе вовсе не гарантирует движения социально-политической системы общества в направлении, на котором образуются иерархически организованные социумы, в частности, вождества [Березкин 1995а; 1995б; Коротаев 1995а; 1995б; Бондаренко 1997б: 11–15; 1998; Bondarenko 1998b; Бондаренко и Коротаев 1998б; 1999; Bondarenko & Korotayev 2000]. Однако в конкретном, бенинском, случае для этого существовали и социально-экономические, и историко-политические предпосылки. Как отмечалось выше, особенности природной среды обусловливали такой тип экономики бини, для которого нормой являлись регулярная расчистка под посевы новых земель и расширение территорий, непосредственно воздействованных в земледельческом производстве, при одновременном увеличении пустоши. В результате «*еще до первых контактов с Европой западноафриканские земледельцы вырубили обширные лесные территории и заняли их под посевы и залежь*» [Morgan 1959: 48]. Логично, что развитие данного типа аграрного производства не только консервировало большесемейно-соседскую общину, но, даже несмотря на отсутствие острого земельного голода, также вело к учащению конфликтов между соседними общинами за землю.

Социополитическая ситуация – существование чересполосно с первопоселенцами эфа, имевшими естественные претензии на превосходство над пришельцами – также являлась очевидной предпосылкой немирного пути объединения в форме вождеств соседствовавших общин бини. Использование железа сыграло исключительно важную роль в эскалации военной активности в регионе; роль, не менее важную, чем в демографической сфере [Bondarenko 1999: 25–26].

Существуют, однако, свидетельства, заставляющие предположить, что процесс объединения общин бини протекал мирно [Igbafe 1974: 2–3; Obaumi 1976: 242; Connah 1987: 136; Eweka 1989: 11], что они вступали в союзы ради более эффективного военного противостояния другим группам общин, какой-либо отдельной общине или вторжению неких интервентов. Очевидно, что эфа были вполне в состоянии явиться для них подобным «раздражителем». Там, где соседствовали несколько общин бини, они могли объединяться; общины же, оказавшиеся более или менее изолированными от других групп бини вследствие соседства с эфа, были вынуждены оставаться вне вождеской организации.

Однако объединение сохранявших собственную независимость общин для совместной борьбы с общими недругами еще не представляло собой вождества, поскольку в нем отсутствовала иерархия общин, воплощаемая в фигуре наследственного вождя всего данного социально-политического образования. Как следует из сказанного выше, часть союзов общин бини так и не трансформировалась в вождества. В других же случаях наследственный лидер – *оногие* появлялся у группы общин «естественному путем», спонтанно в ходе борьбы с ее врагами, подтвердив свои претензии на верховное руководство всем образованием исключительной личной храбростью, силой, хитроумием, искусством в бою, талантом поднимать людей на подвиги.

Так как «по законам военного времени» наиболее ценимые добродетели связаны с войной, именно такой герой становился самой популярной фигурой в данной группе общин. Сначала все общины союза признавали его своим военным вождем – «главнокомандующим», и лишь затем он начинал также контролировать отношения внутри группы общин. Теперь *оногие* разрешал межобщинные споры, созывал совет вождества, председательствовал на его собраниях и т.д. [Bradbury 1957: 34]. В конце концов он превращал свой титул в наследственный, а свою общину – в общину с «разделением властей», привилегированную (подобно тому, как большая семья *оногие* оказывалась в политически исключительном положении в родной общине). Это и был момент возникновения иерархии общин – сложения вождества.

Таким образом, можно прийти к заключению, что вождества появились у бини в результате мирного объединения общин в ходе завершившейся победоносно борьбы с эфа за землю, приведшей, в частности, и к ассимиляции последних [Bondarenko 1999: 27]. Впрочем, позже или даже в то же самое время вождества бини также вполне могли противостоять и друг другу [Darling 1988: 129].

В начале II тыс. у бини насчитывалось не менее 130 вождеств [Obayemi 1976: 242], тяготевших к тому или иному протогородскому центру. Обнаруживаемые по всему Биниленду окольцовывавшие их земляные валы, именуемые, как и не разрушавшиеся, но продолжавшие существовать валы общинные, *ийя*, – свидетельства существования вождеств в ту эпоху [Connah 1975: 237–242; Obayemi 1976: 242; Isichei 1983: 135–136, 265–266; Darling 1984: I, 119–124, 130–142; 1988: 127]. На современном этапе изучения прошлого бини вождества Идогбо (Ийеваре) и Окхунмвун (Ийек' Узелу), тщательно исследованные Дарлин-

гом [Darling 1984: I, 119–124, 130–142], можно рассматривать как классические модели или же примеры данного типа социума у этого народа.

Первый случай описывается ученым как показательный для фазы «*подъема небольших вождеств*». Идогбо состояло из шести деревень на площади в 6 кв. км, огороженных *ийя*, внутри которого сохранялись валы и рвы вокруг отдельных общин. Дарлинг обращает особое внимание на то, что их наличие способствовало умиротворению и объединению соседних общин в вождество в борьбе за землю. В то же время *ийя* были чрезвычайно полезны и в случае необходимости держать оборону вождества от внешних врагов [см. также Darling 1984: II, 303–307]. Все поселения внутри внешнего *ийя* безусловно признавали верховенство деревни Идогбо. Исторические традиции и самого Идогбо, и всех других общин вождества единодушно утверждают, что центральная деревня возникла внутри первоначального рва в додинастический период и называлась тогда «Эдогбо», что означает «сосед».

Дальнейшая эволюция вождества Идогбо в додинастические времена была, очевидно, связана с нарастанием давления населения на территорию, огороженную *ийя*, поскольку, по всей вероятности, большинство кварталов деревни, чьи жителиозвели первоначальные вал и ров, позднее отделились от нее и стали ядрами новых поселений, вокруг которых, соответственно, возводились новые земляные ограждения. В итоге это вождество заняло территорию по меньшей мере в 2400 га.

Другое вождество, Окхунмвун рассматривается Дарлингом как «*могущественное небольшое вождество*». Семь деревень с общим населением 1120–1750 человек составляли его на площади примерно 17 кв. км. 1500 человек же, по Дарлингу, – как раз и есть приблизительная численность населения социально-политического организма, достаточная для того, чтобы был возведен *ийя*. То есть в большинстве случаев примерно полутора тысяч человек оказывалось достаточно для завершения конституирования группы общин как вождества. В частности, Окхунмвун возник в результате увеличения численности населения на данной территории, стимулированного приходом мигрантов, с одной стороны, и естественным приростом – с другой.

Теперь становится легко объяснить также почему *энгие* приходили к власти, как правило, будучи младше *эдионвере*, и вообще, почему совершалось «разделение властей» в общинах, вокруг которых складывались вождества. Старейшины (*эдионвере*) были не в состоянии демонстрировать храбрость и силу на поле боя. Более того, участие в сражениях вообще не предписывалось членам *эдион*; это была привиле-

гия среднего возрастного ранга – *ихеле*. Естественно, что военный лидер, будущий глава вождества выделялся именно из последнего. И именно поэтому, «когда умирает оногие, ему автоматически наследует старший сын» [Sidahome 1964: 49; также см.: Bradbury 1957: 33], обычно, на тот момент – как раз член *ихеле*. Не случайно и место собраний *ихеле* доминирующей деревни являлось центром общественной жизни всего вождества [Obayemi 1976: 243]. Так наносились удары по геронтократическому принципу как универсально применяемому в системе управления бини.

В непосредственной связи с подъемом вождеств у бини находился и процесс урбогенеза. Не случайно его начало практически совпало со временем бурного роста вождеств. В принципе, вождествами изначально и являлись ранние протогородские центры бини [Jungwirth 1968a: 140, 166; Ryder 1969: 3; Onokerhoraye 1975: 296–298; Darling 1988: 127–129; Бондаренко 1995а: 190–192; 1995б: 145–147; Bondarenko 1999]. Главы протогородских общин входили в совет протогорода как вождества. В частности, представляется правдоподобным, что в городе Бенине ими были вожди, чьи потомки при правителях династии *оба* вошли в первую категорию титулованных (общебенинских) вождей, именовавшуюся с тех пор *узама н'ихинрон* [Ikime 1980: 110; Isichei 1983: 136; Бондаренко 1995а: 191–192; 1995б: 146; Bondarenko 1999: 31; Bondarenko & Roese 1998а: 26]. Таким образом, подъем вождеств стал и предпосылкой, и одной из составляющих процесса градообразования на территории современной Нигерии, в том числе в Биниленде, будучи порождением отчасти одних и тех же факторов и условий, в частности, демографического роста и объединения земледельческих общин.

При поверхностном ознакомлении с историей бини нетрудно оказаться дезориентированным той выдающейся ролью, которую сыграл в ней город Бенин. Можно подумать, что общество бини строилось вокруг города Бенина с момента его зарождения. В действительности же процесс роста и объединения общин протекал в разных частях Биниленда, практически одновременно, и к рубежу I и II тыс. н.э. там возникло не меньше десятка протогородских поселений [Darling 1988: 127; также см.: Onokerhoraye 1975: 297]. Они боролись друг с другом за роль единственной «точки притяжения» для подавляющего большинства, если не для всех, бини, «фокуса» всей их культуры, политического и, в связи с этим, также ритуально-культового центра. Не менее же 130 вождеств и неподдающееся подсчету количество независимых общин бини тяготели к разным протогородам. Далеко не сразу, но, в конце концов,

победу одержал Бенин [Talbot 1926: I, 153, 156–157; Egharevba 1949: 90; 1960: 11–12, 85; Ryder 1969: 3; Onokerhoraye 1975: 97; Бондаренко 1995а: 93–96; 1995б: 145–146; 1995г: 216–217]. Став центральной точкой в картине мира бини благодаря обретению исключительного политического статуса и соответствующих функций, город Бенин с течением времени разросся и превратился в один из важнейших городских центров Верхней Гвинеи и всей доколониальной Тропической Африки. Остальные протогорода бини тем временем опустились на уровень больших деревень – в пределах *ийя* породивших их вождеств [Darling 1988: 133].

Такая судьба в итоге поджидала и Удо – самого упорного противника Бенина [Talbot 1926: I, 160; Macrae Simpson 1936: 10; Egharevba 1964: 9], и это притом, что некоторые версии устной исторической традиции подталкивают к предположению, что, возможно, именно здесь стоит искать ключ к загадке *огисо* («небесных правителей») – суверенов загадочной так называемой «Первой династии» X – середины XII вв. Их властование пришлось на период подлинного расцвета вождеств и способствовало еще большему усложнению социально-политической организации бини. *Огисо* была предпринята первая попытка установления не только надобщинной, но также и надвождеской власти в стране, точнее, в той ее части, которая тяготела к городу Бенину, возникшему еще до утверждения «Первой династии» [Roese 1990: 8; Aisien 1995: 58, 65].

В начале периода *огисо* страна называлась *Игодомигодо* («Город Городов», или «Земля Игodo») [Egharevba 1965: 18]. Принято считать, что всего на бенинском троне побывал тридцать один *огисо*, но, по всей вероятности, это число, повторяемое из раза в раз местными авторами – фиксаторами и интерпретаторами устной исторической традиции своего народа, условно, не более того. Даже различные версии устной традиции в общей сложности сообщают несколько «лишних» имен *огисо*. С другой стороны, едва ли все приводимые в них имена подлинные [ср. Egharevba 1960: 3; Eweka 1989: 12; 1992: 4; Akenzua 1994: 7].

Историческая память бини сохранила совсем немного свидетельств о приходе к власти и правлении первого *огисо*, Игodo. Не исключено, что он и вовсе фигура мифологическая, а не историческая. Записи устной традиции, сделанные политически ангажированными местными историками-энтузиастами, сообщают лишь, что жил он долго, имел многочисленное потомство и был бини, хотя его резиденция находилась не в городе Бенине, а в нескольких километрах к востоку от

него, в поселении Угбекун. Там первый *огисо* якобы и умер [Egharevba 1965: 13; Ebohon 1972: 80–83; Omorégie 1992–1994: III]. И в наши дни Угбекун является резиденцией *охенсо* (иначе – *охен исо*), жреца святилища *огисо*, которое именуется *аро-исо* – «небесный алтарь» [см.: Jungwirth 1968b: 68; Ebohon 1972: 80–81; Roese 1993: 455]. Можно предположить, что именно благодаря важности в контексте истории «Первой династии» [см. Бондаренко 2000: 103–108] это поселение на всем последующем протяжении бенинской истории выступает как крупный культовый центр: Эбохон описывает еще восемь (помимо *аро-исо*) находившихся в Угбекуне «священных мест», святилищ и т.д. и т.п., некоторые из которых сохраняют свое значение для бини по сей день [см. Ebohon 1972: 82–83].

Дарлинг пишет о тенденциозности бенинской устной традиции: «... территориальные притязания и политическое могущество Бенина переносились в более древние времена, чтобы можно было легитимизировать позднейшие завоевания, теперь именовавшиеся “мятежами” на землях королевства. ... Удо, независимое враждебное королевство вплоть до его завоевания Бенином в начале XVI в., предстает как мятецкое со времен... огисо...» [Darling 1988: 131]. В связи с этим следует полагать, что приход к власти первого *огисо* и учреждение самого института верховного правителя происходили далеко не мирно. На самом деле Игода не был провозглашен *огисо* по инициативе самих бини, как хотели бы представить дело близкие ко двору местные историки Эгхаревба и Эвека [Egharevba 1960: 1; Eweka 1989: 11]. Скорее, следует говорить о том, что Игода сам «стал» первым верховным правителем страны.

Совершенно иную традиционную версию основания «Первой династии» записали безразличные к местным «политическим играм» европейцы – Макрэй Симпсон, Тэлбот, Пэйдж и Юнгвирт [Macrae Simpson 1936: 10; Talbot 1926: I, 153; Page 1944: 166; Jungwirth 1968b: 68]. В соответствии с ней, первый *огисо* был воином, по происхождению – йоруба. Эта версия устной традиции утверждает, что йоруба «...совершили набеги на Бенин с северо-запада ... и постепенно про никли в Бенин, где в конце концов утвердили свое полное господство. Первый набег возглавлялся Огодо... Ему не удалось продвинуться далеко, но его сын Огисо сумел добиться большего успеха» [Macrae Simpson 1936: 10].

Практически ту же версию исторической традиции изложил и Тэлбот. Первого предводителя йорубских набегов он именовал Игуду.

На смену ему явился Эрхе, один из сыновей верховного правителя (*они*) йорубского города Ифе, вместе с которым пришла группа его приспешников. Им удалось утвердиться в Биниленде, однако сын и наследник Эрхе по имени Огисо, его сын почел за благо отправиться восвояси – в Ифе [Talbot 1926: I, 153].

Эрхе (в более распространенной транскрипции – Эре), также йоруба, сын или внук и наследник Игода, – первый бесспорно реальный персонаж на бенинской исторической сцене. Он также был наиболее выдающимся правителем из «династии» *огисо*.

Эре изменил название города с Игодомигодо на Иле («Дом»). Имя это сохранялось вплоть до утверждения Второй династии [Egharevba 1952: 16; 1956: 3; 1964: 8]. С правлением Эре связано начало становления в Биниленде системы надвождеских политических институтов (в частности, учреждение четырех из пяти титулов вождей *эдионэвбо*, во времена Второй династии вошедших в узама *н'ихинрон*: *олиха*, *эдохен*, *эро* и *эхоло н'ире*) и укрепление власти верховного правителя. Не случайно уже в наше время, в 1979 г., в завершение серии обрядов коронации нынешнего *оба* «на запруженной гостями площади рядом с дворцом новый король объявил имя, под которым его будут знать: Эредиауа: “Эре... пришел, чтобы установить должный порядок вещей”» [Nevadomsky 1993: 73].

Устная традиция безапелляционно приписывает Эре многочисленные нововведения и среди них – первые символы верховной (надвождеской) власти и атрибуты культа предков (выражаясь современным языком – официальной идеологии). Среди них были: непарадная («посредневенная») корона (*эдэ*), перламутровые бусы и браслеты (*эдигба* и *эгуэн*), круглое кожаное опахало (*эзузу*), круглый трон (*экете*), прямоугольная скамеечка, также игравшая роль трона (*агба*), мечи – символ власти *ада* и церемониальный *эбен*, круглая коробочка из кожи (*экопкин*), деревянные головы предков (*ухунмвун-элао*), устанавливавшиеся на их алтарях, большой барабан правителя, в прошлом называвшийся, как и скамеечка, *агба*, а ныне – *окха*, и другие предметы, ассоциируемые с верховной земной властью (сперва *огисо*, а затем *оба*) и с могуществом предков [Egharevba 1956: 39; 1960: 1; 1969: Preface; также см. Aisien 1995: 65].

Властвование Эре – важнейший эпизод, кульминация всей истории бини эпохи «Первой династии» в том смысле, что произошедшие при этом *огисо* события, приписываемые ему инновации в различных сферах жизнедеятельности бини определили самый облик Бенина – го-

рода и всего общества, его экономический и политический строй вплоть до самого падения «династии» «небесных правителей». Как восторженно писал Эгхаревба, «Эре был величайшим из всех огисо, поскольку он сыграл выдающуюся роль в обеспечении процветания и в сплочении бенинского королевства первого периода» его истории [Egharevba 1965: 14]. Едва ли могут быть сомнения в том, что многие инновации (включая введение некоторых символов верховной власти из числа выше перечисленных [Ben-Amos 1980: 14, Fig. 10]) лишь приписываются Эре, будучи порождениями иных, чаще всего более поздних эпох. Однако в подавляющем большинстве случаев у исследователя нет возможности определить время их вхождения в культуру бини иначе, как приняв датировку устной традиции.

Также ученые не в состоянии ответить на вопрос, почему Эре покинул Угбекун и избрал своей резиденцией именно Бенин, в то время – лишь один из многих протогородских центров бини. Но что можно и должно утверждать с полной определенностью, так это то, что именно данный поступок Эре стал поворотным пунктом в истории города Бенина и вообще всех бини. Именно Эре предпринял чрезвычайно важные шаги на пути превращения Бенина из протогородского поселения в настоящий город. Его деяния также способствовали дальнейшему экономическому росту города Бенина и повышению его влияния в регионе, его конкурентоспособности в борьбе с другими вождествами и протогородами.

Первые объединения ремесленников, на всем протяжении доколониальной эпохи совпадавшие с базовыми социальными единицами – общинами [см.: Бондаренко 1991б; 1995а: 117–124], также, по утверждению устной традиции, возникли в городе Бенине при Эре. Некоторые объединения ремесленников стали привилегированными: их лидеры – главы соответствующих общин позднее были инкорпорированы в надвождескую (всебенинскую) систему институтов управления. Среди древнейших в устной традиции упоминаются объединения плотников (*овинна* или *онвина*), резчиков по дереву и слоновой кости (*игбесанман*), кожевенников (*эсохуан*), ткачей (*овиннанидо* или *онвина н'идо*), гончаров (*эмакхе*), кузнецов (*улеме*) и бронзолитейщиков (*игун-эронмвон*) [Egharevba 1956: 39; 1960: 1; 1965: 13–14; Eweka 1989: 11].

Конечно же, и в данном случае нет гарантии, что устная традиция сообщает чистую правду [ср.: Ryder 1969: 53; 1985: 385; Connah 1975: 245 и Dark 1973: 6–8; Бондаренко 1991б: 114–115, прим. 22; 1995а: 291, прим. 10]. Но бесспорно, что ремесла, перечисляемые Эгхаревбой,

ревба и Эвека, имеют у бини весьма глубокую историю и относятся к числу древнейших, наиболее развитых и важных для власти в общем контексте культуры бини, включая культуру политическую. С учетом общей направленности приписываемых Эре преобразований, все вышесказанное позволяет прийти к заключению, что в сообщениях устной традиции о создании при втором *огисо* первых придворных родственных объединений ремесленников нет ничего нереального.

Эре начал строительство в городе Бенине дворца *огисо*. По сообщению Эгхаревба, дворец имел прямоугольную форму с длиной сторон 0,5 и 0,25 мили (примерно 800 на 400 м, и эти цифры кажутся завышенными; возможно, такими могли быть размеры не самого здания дворца, а дворцового комплекса, включавшего также подворье) [Egharevba 1952: 17; 1960: 4]. Дворец состоял из «... множества ворот, палат, залов для заседаний и большого гарема, разделенного на части» [Egharevba 1960: 4]. Перед дворцом Эре открыл первый крупный рынок – «рынок *огисо*» (Egharevba 1956: 2; Ebohon 1972: 60). Возможно, именно при Эре началось строительство системы бенинских городских стен и рвов, что может рассматриваться как свидетельство усиления в годы его правления процесса социально-политической интеграции общин города. Устная традиция даже называет имя легендарного архитектора, возводившего земляные валы по повелению Эре, – Эринмвин [Egharevba 1965: 14].

Устной исторической традицией Эре приписывается также переименование не только будущего города Бенина, но и еще целого ряда поселений. Он же считается бини основателем немалого числа существующих и поныне населенных пунктов, главным образом, что примечательно, расположенных в направлении Иле-Ифе – к северу (например, Идуумвовина) и северо-западу от Бенина (в частности, Эгор) [Egharevba 1965: 12]. Три младших брата Эре получили титулы вассальных глав поселений: Игхиле, единственный из них, чье имя сохранила устная традиция, стал *овие* Угхеле, еще один – *огие оборо* (*огиобо*) Уборо-Уко (иначе, Убуруку), а третий – *оногие* (*онодже*) Эвбоикхинмвина [Egharevba 1956: 2; 1965: 13]. В середине XX столетия более сотни *энигие* вели род от сыновей различных *огисо* [Egharevba 1960: 4; 1965: 12]. Сведения о переименовании поселений и основании новых населенных пунктов Эре могут быть интерпретированы как свидетельства расширения территориальных пределов страны в его время путем подчинения ранее независимых или основания изначально зависимых общин.

Если верить Эгхаревба, наследника Эре звали Орире и он был прямым потомком своего великого предшественника [Egharevba 1965: 14]. С одной стороны, Орире сумел сохранить богатое наследие Эре – страна продолжала развиваться по восходящей, в том числе в экономическом отношении. Но, с другой стороны, в силу неизвестных ныне причин, Орире не передал власть своему наследнику, и, таким образом, линия Игода на нем оборвалась. Следующие примерно двадцать *огисо* были представителями разных вождеств бини. (Именно поэтому понятие «династия» приложимо к правителям *огисо* лишь условно и в данной работе берется в кавычки). Естественно, уровень политической стабильности в стране заметно понизился [Igbafe 1974: 6]. Не следует также игнорировать уже упоминавшееся сообщение Тэлбота о том, что наследником Эре стал его сын, чье личное имя было Огисо и который, не добившись больших успехов как правитель Бенина, предпочел вернуться в родное Ифе. В дальнейшем в данной работе будет представлен анализ и рассмотрено значение обеих версий в их взаимосвязи.

Правление последнего *огисо*, Оводо, устной традицией рисуется исключительно черной краской. Утверждается, что он испортил отношения с вождями, стремясь править авторитарно (в том числе единолично распоряжаясь казнью), и это ставится ему в вину. В конце концов он был свергнут с престола и удалился в расположеннное неподалеку от города Бенина поселение Ихимвинрин, где вскоре умер [Egharevba 1960: 3–4; Eweka 1989: 14; Akenzua 1994: I, 20].

Первая попытка установления надвождеской власти привела, в числе прочего, к появлению ряда всебенинских титулов, некоторые из которых были в дальнейшем инкорпорированы в систему политических институтов Бенина династии *оба* [см.: Eweka 1992; Roese 1993]. Но во времена *огисо* носители всебенинских титулов не образовывали цельного аппарата управления страной. Изначально большинство таких титулов, например, вышеупомянутых будущих членов *узама н'ихинрон*, принадлежало *эдионвере* общин и *энигие* вождеств, признававших верховенство *огисо*. В этом факте, безусловно, отразилась общая слабость надобщинной власти и ее институтов при режиме «Первой династии».

Носители всебенинских титулов воспринимали *огисо* – верховных правителей «*почти как primus inter pares*» [Eweka 1992: 7]. Ситуация с носителями титулов также свидетельствует, что, строго говоря, в ту эпоху, если рассматривать ее в целом, в стране вообще не было постоянного, стабильного «центра» (в значении «центр силы») как такового. В различные моменты истории роль «центра» играли разные «части

целого»: вождества сменяли друг друга на вершине политической иерархии. Особое положение занимали *эсагхо* (своего рода «премьер-министр» страны и главнокомандующий [Egharevba 1960: 4; Roese 1988: 68; 1993: 436]) и группа «выборщиков правителя» – *эдионэвбо* [Egharevba 1960: 4; 1965: 18; Eweka 1989: IV]). Историки-бини отмечают, что из числа последних при Второй династии выдвинулось большинство членов *узама н'ихинрон* – также «выборщиков правителя», но уже не *огисо*, а *оба* [Egharevba 1960: 4; Eweka 1992: 9, 27, 35].

В дальнейшем пора *огисо* – «правителей, сошедших с небес» воспринималась бини как время обуздания социального хаоса, как период социального творения мира [Бондаренко 1995а: 46–47, 204–205]. Но и с «объективной», социоантропологической точки зрения века правления *огисо* действительно явились начальным этапом непосредственно на пути сложения общества, которое столетия спустя европейцы называли «Великим Бенином». Ведь именно во времена «Первой династии» шел процесс его формирования как единого социально-политического образования, хотя, конечно же, Райдер был совершенно прав, утверждая, что границы Бенина никогда не охватывали всех эдо, с одной стороны, но и не включали в себя только эдо – с другой [Ryder 1969: 2]. Эпоха *огисо* ознаменовалась не только расцветом вождества бини, исторически первой надобщинной (то есть сложной) формы их социально-политической организации, но одновременно – и первой попыткой установления также надвождеской власти и ее институтов, в том числе – верховного (надвождеского) правителя.

Это стало возможно потому, что первые правители из «династии» *огисо* были чужеземцами, пришедшими из Ифе, которые принесли с собой в Биниленд сам институт верховного правителя, к тому времени уже утвердившийся на их родине. Однако уровень вождества в реальности был пределом сложности социально-политической организации бини на момент основания «Первой династии»; в то время они не были готовы адекватно воспринять политические инновации, принесенные из Ифе и, по сути дела, навязанные им.

Институт верховного правителя и его власть изначально попросту «наложились» на многочисленные прежде независимые общины и вождества бини. Между институтами верховной власти (*огисо*), с одной стороны, и институтами власти общин и вождеств бини, с другой стороны, в тот период отсутствовала не только генетическая, но и органическая связь; социальные структуры и политические учреждения бини были хорошо разработаны и адаптированы к условиям существования

именно на общинном и вождеском уровнях социокультурной сложности. Но поскольку надвождеский уровень так или иначе образовался, начавшие функционировать на нем институты должны были быть «наполнены» конкретными людьми, носителями титулов и власти. В том числе и в первую очередь, этот императив касался института верховного правителя, который «заполнили» сменявшие друг друга на престоле *огисо*.

Бенин периода *огисо* может быть охарактеризован как сложное (составное) вождество, как группа вождеств, находившихся под верховенством сильнейшего из них на данный исторический момент, с «примесью» автономных общин, подчинявшихся непосредственно *огисо*. И двойственность исходной ситуации решающим образом определила дальнейший ход событий. Как уже подчеркивалось, «Первая династия» – понятие весьма условное, это не вполне верное общее наименование правителей *огисо*. В действительности, они не образовывали единой линии властителей, что подразумевает точное значение слова «династия». Один из первых же *огисо* стал последним в их йорубской, ифской линии. Он вернулся в Ифе, но к тому времени сам институт верховного, надвождеского правителя уже достаточноочно прочно утвердился в Бенине, несмотря на его иноземное происхождение и адекватность такому уровню социально-политического развития общества, какого бини на тот момент еще не достигли. То, что к концу существования ифской линии *огисо* институт надвождеского верховного правителя успел стать важной частью политической организации и культуры бини, отразилось в определенной версии устной исторической традиции, согласно которой личным именем как раз последнего правителя из Ифе было «Огисо» (см. выше).

Следующие примерно двадцать *огисо*, как уже отмечалось, были представителями разных вождеств бини и не доводились друг другу родственниками. Но они, как и все последующие правители «Первой династии», были бини. После того, как историческую сцену покинула ифская линия *огисо*, долгое время властителем становился глава сильнейшего на момент перехода власти бинийского вождества из числа тех, что тяготели к городу Бенину. Однако никому из этих примерно двух десятков правителей не удалось основать собственную линию *огисо*, утвердить родное вождество в качестве сильнейшего на продолжительный период, вне прямой связи со своими личными способностями. Это означает, что в то время общество еще не было подготовлено к воспри-

ятию стабильной, эффективной надвождеской власти, хотя и «не имело ничего против» самого института верховного правителя.

Именно в период правления «Первой династии» и, вне всякого сомнения, в связи с превращением при ней в политический (а также идеолого-религиозный, экономический и торговый) центр достаточно крупного надвождеского образования, Бенин как протогородское поселение вышел на качественно новый уровень развитости. Эдлонэвбо же продолжали управлять городом Бенином как своим вождеством, тогда как со временем *огисо* Эре это было уже не обычное вождество, но, независимо от степени его непосредственно политического могущества, уникальный символ надвождеского единства для всех, кто был включен в орбиту власти *огисо*. Город Бенин стал безусловным политическим центром – столицей страны.

На последние приблизительно восемь правлений подлинно династический порядок передачи власти *огисо* был восстановлен. Очевидно, что, несмотря на все серьезные экономические и политические проблемы, с которыми столкнулись последние *огисо*, восстановление династического принципа наследования престола все же может рассматриваться как свидетельство нарастания – в противоборстве с центробежными – консолидационных процессов в обществе бини на надвождеском уровне.

Главным образом именно во время пребывания у власти этой династии окончательно и необратимо вызрели предпосылки и сложились условия для стабильного существования в Бенине институтов надвождеской власти. Бесповоротное внедрение в политическую жизнь и культуру бини институтов верховной (не только надобщинной, но и надвождеской) власти наступило в результате сначала количественных, и только затем – качественных изменений в проявлениях тех же самых факторов, которые и прежде приводили к усложнению социально-политической организации бини. Таким образом, с антропологической точки зрения, процесс утверждения институтов верховной власти имел не революционный, но эволюционный характер [см. Igbafe 1974: 7]. «... в Бенине не было резкой трансформации политической структуры, которая бы совпадала с приходом династии *оба*» [Oliver 1967: 31].

Итак, к концу эпохи «Первой династии» продление ситуации, при которой простые вождества (и автономные общинны) терпели надвождескую власть, чья неэффективность уже обнаружилась со всей очевидностью, стало невозможным. Однако *огисо* в конечном счете проявили неспособность установить действенную центральную – надвож-

дескую и надобщинную власть, притом, что именно в этом заключается наиглавнейшее условие длительного существования любого сложного вождества [Васильев 1983: 36–37]. Общество вступило в период кризиса политической системы, в итоге приведшего к крушению «династии» *огисо*.

Первой попыткой преодоления кризиса и выработки новой социально-политической модели невождеского общества явился шаг назад – упразднение монархии. Устная историческая традиция сообщает, что «Оводо был свергнут за злоупотребления рассерженными людьми, которые затем назначили Эвиана главой правительства страны ввиду его прежних заслуг перед народом» [Egharevba 1960: 6]. Последний был хорошо известен как одна из важнейших фигур времен Оводо. Он был «... признан достойным гражданином, потому что он вообще был хорошим, добрым, готовым помогать людям, милосердным, располагающим к себе и щедрым ... Как патриот, Эвиан всегда был готов противостоять любой опасности Бенину только для того, чтобы страна могла и дальше пребывать в мире, без страха и ущерба» [Egharevba 1970: 2]. Но к тому времени уже было немыслимо править Бенином ни как вождеством, ни, тем более, как простой общиной. «Республика», как называет форму правления в Бенине периода междуцарствия Эгхаревба, отнюдь не являлась неиерархической, демократической альтернативой сложному вождеству времен *огисо*. Она была порождением взрыва политического традиционализма в городе Бенине, в сочетании с вождеской реакцией в стране в целом, которая не имела шансов на продолжительный успех, хотя простым общинникам и удалось предотвратить учреждение Эвианом новой династии [Egharevba 1960: 6; 1970: 5–6; Eweka 1989: 15]. Уже при втором «республиканском» правителе, Огиамвене, перспектива распада страны на отдельные вождества и общины обрисовалась со всей очевидностью [Ebohon 1972: 3].

Вскоре, однако, по инициативе лидеров городского бенинского вождества, прежде всего *олиха*, был сделан новый шаг, на сей раз вперед. Шаг этот был решительным и исключительно важным для всей последующей истории Бенина, так как он привел не только к реставрации монархии, но и к утверждению здравствующей и поныне Второй династии верховных правителей – *оба*. То, что вожди *эдионэвбо* инициировали реставрацию института верховной всебенинской власти, вполне естественно. Несомненно, они предполагали под прикрытием новой, ими же возведенной на трон династии в значительной степени контролировать ход дел не только в столице, но и во всем Бенине. И это

удавалось им в течение примерно полувека, вплоть до военной победы над ними («государственного переворота» [Ryder 1969: 5]) четвертого *оба*, Эведо, после которой объем реальной власти бывших *эдионаэвбо*, а ныне *узама н'ихинрон* начал постепенно, но неуклонно уменьшаться.

Будучи заинтересованы в целостности бывших владений *огисо*, но под своей, а не лидеров какого-либо иного вождества бини, властью, *эдионаэвбо* пригласили из Ифе принца Оранмияна, чтобы он, взойдя на бенинский престол, «утвердил мир и согласие» в стране. Хотя со временем Оранмиян и предпочел вернуться в родной город, он все же основал в Бенине новую династию: его сын от знатной женщины-бини был коронован титулом *оба* под именем Эвека I около 1200 г. н.э. (в соответствии с записями устной традиции, сделанными местными историками [Egharevba 1960: 8, 75; Ebohon 1972: 3; Eweka 1989: 15–16, 18]). Но в представлении бини новая династия была продолжением линии *огисо*; ведь не случайно именно принц Ифе был приглашен *эдионаэвбо* на правление в Бенин. Будучи соотечественником первых *огисо*, Оранмиян должен был олицетворять реставрацию «дореспубликанского» строя. Власть Оранмияна и его потомков стала восприниматься как законное «продолжение» власти правителей «Первой династии», также ифско-йорубской по происхождению, но быстро ставшей бенино-бинийской. Благодаря этому в сердцах и умах людей должно было притупляться ощущение серьезности происходивших перемен. Однако в действительности эволюция системы социально-политических институтов в эпоху династии *оба* привела к существенной трансформации бенинского общества, к изменению самого типа социума.

Сам факт образования подлинной династии последними *огисо* свидетельствовал об определенном ослаблении на тот момент позиций бенинского городского вождества, чего его лидеры совершенно не собирались терпеть. Чужеземец же во дворце *огисо*, бесспорно, казался *эдионаэвбо* гораздо меньшей потенциальной угрозой их власти, нежели представитель какого-либо устойчивого местного дома верховных правителей, виделся им едва ли не идеальной фигурой для реставрации монархии.

Междинастический период второй половины XII в. завершился не просто приходом к власти и утверждением Второй династии – династии *оба*, но и напрямую связанной с этим историческим событием существенной «реконфигурацией» общественно-политического строя бини. Эта реконфигурация была обусловлена тем, что потомкам принца Оранмияна, в отличие от правителей «Первой династии» – *огисо*, уда-

лось установить эффективную надвождескую центральную власть. С XIII в. воплощенное в центральной власти социально-политическое целое, образно говоря, уже не равнялось простой сумме составлявших его частей (вождеств, а также автономных общин), но стало обладать более высоким качеством. И сам политический центр перестал быть «пла-вающим», его роль больше не переходила от одного сегмента общества бини (вождества) к другому. Центр реально возвысился над социально-политическими компонентами сложного общества бини, включая и город Бенин как вождество.

Этого результата *оба* добились в ожесточенной, временами кровопролитной борьбе с местными правителями, прежде всего с *узама н'ихинрон* – бывшими эдионаэбо городского бенинского вождества, которая завершилась, как уже упоминалось, лишь более чем через полвека после утверждения Второй династии [см. Бондаренко 1995а: 234–236]. Четвертый *оба*, Эведо, возвел свой дворец на новом месте и навсегда покинул прежний, построенный еще для первого *оба* среди «родовых гнезд» *узама*. В противовес «выборщикам правителя» Эведо учредил новую категорию владельцев всебенинских титулов. Затем он лишил *узама* реальной возможности выбирать нового *оба* среди членов правящего клана; глава *узама н'ихинрон*, *олиха*, с тех пор лишь возглавлял церемонию коронации. Также Эведо запретил членам *узама* иметь символы власти, идентичные «королевским» и отменил их право раздавать всебенинские титулы [Egharevba 1960: 10–11].

С утверждением Второй династии, приведшим к установлению эффективной надвождеской власти, исторический поиск наиболее оптимальных для общества бини форм социально-политической организации и моделей их взаимодействия был, наконец, практически завершен на всех его «уровнях сложности». Бенин обрел социополитические «рамки», в которых происходили все последующие изменения вплоть до момента потери независимости и насилиственного пресечения эволюции институтов этого общества после британской «карательной экспедиции» 1897 г.

Бенин XIII–XIX вв. представлял собой особый тип сложного негосударственного иерархически организованного социума, в целом не менее развитого, чем большинство так называемых «ранних государств». Неслучайно создатель концепции «раннего государства» Хенри Классен и его последователи без тени сомнения включают Бенин в число «ранних государств» [Кочакова 1986; Kochakova 1996; Shifferd 1987; Claessen 1994; *al.*], причем их наиболее развитого – «переходного» к

«зрелому государству» – типа [Кочакова 1994]). Для обществ данного типа социально-политической организации был предложен термин «мегаобщина» [Бондаренко 1995а: 276–284; 1995в; 1996; 1999б; Bondarenko 1994; 1997; 1998а]. Ее структура может быть представлена в виде системы четырех концентрических кругов, образующих перевернутый конус. Эти круги – большая семья (мельчайшая самодостаточная единица социума [Бондаренко 1995а: 134–144]), большесемейно-соседская община, вождество и, наконец, самый широкий круг, собственно мегаобщина, бенинский социум. В каждом следующем круге социально-политические институты функционально и формально воспроизводили аналогичные им институты предшествующих кругов, но содержание их деятельности расширялось и преображалось в связи с необходимостью соответствовать более высокому уровню общественного бытия бини. Таким образом, в социокультурном отношении круги мегаобщины относились друг с другом по принципу подобия, столь характерному для африканских культур [Гиренко 1991: 288; Следзевский 1992; Бондаренко 1995а: 50].

Целостность мегаобщины обеспечивалась в принципе теми же разнообразными механизмами, что и общины [см. Бондаренко 1995а: 176–180]. Само же существование и процветание жителей мегаобщины, по их собственному убеждению, гарантировалось наличием династии сакрализованных верховных правителей: именно роль символа всеобщинского единства, а не «профанного» главы общества объективно оказалась важнейшим историческим предназначением *оба*. И именно в сакральных функциях *оба* особенно наглядно отразились и мегаобщинный характер всего общества, и суть верховного правителя как мегавождя [Palau Martí 1964; Кочакова 1986: 197–224; Kochakova 1996; Бондаренко 1991в; 1995а: 203–231]. В частности, семья верховного правителя (как и семьи титулованных вождей) не только сохраняла свою традиционную структуру, но и в целом функционировала в соответствии с обусловленными этой структурой нормами [см.: Бондаренко 1995а: 194–203; 1997в].

Принадлежность к семье потомков основателя общины (и/или вождества) как условие обретения статуса вождя, наличие элементов сакральности, функция отправителя культа общинных предков (и/или предков населения вождества), а также ряда других важнейших ритуалов и обрядов, роль распорядителя общины землями и судьи, «вдохновителя» общественно полезных работ – и отсутствие при этом единовластия, контроль со стороны глав семей... Все это, как и многое

другое, мы видим и у верховного правителя. Однако, опять же, все эти особенности были присущи *оба* на высшем уровне, когда, к примеру, культ предков суверена превратился в общебенинский, а сам правитель – в верховного жреца уже всей страны. *Оба* считался владельцем земель не отдельной общиной, а всех угодий страны, имея на них в действительности не больше прав, чем старейшины на общинные земли; деятельность его контролировалась не главами больших семей, а титулованными вождями и т.д.

Конечно, все эти и многие прочие изменения не были лишь количественными. Неслучайно среди титулов верховного правителя был и *обасогие* («*оба* более велик, чем вождь») [Омогуи 1981: 14]. Например, *оба* являлся не только верховным жрецом, но и объектом поклонения (а собиравшаяся для него дань рассматривалась не только как подать, но и как своего рода жертвоприношение). Он считался всемогущим и виделся единственным легитимным законотворцем. С течением времени верховный правитель получил право назначать линиджи, из которых выдвигалось большинство титулованных вождей. Если в общине вместе с титулом наследовалось и имущество, то на уровне мегаобщины материальные богатства и престижное положение подчеркнуто разделялись [Бондаренко 1993: 151–158; 1995а: 203–229].

В то же время *оба* не вышел из бенинской общинной организации. В поддержке его народом, в том числе материальной, проявлялся «общинный дух». Верховный правитель не воспринимался как чуждая общине сила. И именно то, что его власть считалась (и действительно генетически и в значительной мере сущностно была) как бы продолжением и усилением на новом уровне законной власти общинных вождей, придавало обществу социально-политическую стабильность, тогда как община обеспечивала ему социально-экономическую устойчивость. Как отмечалось выше, *оба* играл важнейшую роль символа всебенинского единства. Через его образ люди осознавали свою причастность к общности, гораздо более широкой, чем их родные общинны или вождества, т.е. к мегаобщине – Бенинскому «королевству». Эта роль не только сохранилась за верховным правителем, но стала еще более значимой после того, как в начале XVII в. *оба* утратил профанную власть в пользу мегаобщинных (верховных, титулованных) вождей, при этом сконцентрировав в своих руках огромную сакральную власть – власть, не менее реальную, нежели профанская в контексте бенинской культуры, в том числе культуры политической [Бондаренко 1991а; 1992б; 1995а: 222–228, 229–230].

Примечательно, что «четырехкруговая» организация социально-политической системы соответствовала картине мира бини, в которой также существовала иерархия четырех концентрических кругов: человек (в котором уживались четыре души разных порядков) – земное пространство, включая бенинскую мегаобщину, – мир духов предков и старших божеств – вселенная в целом, как таковая [Бондаренко 1995а; 1997а].

Картина мира бини оказывалась социоцентричной. Бенинское общество признавалось центром всего мироздания; мифы повествуют о том, как именно в Бенине были созданы земная твердь и жизнь на ней [см., например: Ebohon 1972: 5; Eweka 1992: 2–4; Isaacs & Isaacs 1994: 7–9; Ugowe 1997: 1]. Фокусом же социума являлась община, в сознании бини представавшая самой сердцевиной сердцевины, ядром ядра мироздания. И в действительности община как основополагающий, базовый институт скрепляла все этажи иерархической структуры бенинского социума. На всех них доминировали общинные по характеру связи и отношения, выражая сущность этого общества [Бондаренко 1995а: 90–181].

Тот факт, что община бини в основе своей была большесемейной, с универсально распространенной в ней полигамией, имел фундаментальное значение ввиду иерархического характера ее социальной структуры и антидемократической системы ценностей. Им определялись геронтократические принципы и методы общинного управления, с одной стороны, и изначально – с момента прихода к власти Второй династии – иерархический (конический) тип бенинской мегаобщины – с другой [см.: Бондаренко 1997б: 13–14; 1998: 198–199; Bondarenko 1998б: 98; Бондаренко и Коротаев 1998б: 135; Bondarenko & Korotayev 1999; 2000].

От эпохи *огисо* мегаобщина унаследовала ряд черт, присущих сложному вождеству [см.: Крадин 1991: 277–278; 1995: 24–25]; в ее рамках они даже усилились. Например, возросла этническая гетерогенность бенинского социума (Ryder 1969: 2), более явной стала невовлеченность всебенинской (надвождеской) правящей элиты в материальное производство [Бондаренко 1993: 156–157; 1995а: 229, 253]. Повысился и уровень социальной стратифицированности общества [Бондаренко 1993; 1995а: 90–275].

Но в то время, как простое и сложное вождество воплощают в принципе одну и ту же – вождескую – модель социально-политической организации, то же «качество» власти и ее институтов («Общие права и

обязанности вождей на каждом уровне иерархии схожи...» [Earle 1978: 3]), различия между обоими этими типами общества, с одной стороны, и мегаобщиной – с другой, действительно принципиальны и значительны. В частности, *огисо*, в строгом соответствии с антропологической теорией [Васильев 1980: 182], не располагали формализованным и легитимизированным аппаратом принуждения. Хотя, как отмечалось выше, эффективные институты центральной власти жизненно необходимы для сложного вождества, оно обычно оказывается не в состоянии выработать политические механизмы предотвращения дезинтеграции [Claessen & Skalník 1981: 491]. Поэтому распад – типичная судьба вождеств. Простые вождества распадаются на независимые общини, а сложные вождества – на простые вождества и также независимые общини [Earle 1991: 13]. Следовательно, мегаобщина представляет собой возможный путь трансформации сложного вождества через дальнейшее усложнение социально-политической организации общества, выступает альтернативой его дезинтеграции.

Очевидно, крушение постигло подавляющее большинство из ста тридцати ранних вождеств бини, и примерно десять протогородских поселений – потенциальных центров сложных вождеств, в отличие от Бенина времен *огисо*, не смогли утвердить свое господство над соседями и постепенно опустились на уровень больших деревень. С течением времени все они оказались включенными в пределы бенинского социума. Только бенинская мегаобщина XIII–XIX вв. (в данном случае точнее было бы сказать «мегаобщинные политические институты») образовала подлинный «центр», который возвысился над всеми социально-политическими компонентами страны и оказался в состоянии установить по-настоящему действенную надобщинную власть. И именно это обстоятельство стало решающим «аргументом» в борьбе Бенина с другими протогородами за роль всебинийского центра притяжения. Не случайно Бенин начал доминировать над ними непосредственно после подчинения Эведо *узама* – со второй половины XIII в. (см. Бондаренко 1995а: 94–95). По той же самой причине мегаобщинные институты, включая монархию династии *оба* и различные категории титулованных (мегаобщинных) вождей (см. Eweka 1992; Roese 1993), обладали высокой степенью устойчивости. И именно поэтому есть все основания утверждать, что с приходом Оранмияна и утверждением его династии социально-политическая организация Бенина претерпела радикальную трансформацию от модели «большая семья – большесемейно-соседская

община – вождество – сложное вождество» к мегаобщинной «формуле», приведенной выше.

Организация судопроизводства, система наложения и сбора дани, т.д. и т.п. – все соответствовало иерархическому характеру бенинского социума. Например, возникла «лестница» судов – от заседавших под председательством глав общин до высшего, официально руководимого *оба*. Критериями для вынесения дела на рассмотрение суда того или иного уровня являлись тяжесть преступления и то, представители одной или разных социальных единиц (общин, вождеств) были в данное дело вовлечены [см., например.: Dapper 1671: 492; Talbot 1926: III, table 19; Egharevba 1949: 11; 1960: 35; Bradbury 1957: 32–33, 41–42; Sidahome 1964: 127].

Власть *огисо* распространялась на площадь в примерно 4500–5000 км кв. Эгхаревба пишет, что во владениях правителей «Первой династии» располагалось около сотни поселений (Egharevba 1960: 4). Рёзе и Роуз удалось идентифицировать и нанести на карту шестьдесят восемь «деревень и маленьких городов» из числа перечисленных бенинским хронистом [Roese and Rose 1988: 306 (map)]; многие из них также упоминает в своей этнографической работе Эвека [Eweka 1992: 30, 86, 110–116, 119–121]. Очевидно, под «деревнями» Эгхаревба подразумевал автономные общины, а под «маленькими городами» следует понимать вождества, подобные тем, что исследовал и описал Дарлинг (см. выше). В течение достаточно долгого времени – до середины XV в. – площадь страны оставалась практически неизменной, хотя ее территория не раз меняла свои очертания, и по-прежнему равнялась приблизительно 4500–5000 кв. км (рассчитано по картам: [Darling 1984: I, 44; Roese & Rose 1988: 306, 308, 309]).

Также представляется возможным приблизительно определить численность и плотность населения Бенина времен «Первой династии». Напомним, что, как установил Дарлинг, численность населения типичного вождества бини составляла около 1500 человек. Теперь, если мы разделим данную величину на количество деревень (общин), из которых это типичное для бини вождество состояло, – на семь, то получим средний размер общины. Он оказывается порядка 200 человек – характерное для большесемейной общины оседлого земледельческого этноса число [см.: Pfeiffer 1977: 33; Васильев 1980: 176]. Однако неизвестно количественное соотношение между вождествами и автономными общинами во владениях *огисо*. Поэтому приходится спекулятивно допустить, что оно могло быть примерно равным. Если принять содержащееся в сооб-

щении Эгхаревба указание на число основных поселений в Бенине во времена «Первой династии» (число, конечно же, условное, но, тем не менее, как показали Рёзе и Роуз, не бессмысленное), следует выполнить следующую арифметическую операцию: $1500 \times 50 + 200 \times 50$. В итоге получается, что население всей страны в период *огисо* составляло примерно 85 тыс. человек.

Есть еще одна возможность представить себе приблизительную численность населения в Бенине до утверждения Второй династии. По Дарлингу, комплекс земляных валов на территории страны состоит из более чем 500 «общинных ограждений», около 30 % которых было возведено уже при *оба* [см.: Keys 1994: 13]. При таком подходе, чтобы узнать численность населения Бенина в интересующий нас исторический период, нужно из «более чем 500» вычесть «около 30 %» и умножить на 200 – среднее количество членов общины бини. В итоге, перемножив 350 и 200, получаем 70 тыс. – число, несколько меньшее, чем при подсчете «первым способом».

Таким образом, есть основания для вывода, что численность населения владений правителей «Первой династии» составляла от 70 тыс. до 85 тыс. человек. Подобное число – несколько десятков тысяч – в целом характерно для сложных вождеств [Steponaitis 1978; Carneiro 1981: 48; Johnson & Earle 1987; Earle 1991: 3; Крадин 1995: 24].

Число же, которым можно было бы определить среднюю плотность населения в Бенине в период властования представителей «династии» *огисо*, соответственно, располагается в диапазоне от четырнадцати-пятнадцати до двадцати человек на кв. км. Но население страны (и соответственно, его плотность) продолжали расти. Решение порожденных этим ростом очевидных экономических, социальных и политических проблем было найдено в многочисленных миграциях бенинцев за пределы страны. В случае необходимости они пускали в ход оружие для утверждения на новых землях. Такой выход выглядел естественным, поскольку миграции и вооруженные акции против соседей время от времени совершались и раньше. Но с середины XV в. они стали частыми и регулярными, ознаменовав собой рождение Бенинской империи. Благодаря миграциям и военным операциям на вершине своего могущества (XVI в.) Бенин, региональная сверхдержава того времени, простирался на сотни километров к северу и западу от исторического ядра, а на юге и востоке достиг естественных границ – Атлантического океана и реки Нигер.

Население мегаобщины, несомненно, было большим, нежели в каком-либо исторически известном сложном вождестве. Этот факт находит подтверждение в имеющихся в распоряжении ученых сведениях о бенинском войске. На заре имперской эпохи – во второй половине XV в. – оно насчитывало от 20 до 50 тыс. воинов [Egharevba 1956: 34; 1966: 13]. В середине же XVII в., когда в войске помимо бини уже служили выходцы из подчиненных Бенину земель, его численность составляла 200 тыс. человек: 180 тыс. ополченцев и 20 тыс. «гвардейцев» [Dapper 1975 (1668): 502]. Какое сложное вождество могло похвастать такой империей и такой армией??!

Также не выдерживают сравнения с городом Бенином эпохи существования мегаобщины небольшие протогородские поселения времен *огисо*, столь характерные для сложных вождеств [см. Крадин 1995: 24]. Именно с момента утверждения Второй династии и сложения мегаобщины город Бенин начал разрастаться территориально, преображаться архитектурно; резко повысилась его социально-политическая и культурная роль в обществе. В середине XVII в. европейские визитеры оценивали население столицы в 15 тыс. человек [Dapper 1671: 487]. Хотя о большой точности подобных оценок «на глазок» численности городского населения (или, скажем, войска) говорить, конечно же, не приходится, о размерах и величии города Бенина, безусловно, свидетельствует то, что в XVI-XVIII вв. восхищенные европейцы ставили его в один ряд с крупнейшими и наиболее впечатляющими городами своего континента [см. Bondarenko 1992а: 54].

Несмотря на то, что изначально локальная, общинная природа бенинского социума пришла в противоречие с имперским политическим и культурным дискурсом, принципы и сама система управления империи (сохранение местных правителей в покоренных землях, миграции на слабозаселенные территории, возглавлявшиеся родственниками *оба*, проживание «колониальных администраторов» бини не в «провинциях», а в городе Бенине, использование в присоединенных районах тех же идеологических подпорок господства метрополии, что и для обоснования власти *оба* в самом Бенине и т.д. и т.п.) говорят о том, что к моменту английской оккупации 1897 г. мегаобщина по-прежнему являлась формой организации собственно бенинского общества, к которому примикиали многообразные в социально-политическом отношении «колонии». То есть мегаобщина была вполне в состоянии абсорбировать и «перекодировать» те элементы имперского дискурса, которые могли бы показаться непреодолимыми для этой локальной, этно- и социоцен-

тричной в своей основе формы социально-политической организации, и, таким образом, избегать сущностной трансформации своих первооснов, как и предотвращать радикальные изменения во взаимосвязанных с ними менталитете и картине мира бини.

Бенин и «Первой», и Второй династии представлял собой мультиполитию, т.е. общество, в пределах которого сосуществовали и взаимодействовали структурные элементы (социально-политические единицы) различных типов и степени сложности [Коротаев 1995а: 72–73; 1998: 125–127]. При *оба* одна мультиполития (автономные общины + вождества ≈ сложное вождество) сменилась другой: автономные общины + вождества = мегаобщина. (В обоих случаях автономные общины приравнивались к простым вождествам с точки зрения их обязанностей по отношению к верховной власти [Egharevba 1949: 79; Bradbury 1973а: 177]).

Однако мегаобщина существенно отличалась не только от сложного вождества, но и от государства.

Теории государства, существующие в мировой науке, в том числе антропологической, едва ли поддаются счету. Однако Годинер в принципе права, утверждая, что в любой, даже самой сложной теории «государство в конечном итоге... есть специализированный институт управления обществом...» [Годинер 1991: 51; также см. Белков 1995: 171–175]; во всяком случае, теории государства практически неизменно (и неизбежно) концентрируются на таком «институте». В частности, Классен в недавнем издании «Энциклопедии культурной антропологии», суммирующем различные точки зрения и отражающем сегодняшний уровень теоретизирования, фактически распространяет (с некоторыми незначительными изменениями и дополнениями) некогда данное им и Скальником определение «раннего государства» [Claessen & Skalník 1978: 640] на государство вообще, утверждая следующее: «... государство есть **независимая централизованная социально-политическая организация для регулирования социальных отношений в сложном, стратифицированном обществе** (выделено мной. – Д.Б.), существующем на определенной территории и состоящем из двух основных страт – правителей и управляемых, отношения между которыми характеризуются политическим доминированием первых и налоговыми обязательствами последних, будучи легитимизированы разделемой, по крайней мере частью общества, идеологией в основе которой лежит принцип реципрокности» [Claessen 1996: 1255].

Естественным же критерием существования государства является наличие в обществе бюрократии – категории профессиональных «управленцев», чиновников, заполняющих этот «специализированный институт». По сути дела, последний и был специализированным именно вследствие того, что лица, вовлеченные в процесс функционирования государственной машины, являлись профессионалами. Эти ныне выглядящие достаточно простыми постулаты практически общеприняты в антропологии и считаются едва ли не аксиомами.

Также общеизвестно, что уже несколько поколений ученых различных специальностей обязаны наиболее тщательно и детально разработанным понятием бюрократии Максу Веберу [Weber 1947: 329–341 *et al.*]. Именно его видение этого феномена явно или имплицитно легло в основу большинства современных теорий государства. Следовательно, вне всякого сомнения, есть смысл в том, чтобы просмотреть составленный Вебером список признаков бюрократии и бюрократов – профессиональных чиновников. Соответствуют ли этим признакам титулованные (верховные, мегаобщинные) вожди – администраторы в Бенине XIII–XIX вв.?

Вебер писал: «(1) Они (бюрократы. – Д.Б.) лично свободны и подчиняются власти только в непосредственной связи с их должностными обязанностями; (2) Они организованы четко обозначенной иерархией должностей; (3) Для каждой должности существует четко обозначенная в правовом отношении сфера компетенции; (4) Должность занимается на основе свободных контрактных отношений. Таким образом, в принципе осуществляется свободный отбор (кандидатов на должность. – Д.Б.); (5) Кандидаты... назначаются (на должности. – Д.Б.), а не избираются; (6) Они вознаграждаются фиксированным жалованием ... (7) Служба в должности рассматривается как единственное или, во всяком случае, основное занятие чиновника; (8) Оно составляет карьеру... (9) Чиновник работает, будучи полностью отчужден от собственности на средства управления и не присваивая себе занимаемую должность; (10) Он подчиняется строгой и систематической дисциплине и подвергается контролю при исполнении служебных обязанностей» [Weber 1947: 333–334].

Установление *оба* действительно эффективной надвождеской (и надобщинной) власти позволило им положить конец сепаратистским настроениям в бывших владениях *огисо*. Также *оба* смогли добиться того, что оказалось не под силу их предшественникам: создать сложную и очень хорошо разработанную систему надвождеских (мегаобщинных)

политических институтов и титулов вождей, объединенных в несколько категорий. Процесс формирования системы мегаобщинных политических институтов в основных чертах был завершен в середине XV в. *оба* Эвуаре Великим, одновременно предпринявшим и первые в истории Бенина «осознанные» попытки проведения имперской политики, оказавшиеся весьма успешными [см. Бондаренко 1995а: 231–257].

Итак, есть ли какие-либо основания считать бенинских титулованных вождей бюрократами, т.е. профессиональными чиновниками? (Общие описания и работы, содержащие детальный анализ процесса эволюции системы вождеских титулов в Бенине, – источник значительной части приведенных ниже сведений и некоторых выводов – см.: [Read 1904; Egharevba 1956; 1960: 78–80; Bradbury 1957: 35–44; Eweka 1992; Бондаренко 1993: 158–165; 1995а: 231–257; Roese 1993]).

Каждый бенинский верховный вождь относился к одной из двух больших групп: его титул был либо наследственным, либо нет, причем существование первой группы вождей оказалось бы невозможным, будь они действительно бюрократами (см. пункт 9 Вебера). Наследственных титулов было немного. К их числу относились титулы самых высокопоставленных вождей – «выборщиков правителя» *узама н'ихинрон*, а также еще нескольких администраторов. С середины XV в. в состав институализированного первым же *оба*, Эвека I, института *узама н'ихинрон* входило семь человек; к кануну имперской эпохи относится и учреждение *оба* Эвуаре Великим значительной части прочих наследственных титулов.

Обладатели же ненаследственных титулов считались «назначенными *оба*» и, в свою очередь, также делились на две основные категории (притом, что немало носителей менее важных титулов не входили ни в одну из них). Члены первой из этих категорий именовались эгхаэвбо *н'огбе* («дворцовые вожди»). Их институт был введен четвертым верховным правителем Второй династии, Эведо, в середине XIII в. стремившегося в том числе и таким путем подорвать могущество *узама*. Эгхаэвбо *н'огбе* делилось на три «дворцовые ассоциации», каждая из которых также состояла из трех групп, подобных традиционным для всех уровней социально-политической организации бини возрастным рангам.

Значение эгхаэвбо *н'огбе* было велико и не сводилось к использованию преимуществ, предоставляемых ими официальными титулами членов эгхаэвбо *н'огбе* [Дайк 1959: 13; Bradbury 1969: 22], а дополнялось активнейшей лоббистской деятельностью. Наличие у дворцовых

вождей широких возможностей для ее ведения обуславливалось тем, что среди наиважнейших задач эгхаэвбо н’огбе было выполнение роли медиатора между *оба* и простыми бенинцами [Agbontaen 1995]: для самого верховного правителя с начала XVII в. непосредственное общение с подданными являлось табу. Регулирование потока информации к *оба* и от *оба* оставалось важнейшим политическим достоянием дворцовых вождей вплоть до потери Бенином независимости в самом конце XIX в. [см. Roth 1903: 92]. Европейские письменные источники XVII–XIX вв. свидетельствуют о том, что в этот период эгхаэвбо н’огбе, ведомые главой этой категории вождей – *увангуе*, сконцентрировали в своих руках огромную власть [см.: Da Híjar 1972 (1654): 248–249; Anonymous 1969 (1652): 309; Dapper 1975 (1668): 503; Van Nyendael 1705: 435; Smith 1744: 228–230; Dutch 1978 (1674–1742): 334; Roth 1903: 92; Ryder 1969: 103]. В конечном счете в XVII столетии именно за дворцовыми вождями, а не за кланом *оба* или тем более узама в конечном счете оставалось решающее слово при выборе наследного принца (эдайкена) из числа старших сыновей верховного правителя [Ryder 1969: 16–18].

Другая основная категория носителей ненаследственных титулов, эгхаэвбо н’оре («городские вожди»), была учреждена позднее, в середине XV в. Эвуаре, уже в качестве противовеса дворцовым вождям, хотя последние и считались более высокопоставленными лицами. Практически с момента учреждения эгхаэвбо н’оре городские вожди стали небезуспешно вступать в борьбу с эгхаэвбо н’огбе за влияние на верховного правителя, с одной стороны, и непосредственно за власть с самим сувереном – с другой [см., например, Smith 1744: 234–236]. Ключевой фигурой в противоборстве городских вождей с *оба* и дворцовыми вождями стал глава эгхаэвбо н’оре – *ийасе*, чей титул был учрежден еще *оба* Эведо, задолго до создания самого института эгхаэвбо н’оре (Egharevba 1951: 36, 99; 1956: 7; 1960: 11, 78; Igbafe 1974: 8; Eweka 1989: 18; 1992: 28, 41). *Ийасе* изначально противопоставил себя *оба*, пользуясь не только влиянием в «верхах», но и популярностью у горожан. По выражению Н.Б. Кочаковой, борьба *оба* с *ийасе* проходит «на всем протяжении бенинской истории красной нитью» [Кочакова 1986: 244; подробно см. Egharevba 1947].

Таким образом, члены эгхаэвбо н’огбе и эгхаэвбо н’оре, чье поведение было весьма далеко от «предписываемого» представителям бюрократии Вебером (пункт 10), составляли основные объединения ненаследственных вождей, которые в итоге в реальности заняли в системе социально-политических институтов Бенина место выше, нежели более

аристократические по происхождению носители наследственных титулов. Однако следует учесть, что *oba* назначал вождей лишь формально. Во-первых, если быть точным, верховный правитель наделял титулами не конкретных индивидуумов, а линиджи, члены которых (официально не включенные во всебенинский аппарат управления) сами определяли, кто станет их носителями. Во-вторых, благодаря силе традиции и могуществу дворцовых и городских вождей, титулы передавались в пределах одних и тех же больших семей столетиями, хотя формально на ненаследственный титул был вправе претендовать любой полноправный бини [Bradbury 1957: 38; 1969: 22; Atmore & Stacey 1979: 47].

Таким образом, в действительности верховные правители Бенина не имели возможности свободно выбирать и назначать администраторов. На практике администраторы вообще не назначались, как не существовало и свободного выбора их на уровне всего общества; они определялись внутри конкретных линиджей, больших семей (ср. с пунктами 5 и 4 Вебера). Логично предположить (особенно, если довериться фольклорным источникам [Sidahome 1964: 163 и др.]), что в последние столетия существования империи верховный правитель в действительности и вовсе уже лишь утверждал предлагавшиеся ему вождями кандидатуры. То есть процедура определения сувореном обладателя титула превращалась, по существу, в пустую формальность, отправление стаинного ритуала (что прямо противоречит пункту 9 Вебера).

Вожди не были просто должностными лицами на службе верховного правителя. С одной стороны, *oba* регулярно устанавливал с ними родственные связи («анти-пункт» 1 Вебера), заключая браки с дочерьми вождей [Bradbury 1957: 41] и выдавая замуж за носителей всебенинских титулов своих дочерей [Egharevba 1949: 26; 1956: 31; 1962]. С другой стороны, вожди неизменно поддерживали тесные отношения с общинной организацией. В деятельности институтов всебенинской (мегаобщинной) власти они принимали участие как представители своих общин и титулованных линиджей, а не как индивиды (следовательно, бенинские реалии не отвечали веберовскому пункту 7). Было нереально вырвать верховных вождей из их родных общин и послать управлять чужими социально-политическими образованиями. В условиях, когда во всех кругах мегаобщины доминировали общинные по характеру или происхождению связи и отношения, территориальное деление страны на сугубо административные, то есть не обусловленные границами остававшихся неизменными по своей сути общин и вождеств, единицы не представлялось возможным.

Верховные вожди всегда оставались прежде всего носителями титулов, а не исполнителями тех или иных управленческих функций. Все привилегии они получали в соответствии с титулами, а не в качестве вознаграждения за выполнение служебных обязанностей. Должность являлась неизбежным приложением к титулу. Например, титул «хранителя гардероба *оба*» мог требовать от его носителя вовсе не чистки и проветривания одежд суверена, а выполнения функций совсем иного рода, в том числе непосредственно управленческих. Эти обязанности не были четко оговорены и ограничены от функций других вождей, также как в каждую категорию мегаобщинных вождей входили представители всех «ветвей власти» бенинского общества – жрецы, военачальники и др. (ср. с тем, что писал Вебер в пункте 3). Более того, должности вождь по повелению *оба* мог лишиться, но титула, раз получив, – никогда. Эгхаревба прямо писал по этому поводу: верховный правитель «... мог... сместить любого титулованного вождя с его поста, но вождь, тем не менее, должен был сохранить свой титул пожизненно» [Egharevba 1949: 24; см. также: Egharevba 1956: 6; Igbafe 1979: 4].

Бенинцы имели общее представление о более и менее высоких титулах, более и менее важных административных обязанностях. Однако в стране не существовало их официальной, зафиксированной иерархии ни в рамках отдельных категорий мегаобщинных вождей, где, чаще всего, только главы ассоциаций занимали четкое по отношению к их остальным членам положение, ни в пределах тех или иных сфер деятельности – собственно управленческой, жреческой, военной и т.д. В данном случае, ситуацию в Бенине следует сопоставить с пунктом 2 рассуждений Вебера.

Материальное благополучие мегаобщинных вождей (по крайней мере, до начала периода активной торговли с европейцами [Бондаренко 1995а: 153–157]) основывалось на получении части продукта, производившегося в их родных общинах. Оно не зависело в решающей мере ни от доли в дани, собиравшейся ими один или два раза в год со всего населения страны в пользу *оба*, ни от периодических «подарков» верховного правителя. Фиксированного же жалованья же титулованные вожди вообще никогда не получали (т.е. положение дел в Бенине не имело ничего общего с описываемым Вебером в пункте 6).

Поскольку титулы принадлежали одним и тем же большим семьям столетиями, в обществе не велось свободного состязания за обладание титулами. Далее, не существовало возможностей для карьерного продвижения, та как вожди являлись прежде всего носителями титу-

лов. А титулы, помимо того, что не были выстроены в четкую иерархическую вертикаль, не могли меняться их носителями. Некто, однажды получивший титул, не мог не только лишиться его, но и получить от *оба* новый титул, в обмен или в дополнение к прежнему (при этом см. веберовский пункт 8).

Итак, ни один из десяти признаков бюрократии и бюрократов не приложим к бенинским мегаобщинным (титулованным, верховным) вождям. Мегаобщинные институты возвысились над автономными общинами и вождествами, утвердили свое доминирование над ними. Но в общинном по своей глубинной сути бенинском социуме даже те, кто управлял им на высшем уровне, не были профессиональными чиновниками, т.е. бюрократами. Таким образом, в соответствии с практически общепринятой идеей о неразрывности связи между существованием государства и бюрократии, следует, безусловно, признать, что бенинская мегаобщина государством не была.

Суммируя же высказанное в этой главе, представляется разумным и обоснованным классифицировать мегаобщину как особый тип сложной иерархической социально-политической организации. Этот тип организации был альтернативен государству, поскольку столь же очевидно, что со всех точек зрения по уровню своего развития Бенин не уступал большинству ранних государств.

ЛИТЕРАТУРА:

- Белков П.Л.* Раннее государство, предгосударство, протогосударство: игра в термины? // Ранние формы политической организации: от первобытности к государственности. М., 1995. С. 165–187.
- Березкин Ю.Е.* Вождества и акефальные сложные общества: данные археологии и этнографические параллели // Ранние формы политической организации: от первобытности к государственности. М., 1995(а). С. 62–78.
- Березкин Ю.Е.* Модели среднемасштабного общества: Америка и древнейший Ближний Восток. // Альтернативные пути к ранней государственности. Владивосток, 1995(б). С. 94–104.
- Бондаренко Д.М.* Проблема объема власти верховного правителя Бенина по источниковым данным и в историографии // Племя и государство в Африке. М., 1991(а). С. 132–149.
- Бондаренко Д.М.* Производственная и социальная организация городов йоруба и эдо (бини) в «доевропейский» период (XIV–XV вв.) // Советская этнография. 1991(б). № 4. С. 109–115.

- Бондаренко Д.М.* Сакральная функция позднепотестарного верховного правителя и характер предгосударственного общества (по бенинским материалам) // Первая дальневосточная конференция молодых историков. Владивосток, 1991(в). С. 10–12.
- Бондаренко Д.М.* Бенин в восприятии европейцев // Восток. 1992(а). № 4. С. 53–62.
- Бондаренко Д.М.* Борьба верховного правителя (*оба*) Бенина с верховными старейшинами и эволюция объема и характера его власти // Вторая дальневосточная конференция молодых историков. Владивосток, 1992(б). С. 12–14.
- Бондаренко Д.М.* Привилегированные категории населения в Бенине накануне первых контактов с европейцами // Ранние формы социальной стратификации: генезис, историческая динамика, по-тестарно-политические функции. М., 1993. С. 145–168.
- Бондаренко Д.М.* Бенин накануне первых контактов с европейцами: Человек. Общество. Власть. М., 1995(а).
- Бондаренко Д.М.* Вождества в доколониальном Бенине // Ранние формы политической организации: от первобытности к государственности. М., 1995(б). С. 140–152.
- Бондаренко Д.М.* Мегаобщина как вариант структуры и типа социума: доколониальный Бенин // Альтернативные пути к ранней государственности. Владивосток, 1995(в). С. 139–150.
- Бондаренко Д.М.* Специфика структуры города Тропической Африки (по материалам доколониальных «городов-государств» Верхне-гинейского побережья) // Город как социокультурное явление исторического процесса. М., 1995(г). С. 215–223.
- Бондаренко Д.М.* Мегаобщина как вариант структуры и типа социума: предпосылки сложения и функционирования // Восток. 1996. № 3. С. 30–38.
- Бондаренко Д.М.* Круги африканского мироздания (по материалам эздо-зычных народов Южной Нигерии) // Мир африканской деревни. Динамика развития социальных структур и духовная культура. М., 1997(а). С. 92–126.
- Бондаренко Д.М.* Теория цивилизаций и динамика исторического процесса в доколониальной Тропической Африке. М., 1997(б).
- Бондаренко Д.М.* Унилинейные родственные институты в рамках мегаобщины (по материалам доколониального Бенина) // Второй международный конгресс этнологов и антропологов. Резюме докладов и сообщений. Ч. II. Уфа, 1997(в). С. 29.

- Бондаренко Д.М.* Многолинейность социальной эволюции и альтернативы государству // Восток. 1998. № 1. С. 195–202.
- Бондаренко Д.М.* Доимперский Бенин: формирование и эволюция системы социально-политических институтов. Дис. ... д.и.н. М., 2000.
- Бондаренко Д.М. и Коротаев А.В.* Вождество // Народы и религии мира. Энциклопедия. М., 1998(а). С. 884.
- Бондаренко Д.М. и Коротаев А.В.* Политогенез и общие проблемы теории социальной эволюции («гомологические ряды» и нелинейность // Социальная антропология на пороге XXI века. М., 1998(б). С. 134–137.
- Бондаренко Д.М. и Коротаев А.В.* Политогенез, «гомологические ряды» и нелинейные модели социальной эволюции (К кросскультурному тестированию некоторых политантропологических гипотез) // Общественные науки и современность. 1999. № 5. С. 129–140.
- Васильев Л.С.* Становление политической администрации (от локальной группы охотников и собирателей к протогосударству цифром) // Народы Азии и Африки. 1980. № 1. С. 172–186.
- Васильев Л.С.* Проблемы генезиса китайского государства (Формирование основ социальной структуры и политической администрации). М., 1983.
- Гиренко Н.М.* Социология племени. Становление социологической теории и основные компоненты социальной динамики. М., 1991.
- Годинер Э.С.* Политическая антропология о происхождении государства // Этнологическая наука за рубежом: проблемы, поиски, решения. М., 1991. С.51-77.
- Дайк К.О. (Онвужа Дике).* Бенин – средневековое государство Нигерии // Курьер ЮНЕСКО. 1959, октябрь. С. 13–14.
- Коротаев А.В.* Апология трайбализма. Племя как форма социально-политической организации сложных непервобытных обществ // Социологический журнал. 1995(а). № 4. С. 68–86.
- Коротаев А.В.* Горы и демократия: к постановке проблемы // Восток. 1995(б). № 3. С. 18–26.
- Коротаев А.В.* Вождства и племена страны Хашид и Бакил: Общие тенденции и факторы эволюции социально-политических систем Северо-Восточного Йемена за последние три тысячи лет. М., 1998.

- Кочакова Н.Б.* Рождение африканской цивилизации (Ифе, Ойо, Бенин, Дагомея). М., 1986.
- Кочакова Н.Б.* Проблемы идеологии раннего государства переходного типа // Восток. 1994. № 5. С. 22–32.
- Крадин Н.Н.* Политогенез // Архаическое общество: узловые проблемы социологии развития. М., 1991. Ч.II. С. 261-300.
- Крадин Н.Н.* Вождество: современное состояние и проблемы изучения // Ранние формы политической организации: от первобытности к государственности. М., 1995. С. 11–61.
- Куббель Л.Е.* очерки постарно-политической этнографии. М., 1988.
- Маретин Ю.В.* Община соседско-большесемейного типа у минангкабау (Западная Суматра) // Социальная организация народов Азии и Африки. М., 1975. С. 60–132.
- Ольдерогге Д.А.* Иерархия родовых структур и типы большесемейных домашних общин // Социальная организация народов Азии и Африки. М., 1975. С. 6–19.
- Следзевский И.В.* Земледельческая община в Западной Африке: хозяйственная и социальная структура // Община в Африке: проблемы типологии. М., 1982. С. 60–132.
- Следзевский И.В.* Особенности локальных цивилизаций в Африке: структурный аспект (природа – человек – Космос). Доклад в Институте Африки РАН. М., 1992
- Agbontaen K.A.* Art, Power Politics, and the Interrelatedness of Social Classes in Pre-colonial Benin // St. Petersburg Journal of African Studies. 1995, № 4. P. 118–124.
- Agiri B.A.* Yoruba Oral Tradition with Special Reference to the Early History of Oyo // Yoruba Oral Tradition. Poetry in Music, Dance and Drama. Ibadan, 1975. P. 157–197.
- Aisien E.* Benin City: The Edo State Capital. Benin City, 1995.
- Ajisafe A.K.* Laws and Customs of the Benin People. Lagos, 1945.
- Akenzua C.A.* Historical Tales from Ancient Benin. Lagos, 1994. Vol. I.
- [Anonymous]. A Short Account of the Things that Happened During the Mission to Benin, 1651–1652 // Ryder A.F.C. Benin and the Europeans. 1485–1897. London – Harlow, 1969[1652]. P. 309–315.
- Atmore A., and Stacey G.* Black Kingdoms, Black Peoples: The West African Heritage. Akure – London, 1979.
- Ben-Amos P.* The Art of Benin. London, 1980.
- Bondarenko D.M.* Precolonial Benin: Person, Authority and the Structure of the Society // State, City and Society. New Delhi, 1994. P. 1–10.

- Bondarenko D.M.* Benin on the Eve of the First Contacts with Europeans. Person. Society. Authority. Summary // African Studies in Russia. Yearbook 1993–1996. Issue 3 (1995/96). Moscow, 1997. P. 162–170.
- Bondarenko D.M.* The Benin Kingdom (13–19 Centuries) as a Megacommunity // Sociobiology of Ritual and Group Identity: A Homology of Animal and Human Behaviour. Concepts of Humans and Behaviour Patterns in the Cultures of the East and the West: Interdisciplinary Approach. Moscow, 1998(a). P. 111–113
- Bondarenko D.M.* «Homologous Series» of Social Evolution // Sociobiology of Ritual and Group Identity: A Homology of Animal and Human Behaviour. Concepts of Humans and Behaviour Patterns in the Cultures of the East and the West: Interdisciplinary Approach. Moscow, 1998. P. 98–99.
- Bondarenko D.M.* The Rise of Chiefdoms and the Urbanization Process among the Edo (Late 1st–Early 2nd Millennia AD) // Африка: общества, культуры, языки (Традиционный и современный город в Африке). M., 1999. С. 23–32.
- Bondarenko D.M., and Korotayev A.V.* Family Structures and Community Organization: A Cross-Cultural Comparison // Annual Meetings. The Society for Cross-Cultural Research (SCCR), The Association for the Study of Play (TASP). February 3–7, 1999. Santa Fe, New Mexico. Program and Abstracts. Santa Fe, 1999. P. 14.
- Bondarenko D.M., and Korotayev A.V.* Family Size and Community Organization: A Cross-Cultural Comparison // Cross-Cultural Research. 2000. Vol. 34. № 2. P. 152–189.
- Bondarenko D.M., and Roese P.M.* The Efa: Mysterious Aborigines of Edoland // Африка: общества, культуры, языки (Взаимодействие культур в процессе социально-экономической и политической трансформации местных обществ. История и современность). M., 1998(a). С. 18–26.
- Bondarenko D.M., and Roese P.M.* Pre-dynastic Edo: The Independent Local Community Government System and Socio-Political Evolution // Ethnographisch-Archaeologische Zeitschrift. 1998(b). Bd. 39. S. 367–372.
- Bondarenko D.M., and Roese P.M.* Benin Prehistory: The Origin and Settling Down of the Edo // Anthropos. 1999. Bd. 94. S. 542–552.
- Bradbury R.E.* The Benin Kingdom and the Edo-speaking Peoples of South-Western Nigeria. London, 1957.

- Bradbury R.E.* The Historical Uses of Comparative Ethnography with Special Reference to Benin and the Yoruba // The Historian in Tropical Africa. London etc, 1967. P. 145–164.
- Bradbury R.E.* Patrimonialism and Gerontocracy in Benin Political Culture // Man in Africa. London etc, 1969. P. 17–36.
- Bradbury R.E.* The Benin Village // Bradbury R.E. Benin Studies. London etc, 1973(a). P. 149–209.
- Bradbury R.E.* Fathers, Elders, and Ghosts in Edo Religion // Bradbury R.E. Benin Studies. London etc, 1973(b). P. 229–250.
- Carneiro R.L.* The Chiefdom: Precursor of the State // The Transition to Statehood in the New World. Cambridge (MA), 1981. P. 37–79.
- Claessen H.J.M.* Consensus and Coercion – Prerequisites for Government in Early States // International Journal of Anthropology. 1994. Vol. 9. P. 41–51.
- Claessen H.J.M.* State // Encyclopedia of Cultural Anthropology. New York, 1996. Vol. IV P. 1253–1257.
- Claessen H.J.M., and Skalník P.* The Early State: Models and Reality // The Early State. The Hague etc, 1978. P.637–650.
- Claessen H.J.M., and Skalník P.* *Ubi Sumus?* The Study of the State Conference in Retrospect // The Study of the State. The Hague etc, 1981. P. 469–510.
- Connah G.* The Archaeology of Benin. Excavations and Other Researches in and around Benin City, Nigeria. Oxford, 1975.
- Connah G.* African Civilizations: Precolonial Cities and States in Tropical Africa. An Archaeological Perspective. Cambridge – New York, 1987.
- Da Hijar F.* Relazione di Filippo Da Hijar sulla missione al Benin del 1651 // Salvadorini V.A. Le Missioni a Benin e Warri nel XVII secolo. La Relazione inedita di Bonaventura da Firenze. Milano, 1972 [1654]. P. 248–252.
- Dapper O.* Umständliche und eigentliche Beschreibung von Afrika. Amsterdam, 1671.
- Dapper O.* Naukeurige Beschrijvinge der Afrikaensche Gewesten. [Amsterdam] // Hodgkin T. The Nigerian Perspectives. An Historical Anthology. London etc., 1975 [1668].
- Dark P.J.C.* An Introduction to Benin Art and Technology. Oxford, 1973.
- Darling P.J.* A Change of Territory: Attempts to Trace More than a Thousand Years of Population Movements by the Benin and Ishan

- Peoples in Southern Nigeria // African Historical Demography. Edinburgh, 1981. Vol. 2. P. 101–118.
- Darling P.J.* Archaeology and History in Southern Nigeria. The Ancient Linear Earthworks of Benin and Ishan. Oxford, 1984. Pt. 1–2.
- Darling P.J.* Emerging Towns in Benin and Ishan (Nigeria) AD 500 –1500 // State and Society. The Emergence and Development of Social Hierarchy and Political Centralization. London etc., 1988. P. 121–136.
- The Dutch and the Guinea Coast, 1674 – 1742: A Collection of Documents from the General State Archive at the Hague. Accra, 1978.
- Earle T.K.* Economic and Social Organization of a Complex Chiefdom: The Halelea District, Kaua'i, Hawaii. Ann Arbor, 1978.
- Earle T.K.* The Evolution of Chiefdoms // Chiefdoms: Power, Economy, and Ideology. Cambridge etc., 1991. P. 1–15.
- Ebohon O.* Cultural Heritage of Benin. Benin City, 1972.
- Egharevba J.U.* Concise Lives of the Famous Iyases of Benin. Lagos, 1947.
- Egharevba J.U.* Benin Law and Custom. Port Harcourt, 1949.
- Egharevba J.U.* Some Tribal Gods of Southern Nigeria. Benin City, 1951.
- Egharevba J.U.* The City of Benin. Benin City, 1952.
- Egharevba J.U.* Bini Titles. Benin City, 1956.
- Egharevba J.U.* A Short History of Benin. Ibadan, 1960.
- Egharevba J.U.* Marriage of the Princesses of Benin. Benin City, 1962.
- Egharevba J.U.* The Origin of Benin. Benin City, 1964.
- Egharevba J.U.* Chronicle of Events in Benin. Benin City, 1965.
- Egharevba J.U.* Fusion of Tribes. Benin City, 1966.
- Egharevba J.U.* Descriptive Catalogue of Benin Museum. Benin City, 1969.
- Egharevba J.U.* A Brief Life History of Evian. Benin City, 1970.
- Esan O.* Correspondence, Before Oduduwa // Odù. 1960. Vol. 8. P. 75–76.
- Eweka E.B.* The Benin Monarchy (Origin and Development). Benin City, 1989.
- Eweka E.B.* Evolution of Benin Chieftaincy Titles. Benin City, 1992.
- Igbafe P.A.* Benin in the Pre-colonial Era // Tarikh. 1974. Vol. 5. P. 1–16.
- Igbafe P.A.* Benin under British Administration: The Impact of Colonial Rule on an African Kingdom. 1897–1938. London, 1979.
- Ikime O.* Groundwork of Nigerian History. Ibadan, 1980.
- Isaacs D., and Isaacs E.* Benin: An African Kingdom. The Storybook. Traditional Stories. Warwick, 1994.
- Isichei E.* A History of Nigeria. London etc, 1983.
- Johnson A.W., and Earle T.K.* The Evolution of Human Society: From Foraging Group to Agrarian State. Stanford, 1987.

- Jungwirth M.* Benin in den Jahren 1485–1700. Ein Kultur und Geschichtsbild. Wien, 1968.
- Jungwirth M.* Gedanken zu einer Ethnohistorie des Benin Reiches // Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien. 1968. Bd. 98. S. 67–74.
- Keys D.* Digging in the Dirt // The Independent. 1994, 25th January. P. 13.
- Kochakova N.B.* The Sacred Ruler as the Ideological Centre of an Early State: The Precolonial States of the Bight of Benin Coast // Ideology and the Formation of Early States. Leiden etc, 1996. P. 48–65.
- Macrae Simpson J.* A Political Intelligence Report on the Benin Division of the Benin Province. Pt. III. Unpublished Reports by District Officers. Benin City: Ministry of Local Government, 1936.
- Morgan W.B.* The Influence of European Contacts on the Landscape of Southern Nigeria // Geographical Journal. 1959. Vol. 125. P. 48–64.
- Nevadomsky J.* The Benin Kingdom: Rituals of Kingship and Their Social Meanings // African Study Monographs. 1993. Vol. 14. P. 65–77.
- Obayemi A.* The Yoruba and Edo-speaking Peoples and Their Neighbours Before 1600 // History of West Africa. London, 1976. Vol. I. P. 196–263
- Oliver R.* The Middle Age of African History. London etc, 1967.
- Oliver R., and Fagan B.* Africa in the Iron Age. Cambridge, 1975.
- Omokhodion D.* Cultural Adaptation in West Africa // On West African History. Selected Papers. Marburg, 1986. P. 3–20
- Omoregie O.S.B.* Great Benin. Benin City, 1992–1994. Vol. I–XI.
- Omoruyi A.* Benin Anthology. Benin City, 1981.
- Onokerhoraye A.G.* Urbanism as an Organ of Traditional African Civilization: The Example of Benin, Nigeria // Civilisations. 1975. Vol. 25. P. 294–305.
- Pacheco Pereira D.* Esmeraldo de Situ Orbis. London, 1937 [1505–1508].
- Page P.R.* Benin Arts and Crafts // Farm and Forest. 1944. Vol. 5. P. 166–169.
- Palau Marti M.* Le Roi-dieu au Bénin. Sud Togo, Dahomey, Nigeria occidentale. Paris, 1964.
- Pfeiffer J.E.* The Emergence of Society. A Prehistory of the Establishment. New York etc, 1977
- Read C.N.* Notes on the Form of the Bini Government // Man. 1904. Vol. 4. P. 50–54.

- Roese P.M.* Die Hierarchie des ehemaligen Königreiches Benin aus der Sicht zeitgenössischer europäischer Beobachter // Ethnographisch-Archäologische Zeitschrift. 1988. Bd. 29. S. 47–73.
- Roese P.M.* Benin City. Eine Stadtansicht aus Olfert Dappers Werk «Naukeurige beschrijvinge der Afrikaensche gewesten...» (1668) // Abhandlungen und Berichte des Staatlichen Museums für Völkerkunde Dresden. 1990. Bd. 45. S. 7–40.
- Roese P.M.* Palastbedienstete, Zünfte, Heilkundige, Priester und weitere Gruppen sowie Einzelpersonen mit spezifischen Funktionen im ehemaligen Königreich Benin (Westafrika) // Ethnographisch-Archäologische Zeitschrift. 1993. Bd. 34. S. 436–461.
- Roese P.M., and Rees A.R.* Aspects of Farming and Farm Produce in the History of Benin (West Africa) // Ethnographisch-Archäologische Zeitschrift. 1994. Bd. 35. S. 538–572.
- Roese P.M., and Rose A.C.* Ein Atlas zur Geschichte Benins. Von den Anfängen bis 1897 // Ethnographisch-Archäologische Zeitschrift. 1998. Bd. 39. S. 301–337.
- Roth H.L.* Great Benin: Its Customs, Art and Horrors. Halifax, 1903.
- Ryder A.F.C.* Benin and the Europeans. 1485–1897. London – Harlow, 1969.
- Ryder A.F.C.* De la Volta au Cameroun // Histoire générale de l’Afrique. Paris, 1985. Vol. 4. P. 371–404.
- Service E.R.* Origins of the State and Civilization. The Process of Cultural Evolution. New York, 1975.
- Shaw T.* Nigeria. Its Archaeology and Early History. London, 1978.
- Shaw T.* Archaeological Evidence and Effects of Food-Producing in Nigeria // From Hunters to Farmers: The Causes and Consequences of Food Production in Africa. Berkeley, 1984. P. 152–157.
- Shifford P.A.* Aztecs and Africans: Political Processes in Twenty-two Early States // Early State Dynamics. Leiden etc., 1987. P. 39–54.
- Sidahome J.E.* Stories of the Benin Empire. London – Ibadan, 1964.
- Smith W.* A New Voyage to Guinea. London, 1744.
- Steponaitis V.P.* Location Theory and Complex Chiefdoms: A Mississippian Example // Mississippian Settlement Patterns. New York, 1978. P. 417–453.
- Talbot P.A.* The Peoples of Southern Nigeria. A Sketch of Their History, Ethnology and Languages. London, 1926. Vol. 3.
- Thomas N.W.* Anthropological Report on the Edospeaking Peoples of Nigeria. London, 1910. Pt. 1.
- Ugowe C.O.O.* Benin in World History. Lagos, 1997.

- Uwechue R.* The Awareness of History among Indigenous African Communities // *Présence africaine*. 1970. Vol. 73. P. 143–147.
- Van Nyendael D.* Letter to William Bosman, Dated 1st September // *Bosman W. A New and Accurate Description of the Coast of Guinea Divided into the Gold, the Slave and the Ivory Coast*. London, 1705. P. 423–458
- Weber M.* The Theory of Social and Economic Organization. New York, 1947.

ДРЕВНИЕ МАЙЯ (III–IX вв. н. э.)

Д.Д. Беляев

Изучение доколумбовых культур очень важно для разработки многолинейных и нелинейных моделей социокультурной эволюции. В Америке появление сложных обществ не было связано со Старым Светом, и вся последующая история Нового Света до появления европейцев демонстрирует независимую традицию развития. Среди культур Мезоамерики классического периода (III–X вв.) наиболее хорошо документирована культура майя, прежде всего благодаря обширному корпусу иероглифических надписей и богатому археологическому наследию.

Центральная область майя (низменности майя) – это обширный регион, включающий в себя юг Мексики (штаты Чиапас, Табаско, Кампече и Юкатан), северные департаменты Гватемалы, Белиз и часть Гондураса. По природным условиям это известняковая низменность (90 – 200 метров над уровнем моря), большая часть территории которой покрыта влажной тропической растительностью. Главные реки текут на западе (Усумасинта), юге (Пасьон) и на востоке (Ондо, Белиз и Мотагуа), в то время как центр составляют заболоченные местности и озера.

Центральная область делится на пять основных регионов:

1. Петен, или Центральный регион, включает территорию современного департамента Петен (Гватемала), юг мексиканского штата Кампече и северный и центральный Белиз. Важнейшие городища Петена – Тикаль, Вакактун, Наранхо, Мотуль де Сан Хосе, Йашха, Рио Асуль (Гватемала), Калакмуль (Мексика), Караколь и Альтун-Ха (Белиз).

2. Петешбатун (регион Пасьон) занимает бассейны рек Пасьон и Чишой с городищами Алтар де Сакрифисьос, Дос Пилас, Агуатека, Сейбал, Арройо-де-Пьедра, Тамариндито.

3. Регион Усумасинты (Западный) расположен в среднем и нижнем течении реки Усумасинты и прилегающих районах вдоль современной мексикано-гватемальской границы. Паленке, Тонина, Помона, Пьедрас-Неграс, Йашчилан, Бонампак и Лаканха – самые важные города.

4. Юго-восточный регион включает в себя долину реки Мотагуа (города Копан и Киригуа) и юг Белиза (Пусильха, Нимли-Пунит).

5. Юкатан или Северные низменности (четыре вышеперечисленных региона формируют Южные низменности). Это весь север полуострова Юкатан с множеством различных городов.

Большая часть письменных источников классического периода происходит с юга. Не вызывает сомнений, что в I тыс. н. э. общество Юкатана было не менее развитым, чем в Южных низменностях, однако последние (в особенности Петен) служили своеобразным культурным центром, который оказывал влияние на остальные регионы. Основные черты классической цивилизации майя – иероглифическое письмо, календарь, архитектура, художественные стили – ранее всего получили развитие в Петене и позднее распространились на соседние территории.

Ранние этапы сложения сложного общества у майя стали более или менее ясны только в последние десятилетия. Картина скромного развития была радикально изменена открытием ряда крупных и средних средне- и позднеформативных (X в. до н. э.–I в. н. э.) центров в Петене (Накбе, Эль-Мирадор, Гиро, Эль-Гинталь). Есть сведения об интенсивной эволюции социально-политических институтов на Юкатане (Эц'на, Ц'ибильчальтун, Комчен) и в бассейне Пасьон (Алтар-де-Сакрифисьос, Сейбал). Однако мы до сих пор не располагаем четким региональным контекстом для этих находок, а принципы организации поселенческих систем, которые могли бы позволить реконструировать структуру политий майя этого времени, также неясны. Поздние источники относят основание правящих династий к началу нашей эры, однако они всего лишь приводят царские имена из генеалогической традиции.

Ключевым моментом следует считать появление многочисленных надписей на монументах в III–IV вв. н. э. Хотя иероглифическая письменность была известна в Центральной области по крайней мере с начала нашей эры, преклассические надписи редки и трудночитаемы. «Монументальный бум», по-видимому, знаменовал некие значительные изменения в майяских низменностях и сложение общества классического периода.

Семья и община. Внутриобщинные отношения

Для постпервобытных обществ община может рассматриваться как основная, субстратная социальная единица. Структура общины и внутриобщинные отношения в значительной степени определяют направление эволюции данного социума. Исследование общины у майя классического периода представляет собой одну из наиболее сложных проблем, так как оно основано лишь на археологических данных. Хотя традиционно материалы постклассического периода (900/1000–1530), сохранившиеся в раннеколониальной записи, часто использовались для

реконструкции социальной организации классической эпохи, в настоящее время среди специалистов преобладала тенденция их более осторожного привлечения в силу значительного временного разрыва между двумя эпохами. Тем не менее, постклассические сведения до сих пор составляют значительную часть наших источников.

Используемые ниже данные происходят из различных регионов: центрального Петена, бассейна Пасьон, долины реки Белиз, северного Юкатана и долины реки Мотагуа. Представляется, что подобная выборка достаточно представительно отражает культурное разнообразие низменностей и поможет создать более комплексную картину классического общества майя.

Базовой единицей поселенческой иерархии являлось домохозяйство. Археологически оно отражается как группа построек (как правило, от одной до шести), стоящих на общей платформе или расположенных вокруг патио (небольшого внутреннего дворика). Существуют две разновидности домохозяйств: 1) из одной постройки; 2) из двух – шести построек. В центральной зоне низменностей преобладала вторая разновидность [Rice and Rice 1980: 451; Rice and Pulestone 1981: 149; Tourtellot 1988: 310–311], в то время как в долине Белиза наблюдается противоположная картина [Ford 1991: 38]:

Городище	Отдельные постройки	Группы построек
<i>Центральная зона</i>		
Тикаль (Петен)	26%	74%
Йашха (Петен)	6%	94%
Сейбаль (Пасьон)	15,5%	84,5%
<i>Долина Белиза</i>		
Эль-Пилар	30%	70%
Йашош	65%	35%
Бакаб-На	90%	10%
Бартон-Рамье	95%	5%

Хотя цифры значительно варьируют, очевидно, что в центре области майя (Петен и бассейн Пасьон) одиночные здания более редки, чем в долине Белиза. Вызывают удивление очень контрастные данные из Йашхи и Бартон-Рамье, которые, возможно, отражают местную специфику, например, недостаток земли.

В действительности количество зданий могло быть больше, чем мы наблюдаем. Значительная их часть (от 35 до 50%) возводилась из

легких материалов и не оставила следов на поверхности. Скорее всего они выполняли вспомогательные функции – хранилищ, кухонь и т.п. Что же касается сохранившихся, то это прежде всего жилые и церемониальные постройки.

Жилые дома представляли собой относительно просторные (20–25 кв. м) строения, обычно насчитывавшие две и более комнаты. Рядом с ними часто располагаются маленькие постройки, которые считают кухнями из-за находок зернотерок. Химический анализ почв, проведенный в Кобе (Северный Юкатан), показал, что они действительно очень богаты карбонатами, видимо, вследствие приготовления пищи. Напротив, рядом земля очень богата фосфатами, что отражает потребление пищи. В ходе раскопок были выявлены три кухни и четыре жилых постройки в двух связанных домохозяйствах [Manzanilla and Barba 1990: 42–44].

Эти данные подтверждают идею, что отдельные дома служили резиденциями малых семей, а домохозяйство целиком представляло собой большесемейную общину, состоявшую из 3–4 малых семей. Преобладание этого типа социальных групп в центральной зоне низменностей означает, что в I тыс. н. э. у майя, как и в других архаических и традиционных социумах, базовой социальной единицей была большесемейная община. Однако остается неразрешенной проблема с ситуацией в долине Белиза. Э. Форд предполагает, что большое количество одиночных построек свидетельствует о более простой социально-политической организации в этом районе [Ford 1991: 38]. Однако может ли выделение малой семьи служить признаком более простой организации? Напротив, это подразумевает распад большой семьи, что обычно рассматривается как результат интенсивных социально-экономических процессов.

В трехуровневой схеме поселенческой иерархии, предложенной У. Буллардом [Bullard 1960], 5–12 домохозяйств объединены в так называемые «скопления» площадью 4–9 га. Логически эта категория соответствует общине (деревне в сельской местности и кварталу-*баррио* в составе городов). Однако данные из Тикаля – одного из крупнейших и важнейших городов майя – показывают, что невозможно выделить «скопления» в общей массе городской застройки. В Дос-Пиласе (бассейн Пасьон) домохозяйства распределены по всему городу, не объединяясь в какие-либо группы. В то же время, в долине рек Мопан и Макаль в Белизе наблюдаются скопления «патио-групп» – поселения из 5–20 домохозяйств, которые являются низшим уровнем поселенческой иерархии [Ball and Taschek 1991: 157]. Интересно, что это коррелирует с высоким количеством одиночных построек в соседней долине Белиза.

Может быть, эти периферийные области развивались по-иному? Однако есть и другое возможное объяснение. Г. Туртельло, анализируя типологию построек в СейбALE (бассейн Пасьон), отмечает, что «многорядные» здания, имевшие несколько комнат, «могли легко быть многосемейными, а не односемейными жилищами» [Tourtellot 1988: 356]. В этом случае данные из Белиза действительно могут рассматриваться как свидетельства более простой жизни.

«Скопления» также встречаются в жилой зоне Копана (долина реки Мотагуа, Юго-восточный регион), где они состоят из 3–10 домохозяйств. По-видимому, они представляют собой общины в составе городского центра. Характер этих образований неясен. Большинство археологов считает, что они принадлежали родовым группам, но эти заключения не основаны на анализе генетических данных и поэтому не могут считаться окончательными [Fash 1991: 156–158].

Каждое домохозяйство имело специальное здание, возможно, несшее ритуальные функции. Это небольшие постройки, характеризующиеся отсутствием химических компонентов и относительно богато украшенные. Все исследователи согласны, что это были святилища, посвященные предкам, где проводились ритуалы жертвенного кровопускания. В элитных группах им соответствуют небольшие пирамиды.

Несколько примеров из разных регионов низменностей позволяют говорить, что эти святилища находились под контролем общинных лидеров, которые тем самым контролировали и культ предков как таковой:

1. Коба (Северный Юкатан). Как уже упоминалось, в этом городе были раскопаны два связанных друг с другом домохозяйства (2-14 и 15-37). Они были построены в VII–VIII вв. н. э. одной большой семьей. Сначала появились два жилища, несколько служебных построек и святилище (2-14). Позднее строится соседняя группа (15-37) – два дома. Обе группы были соединены и являлись частично синхронными. Они имели единый вход и использовали схожую керамику. Очень возможно, что строительство второго домохозяйства было результатом роста семьи, когда один из наследников женился. В то же время продолжалось использовать одно святилище, расположенное в старой группе (E12). Две более ранних постройки (E4 и E8) были больше и имели штуковые полы, тогда как поздние (E15 и E32) были беднее [Manzanilla and Barba 1990: 42–44].

2. Копан. Группа 9M-22, исследованная Копанским археологическим проектом в 1981–1984 гг., расположена в жилой зоне Лас-Сепультурас к северо-востоку от Главной группы [Sheehy 1991]. Она занимает промежуточное положение между резиденциями высшей зна-

ти, не принадлежавшей к царскому роду (например, группа 9N-8), и простыми домохозяйствами. 9M-22 состояла из трех патио (A, B и C). Первый из них был самым крупным и важным в 750–900 гг. н. э. и состоял из 17 зданий. Вероятный основатель группы, видимо, жил в патио B. Его наследник построил свое жилище (Зд. 194-B), под полом которого был похоронен его отец, и небольшое святилище (Зд. 197-3), а позже воздвиг в центре площади алтарь, тем самым смеяв фокус лидерства в Патио A. Около 780 г. здесь жили две семьи: моногамная (Зд. 196) и полигамная семья лидера (Зд. 194-B для него самого и Зд. 193-2 для его жен). Глава третьего поколения обитателей группы 9M-22 был очень важной и влиятельной персоной. По-видимому, он получил от царя право воздвигнуть рельефные скульптуры предков и божеств на фасаде своей резиденции (Зд. 195-B). Он очевидно контролировал и патио B, где были найдены аналогичные скульптуры. В этот период большесемейная община состояла из полигамной семьи главы (Зд. 195-B и 193) и трех моногамных с более низким статусом, живших в Зд. 194, 196 и 245 [Sheehy 1991: 4–12]. На гравированной подвеске из святилища (Зд. 197) изображен человек в момент проведения некого ритуала. Скорее всего эта сцена изображает главу общины, почитающего предков, так как он держит в руках змею – элемент, тесно связанный в искусстве классических майя с предками [Sheehy 1991: 10]. Мы полагаем, что группа 9M-22 целиком представляла собой линидж, состоявший из трех больших семей. Семья, жившая в патио A, занимала центральное положение и контролировала культ предков.

Очевидно главенство в большесемейных общинах в классический период принадлежало старейшей семье. Например, в Сейбale самые большие и лучше построенные жилища (тип K) были также и самыми старыми. В Копане (9M-22) жилище основателя рода было украшено штуковыми скульптурами и может быть названа небольшим дворцом [Sheehy 1991: 8–9]. В территориальных общинах лидерство находилось в руках привилегированных семей. В долине рек Мопан и Макаль группы построек, соответствующие общинам, включают в себя более значительные по размерам и архитектуре компаунды («группы с площадками»), в которых части находки престижных артефактов (морские раковины, расписная керамика и др.). Они могут интерпретироваться как резиденции глав общин [Ball and Taschek: 157].

Еще один интересный пример – группа 9N-8 в Копане. Эта самая большая группа во всей зоне Лас-Сепультурас состояла из 10 сегментов (патио), фокусировавшихся в патио A, возникшем еще в VI в. н. э. Не вызывает сомнения, что в 9N-8 жил очень важный знатный род, связанный с царским двором. Представители его старшей линии, жив-

шие в патио А, могли воздвигать монументы с иерогlyphическими надписями, что являлось показателем исключительно высокого статуса. Другие сегменты – патио В, С и Н – были меньше по размерам и, очевидно, принадлежали младшим линиям. Патио D, Е, J и К были самыми простыми и служили жилищами слугам и зависимым людям [Fash 1991: 154, 160–162].

Итак, можно заключить, что большесемейная община майя позднеклассического периода (VII–IX вв.) представляла собой иерархически организованную группу, включавшую от трех до шести малых семей. Они были объединены общим происхождением и культом предков. Доминирующее положение занимали самые старшие семьи, отправлявшие ритуалы в честь предков. Возможно также выделить следующий уровень социальной организации – общин из 5–12 больших семей, хотя мы не уверены в их существовании в центральном регионе области майя (Петен). Там, где они существовали (юго-восток, Белиз) они также были организованы иерархически. Главы общин имели доступ к престижным товарам и их статус приближался статусу мелкой знати.

Миф, история и иерогlyphическая письменность

Развитая система иерогlyphической письменности являлась одним из наивысших достижений культуры майя. Хотя письмо, видимо, было создано еще в I тыс. до н. э. ольмеками, только майя сохранили его на протяжении 2000 лет. В настоящее время корпус майских надписей исчисляет тысячи текстов на монументах и керамических сосудах. Собственно майское письмо появилось во второй половине I тыс. до н. э. в горной Гватемале и, распространившись в начале нашей эры в низменности, сохранилось до XVI в.

Одним из основных типов письменных источников классического периода является эпиграфика. Тексты наносились на каменные или деревянные монументы, которые помещались на центральных площадях или внутри зданий. Все они имели «историческое» содержание и повествовали о действиях майской элиты и в этом смысле представляли собой материализованное величие царских династий. Например, в Пьедрас-Неграс (долина р. Усумасинты) стелы, описывавшие жизнь царей, располагались сериями, каждая из которых соответствовала од-

ному правлению*. Действие было фокусом текста и изображения. «*Он сделал*» или «*Это он, делая*» – основные формулы царских текстов I тыс. н. э.

Особенностью дискурса иероглифических надписей является то, что они написаны от третьего лица: «*Он сделал это*» или «*Это он, делая*», а не «*Я сделал это*» как на Древнем Востоке. По-видимому, писцы майя претендовали на своего рода объективность и создавали «реальный» образ истории. В соответствии с мезоамериканской циклической концепцией времени одни и те же события происходили в одни и те же дни. Таким образом, записать событие означало буквально увековечить его, создать повторяющийся цикл, и наоборот, разрушить запись означало разрушить будущее. Когда в 637 г. царство Наранхо (восточный Петен) потерпело поражение от Караколя (Белиз) и Калакмуля (северный Петен), победители установили иероглифическую лестницу, сообщающую о военных действиях. Спустя пятьдесят лет правитель Наранхо, в свою очередь разгромил Караколь и приказал переставить блоки надписи, чтобы нарушить хронологическую последовательность и изменить историю.

Другой особенностью мезоамериканского понимания времени являлось то, что миф и история сливались воедино. Все мифологические события, включая мировые катастрофы на смене эпох, рождение богов-предков, имели свои точные даты. В Паленке (бассейн Усумасинты) они были органически включены в историю правящей династии. Для майя было очень важно не только связать события настоящего с их мифологическими «прототипами», но и установить между ними точную временную дистанцию.

Фигурой, объединяющей миф и историю, был царь. Согласно идеалу верховный правитель, олицетворявший собой все общество и бывший старшим представителем старшего рода, поддерживал связь между земным и потусторонним мирами, между живущими и их предками. Он был главным лицом в иероглифических текстах, которые описывали его рождение, первый ритуал, первую войну, восхождение на престол и т.д. Имена царевичей, не занявших трон, нам практически неизвестны. Однако идеальный образ царя реализовывался по-разному в разных регионах. В Петене и в бассейне р. Пасьон за редкими исключениями только верховные правители имели право воздвигать офици-

* Этот факт помог американской исследовательнице Т. Прокуряковой определить динамическую хронологию Пьедрас-Неграса, что было одним из важнейших открытий в изучении иероглифических текстов майя [Proskouriakoff 1960; 1963; 1964].

альные монументы. На периферии, где влияние нецарской знати было сильнее, она занимала важное место, особенно в случае узурпации. Уникальная возможность увидеть структуру власти в бассейне р. Усумасинты – результат борьбы за престол в Йашчилане в 742–752 гг. Одержавший победу Йашун-Балам IV вынужден был искать поддержки у областных правителей. Поэтому на своих памятниках Йашун-Балам IV часто появляется в сопровождении спутников-«сахалей».

Традиция «единственного числа» была настолько сильна, что даже на севере Юкатана, где в VIII–X вв. существовали политические образования без верховного правителя (Шк’алумк’ин, Ушмаль, Чич’ен-Ица), соправители перечислялись один за другим. Отсюда структура текста: не «Они (участники 1, 2, 3) сделали это», а «Он (участник 1) сделал это вместе с ним (участник 2) и вместе с ним (участник 3)».

Монументальные царские надписи исчезли в период кризиса классической цивилизации майя в терминальную классическую фазу (830–1000 гг.). Поздние образцы из Майяпана в действительности являются плохими копиями ранних стел. Как полагают некоторые исследователи, кризис был процессом реорганизации общества майя, смены направления и приоритетов развития. Вырастают новые формы социально-экономической и политической организации и эпиграфика, теснейшим образом связанная со старой структурой, замещается кодексами.

Внутренняя организация политий майя классического периода

Основной единицей политической системы в низменностях майя в I тыс. н. э. была небольшая полития (царство), правители которых носили титул *ahaw* (от протомайя **a:xa:w* – «хозяин», «владелец»)*. Их статус обозначался специальным термином *ahawil* (*ahawlel*), или «царство». *Ahaw* было одновременно называнием должности и ранга, и остальные члены правящей династии (сыновья, дочери, братья) также имели на него право. Поэтому позднее, начиная с VI в., титул *k’uhul ahaw* («божественный царь») стал обозначать собственно царя, а *ahaw* превратилось в обозначение знати вообще со значением «владыка». Наследник престола носил титул *ch’ok ahaw* («молодой владыка») [Stuart 1993: 322–332].

* Специфическая форма титулов, включающая в себя названия царств, была названа «иероглифом-эмблемой» гватемальским исследователем немецкого происхождения Генрихом Берлином [Berlin 1958].

По-видимому, согласно «политической концепции» древних майя все царства в идеале считались равными и неприкосновенными. В классический период практически ни одно из них не было насилиственным удалено с политической арены. Некоторые теряли независимость и попадали под власть одного царя, но в этом случае он принимал сложный титул, включающий перечисление всех подвластных территорий. Такие примеры хорошо известны на западе области майя, в бассейне Усумасинты в позднеклассическое время (VII–IX вв.). Царство со столицей в Йашчилане включало *Сиахчан* (собственно Йашчилан) и *Kaax*, царство со столицей в Помона тоже состояло из двух частей (*Пакабуль* и *Pista'*), видимо, аналогичная ситуация сложилась с Пьедрас-Неграс (соединенное царство *Йокиба* и *К'иниля*)*. Царства могли быть однотипны со своими столицами, но это не являлось общим правилом. Перенос столицы не сопровождался изменением названия, как это видно из примеров с парами Бехукаль – Мотуль-де-Сан-Хосе (в Петене) и Трес-Ислас – Мачакила (в бассейне Пасьон). Когда отпрыски династии Тикаля в начале VII в. бежали на юг и основали новую столицу Дос-Пилас (*Чанха'*), они сохранили титул «священный царь *Mutuля*» и использовали его на протяжении всей своей истории.

Внутренняя структура царств классического периода далека от ясности. Наиболее интересные письменные данные происходят из бассейна Усумасинты, в то время как тщательные археологические исследования были проведены на востоке области майя.

Целый ряд эпиграфических работ в 60–80-е годы позволили определить, что регион Усумасинты был поделен между несколькими царствами, которые иногда объединялись в слабые гегемонии, но по большей части были независимы [Proskouriakoff 1960; 1963; 1964; Mathews 1980; 1991; 1997; Schele 1991; см. обзор в Culbert 1988]. Поздняя традиция относила основание правящих династий к IV–V вв. н. э., но первые надписи и монументальная архитектура относятся только к VI–VII вв. Основная особенность местных письменных источников – чрезвычайное внимание к нецарской знати, особенно к тем, кто назывался *сахаль* [Mathews and Schele 1991; Stuart 1993: 329–332]. Этот титул, видимо, происходит от прилагательного *sah* («маленький»). На двух панелях неизвестного происхождения, находящихся в частной

* Настоящие названия древних городов и царств майя становятся известны лишь сейчас. Археологи традиционно используют условные названия городищ (Йашчилан, Тикаль, Копан, Паленке), изобретенные или данные по названию близлежащих населенных пунктов. В настоящей статье названия, соответствующие древним именам выделены курсивом.

коллекции, он заменяется близким титулом *sah xib* – «маленький человек». Сахали действуют практически как верховные цари – они восходят на трон, проводят ритуалы, воюют и т.д. Мы знаем о восьми «восседаниях» или «вхождениях» в *сахалиль* («сахальство»): 1) Эль Кайо (689, 729, 764 и 772 г.) и неизвестный город в царстве Пьедрас-Неграс; 2) Лаштунич (786 г.) в царстве Йашчилана; 3) Лаканха (743 г.) в царстве Бонампак’а. Титул часто используется в посессивной конструкции *’i-sahal* («его *сахаль*»). Функции *сахала* были точной копией царских, но в уменьшенном масштабе. Ясно, что это были подчиненные «провинциальные» правители, некоторые из них воздвигали собственные монументы. Несколько женщин из семей *сахалей* стали женами царей. В надписях также упоминаются титулы *baah sahal* («главный *сахаль*») и *ch’ok sahal* («юный *сахаль*»), но суть этих различий ясна не до конца [Stuart 1993: 328–332].

Должность провинциальных владетелей могла передаваться по наследству. Такие династии существовали в Эль Кайо (около 650–729 г. и 764 – около 800 г.) и Лаканха (ок. 730 – ок. 760 г.). Какова была в данном случае степень контроля верховного правителя? С. Хаустон предположил, что происходила их одновременная смена, которая могла быть приурочена к очередному воцарению. Кроме того, эти посты не были пожизненными. Например, в Эль Кайо владетель Чаак Тун умер через 4 года после того, как занял должность его преемник [Chinchilla, Houston 1992: 66–68].

Сахаль классического периода напоминает *батаба* – правителя на постклассическом Юкатане, но между ними есть существенная разница. Если для поздней системы правомерно говорить, что *батаб* был ключевой фигурой, то для классического периода это полностью неприемлемо. Здесь титул и пост областного правителя не существовал отдельно, он всегда связан со «священным царем». Думается, что этот институт был в значительной мере искусственен для политической организации древних майя. Он появился лишь в позднеклассическое время, частично вытеснив многочисленных «вассалов» более раннего периода и изменил структуру власти. Отражением этих процессов могут служить данные раннеклассической «хроники» – надписи на Притолоках 60, 49, 37 и 35 из Йашчилана [СМН 3: 103, 105, 107; Tate 1992: 170]. В ней упомянуты наиболее важные победы и пленники местных владык. Первые семь царей (320 – ок. 470 г.) воевали непосредственно с правителями, восьмой, девятый и десятый – с их вассалами, названными *i-yahawte’* (видимо, «человек из рода»). Никто в этом вписке не назван *сахаль*. Они начинают упоминаться с VII в. В данном примере

очевидна замена фактически независимых вассалов на контролируемых областных правителей.

В VII–VIII вв. царства долины Усумасинты состояли из нескольких «областей» во главе с правителями второго ранга. В Йашчиленском царстве сер. VIII в. можно выделить 4 таких единицы: Чикосапоте, Лаштунич, Ла-Пасадита и Дос-Каобас. Все они располагались в пределах 10–20 км от Йашчила, соответственно на площади в 700–900 кв. км. Пьедрас-Неграс состоял из пяти или шести «сахальств», из которых хорошо известно только Эль-Кайо. Кроме того, Пьедрас-Неграсу подчинялись некоторые мелкие владения, например, *Пе'тун* (Ла-Мар). Правители последнего назывались «царями», и, возможно, принадлежали к боковой ветви основной династии. К сожалению письменные источники не упоминают более низких уровней системы власти.

Раскопки в долине реки Белиз [Ball and Taschek 1991; Ford 1991] выявили несколько районов площадью 150–300 кв. км каждый со сложной поселенческой и социально-экономической структурой. Поэтому в отношении поселенческой иерархии и социально-политической организации долина рек Мопан и Макаль является наиболее хорошо документированной областью [Ball and Taschek 1991].

Группа маундов – самый нижний элемент иерархии – состоит из 5–20 домохозяйств и, видимо, соответствует общине. Как правило, она включает в себя резиденции общинных лидеров (*группы с площадками*). Ассоциированные артефакты (керамика, морские раковины и др.) указывают на более высокий статус их обитателей по сравнению с остальными общинниками.

Группа с площадью – следующий уровень – отличается размерами и более богатой архитектурой. Может встречаться как в сельской местности, так и в составе городов. Доступ в них ограничен, погребальная практика фактически идентична с общинной, хотя демонстрирует больше престижных материалов.

Административно-жилой центр – изолированный дворцовый или акропольный комплекс, расположенный в сельской местности. Авторы характеризуют его как архитектурно и пространственно замкнутый, сочетающий «социоцеремониальную, погребальную и посвятительную активность» с основной функцией «резиденции элиты в сельской местности» [Ball and Taschek 1991: 151]. Здесь проживало и обслуживающее зависимое население, но значимый «пригород» отсутствовал. Центр области в долине Мопана – Макаля Буэнависта дель Кайо – представляется настоящим многофункциональным городским центром (*регально-ритуальный центр*). Около 7% его общей площади было

отведено ремесленной деятельности, включая элитарное парадное и бытовое городское производство. В двух последних типах поселений отмечаются специальные здания с возможными административно-организационными функциями [Ball and Taschek 1991: 150–157].

Схожую картину демонстрируют и соседние области – Эль Пилар, Бэкинг Пот, Пакбитун, Лас Руинас де Ареналь [Ball and Taschek 1991: 150–157]. Скорее всего это были территориальные, а не политические единицы, и некоторые из них входили в состав царства *Сааль* (Наранхо), как свидетельствуют надписи на полихромных вазах, найденных в одном из погребений в Буэнависте. Наранхо было одним из влиятельных царств Петена в позднеклассическое время (VII–нач. IX в.). Кроме речных долин в Белизе, оно включало земли на север до р. Хольмуль, которые управлялись царскими родичами из Хольмуля – центра, сравнимого с Буэнавистой по размерам и уровню сложности. Наранхо, Хольмуль и Буэнависта входят в единую керамическую группу. Каждый из них демонстрирует собственную «дворцовую» школу, но в пределах общей традиции. Похоже, что на востоке Петена подчиненные владетели не имели права воздвигать свои монументы, а их связи с верховным правителем отражаются только в полихромной керамике [Ball 1993: 249–252].

Социально-экономическая структура царства Наранхо была достаточно сложной и своеобразной. Сходство находок в *группах с площадками* и *группах с площадьми* показывает, что общинная верхушка и второстепенная элита были очень близки по своему положению. Например, такой «престижный» материал как обсидиан в области Эль Пилара встречается в 56% всех домохозяйств, а в долине реки этот показатель еще выше – 78%. Элита продолжала контролировать торговлю и обработку обсидиана: специализированный комплекс по обработке камня Эль Латон был расположен в 4,5 км к югу от Эль Пилар и был связан с элитной резиденцией. Напротив, модель производства кремневых орудий очень децентрализована. Найдены неоконченных ядер и молотов наиболее часты в полосе холмов, где очень редки постройки дворцового типа. Видимо они производились на домашнем уровне мастерами, не занятыми в ремесле полностью [Ford 1991: 37, 42]. Аналогичная картина наблюдается и в керамической индустрии – все специализированные мастерские существовали только в крупных центрах и были связаны с изготовлением парадной полихромной посуды для нужд элиты. В быту остального общества использовалась керамика, производимая в общинах [Ball 1991: 258–266]. Все эти данные соответствуют построенной Пруденс Райс [Rice 1987] модели децентрализованной системы, где центральная власть контролирует лишь «престижный»

сектор экономики. В «бытовом» секторе не было профессиональных ремесленников, организованных поквартально или иерархического распределения продукции. Главная роль исполнялась, очевидно, местным обменом и сетями родственных связей [Rice 1987: 76–80].

Таким образом, на востоке Центральной области майя выделяется крупное политическое объединение с центром в Наранхо, состоявшее из 6–7 «областей» общей площадью около 1500–2000 кв. км. В нем выделяется пятичленная иерархия поселений с тремя «центральными поселениями» между столицей и локальными общинами. По-видимому, по крайней мере два элемента этой иерархии – регально-жилые центры и группы с площадями – не связаны с «естественным» возрастанием сложности политической организации. Группы с площадями не имеют достаточно места, чтобы вместить окрестное население во время ритуальных праздников, и вся их церемониальная архитектура предназначена для отправления культа предков только одной большой семьи. Следовательно, они никак не могли быть ритуально-политическим центром округи, а выполняли исключительно административные функции.

Территориальные объединения в долине Белиза больше всего походят на «натуральные» простые вождества. Мы видим эволюцию Наранхо от такого вождества через объединение соседних областей в середине VI в. (сложное вождество) к раннему государству. Свидетельство сложной социально-политической организации – это первые иероглифические надписи и сооружение нового акропольного комплекса. В начале новое образование выступило как вассал Калакмуля в его борьбе с Тикалем, а в 590–630 гг. – уже как новый претендент на гегемонию в Петене. В это время была создана новая династическая история, высеченная на Алтаре 1 [СМН 2: 86–87]. Официальным предком царского линиджа был провозглашен Ик'-Миин – мифическое существо, которое спустилось с небес в легендарные времена многотысячелетней давности. Один из его преемников в 259 г. до н. э. основал Наранхо. Все эти изменения были проведены вовремя долгого правления Ах-Восаля (конец VI в.). Новая «историческая концепция» была подчеркнута двойной генеалогической традицией: этот царь именуется одновременно 9-м и 35-м наследником основателя династии. После поражения в войне с Караколем и Калакмулем (626–637 гг.) вожди долины Белиза, видимо, вернули свою независимость, и в Буэнависте и Лас Руинас наблюдается временный локальный расцвет. Возрождение Наранхо в конце VII в. сопровождалось расширением его территории и установлением новой политико-административной иерархии.

Сравнивая Петен, где было расположено большинство древнейших городов майя, с бассейном Усумасинты, можно сделать вывод,

что здесь титул *сахаль* был практически неизвестен. В одном случае он упоминается в сцене уплаты дани правителю из Мотуль-де-Сан-Хосе. Мы не знаем, была ли эта должность наследственной или нет. Во второстепенных центрах редко встречаются монументальные надписи, и они относятся либо к началу классической эпохи (IV–V вв.), либо к терминальной фазе (кон. VIII–IX вв.). Очевидно, влияние знати на политическую жизнь в Петене было меньшим по сравнению с западным регионом.

Эпиграфика дает ряд косвенных данных о структуре политий центрального Петена. Если областные правители не были царскими родственниками, то они просто назывались «человек из». Исключительный интерес представляет титул *ho' pet Oxhabte bakab* («правитель пяти частей *Oxhabte'*»), засвидетельствованный для Рио-Асуль (северо-запад Петена). Слово *pet* («часть», «круг») иногда встречается в надписях Тикаля и Наранхо. Возможно, так назывались «округа», соответствовавшие районам Белиза. В северной части Петена, находившейся под главенством Калакмуля, сложилась иная модель. В частности, надписи неизвестного города в промежуток с 625 по 668 г. упоминают четырех человек, которые «восседают на царство», но не названы собственно царями: Сак-Ма'ас (625–655), К'ук'-Ахай (655–658), Чак-Наб-Ча'ан (658–667) и К'инич-Йохель (с 667 г.). Трое из них – Сак Ма'ас, Чак-Наб-Ча'ан и К'инич-Йохель – составляли династию, но К'ук'-Ахай, правивший между первым и вторым, не был им родственником. К'инич-Йохель прежде, чем наследовать отцу, провел почти четыре года при царском дворе в Калакмуле. По всей видимости, перед нами члены царской династии Калакмуля, управлявшие подчиненной областью.*

С точки зрения археологии центры второго ранга («малые центры» или «городки») в Петене очень различны. Они варьируются от значительных по размерам городищ с несколькими архитектурными группами и иерогlyphическими монументами до скромных поселений, состоявших из скромного церемониально-административного ядра и окружающих его жилых районов. Это, видимо, было обусловлено географическим положением, историей и отношениями того или иного города с центральной властью. Обычно центры второго ранга могут быть определены исходя из небольшого количества надписей или нали-

* Город, откуда происходят данные тексты, недавно был отождествлен с городищем Ла-Корона (Северная Гватемала).

чия только гладких стел **, а также по относительно бедной архитектуре. Безусловно, лучшими свидетельствами являются упоминания в источниках верховных царей, но они редки. Нам известно множество археологических городищ второго ранга в центральном Петене, и мы имеем целый ряд названий мелких областей, однако пока не можем связать эти данные воедино.

Подводя итоги, можно констатировать, что политии центрального Петена отличались от таковых бассейна Усумасинты. Местная элита не была столь значима и не имела таких прерогатив, как в западном регионе. Ясно, что уровень централизации социально-политической организации в Петене был выше и цари обладали большей властью.

Одним из наиболее часто употребляемых титулов в классический период был *ax-k'uhu'un* или *ak'uhu'un*. Ранее он читался *ax-ch'ulna'* – «придворный» [Houston 1993], но позднее чтение было изменено на *ax-k'uhu'un* («писец»; буквально «человек священных книг») или *ak'uhun* («посланник»; от *ax-ak'uhu'un* – «тот, кто вручает его бумагу»). Исследования последних лет показали, что носители этого титула выполняли различные функции, в основном относящиеся к дворцовой жизни и административной деятельности [Lacadena 1996; Barrales 1999]. Судя по изображениям на парадных расписных сосудах, они служили писцами при царе внутри дворца и при приеме даров и дани. В эпиграфике они упоминаются как военачальники, слуги правителя и т.д. Как явствует из надписей Паленке (бассейн Усумасинты) *сахали* также могли иметь своих «посланников». Женщины могли носить этот титул, однако никогда не были заняты в какой-либо сфере, связанной с рангом *ak'uhuna* (Barrales 1999).

Все эти данные свидетельствуют о том, что категория *ak'uhu'un* / *ax-k'uhu'un* составляла в классический период основной корпус администрации. Это был общий термин для всех должностных лиц, без различия между дворцовыми и центральными управлением. Неизвестно, существовала ли среди них специализация, что, впрочем, сомнительно. Все упоминания этого института датируются позднеклассическим временем (VII–IX вв.), но 300 лет это слишком мало, чтобы развилась полноценная управленческая специализация. В надписях встречаются и другие титулы, связанные, главным образом, с двором: *ti'-xu'un* («хранитель повязки», то есть царской короны), *ÿahay-k'ak'* («владыка огня»,

** Гладкие стелы без рельефа или надписей встречаются и в городах-столицах. Некоторые исследователи полагают, что тексты на них могли быть нарисованы [Гуляев 1979: 132–133].

титул, связанный с войной), *ax-ц'иб* («писец»), *ax-уицуль* («скульптор») и др. При анализе административной и дворцовой иерархии в майских царствах низменностей важно проводить различение между титулами должности, ранга и профессий. *Ак'уху'ун / ах-к'уху'ун* было назначением должности и ранга, *ти'-ху'ун* и *йахау-к'ак'* были должностями, а *ах-ц'иб* и *ах-уицуль* – профессиями. Это отличие можно проследить по использованию посессивных форм.

Согласно изображениям и письменным данным, разные группы знати имели разные показатели статуса. Основным из них служил головной убор, а занятие должности описывалось как *k'alah hun tuba'* («была повязана повязка на его чело»). Царские уборы назывались *сакху'ун* («белая повязка») и часто имели изображения богов или предков. «Владыка огня» *йахау-к'ак'* носил *к'ак'ху'ун* («огненную повязку»). Простые чиновники носили тюрбаны, сделанные из полосы хлопковой ткани, которые можно определить по специфической черте – кисточкам и сложенной гармошкой бумаге для записей, заткнутых за тюрбан.

Сведения, касающиеся дани в классическом обществе майя, немногочисленны и разбросаны по различным надписям. Существовал титул *ах-тейуб* («человек дани»), что указывает на наличие какого-то специального института, но в сцене принесения дани этот человек изображен в головном уборе *ак'уху'уна*. Термины, связанные с данью, включают *ikaats* или *ikits* («ноша»), *yubte* («связки или хлопковые ткани для дани»), *tohol* («цена»), *patan* (собственно «дань») [Stuart 1995: 352–393], но их конкретное экономическое содержание пока неизвестно. Тем не менее ясно, что эти функции также осуществлялись должностными лицами из числа дворцово-административной иерархии.

Отношения между политиями, гегемонии и территориальные царства

С самого начала изучения майской эпиграфики было ясно, что политии классического периода не развивались в изоляции, а находились внутри сложной сети политического и культурного взаимодействия.

На протяжении долгого времени были распространены две модели политической организации майя I тыс. н. э. Согласно первой, в низменностях существовало несколько крупных региональных государств с административной иерархией из трех уровней. Эта точка зрения была основана главным образом на археологических данных и на «условном чтении» иероглифических надписей [Marcus 1976; 1993; Adams and Jones 1981]. В наиболее разработанном виде она представлена в недавней работе Джойс Маркус. Автор призывает создать «модель,

основанную на представлениях самих майя» [Marcus 1993: 116], однако, по нашему мнению, делает две фундаментальные ошибки. Во-первых, она автоматически идентифицирует расцвет политической организации с централизованным объединением значительных размеров, а, во-вторых, использует в качестве образца ситуацию непосредственно перед европейским завоеванием, в то время как подобные реконструкции должны основываться прежде всего на информации письменных источников классического периода.

Другое мнение было впервые аргументировано изложено Питером Мэтьюзом [синтез см.: Mathews 1991] и затем поддержано другими историками и археологами. Согласно этой модели, низменности майя были поделены между несколькими десятками политий, иногда объединявшихся в недолговременные иерархии [см. Sabloff 1986; Culbert 1988; Houston 1993; Stuart 1993]. В таких случаях вассальные правители сохраняли свою независимость, что отражается в использовании «иероглифов-эмблем». Их подчинение царю-гегемону носит характер личных связей, и термин *йахау* («его царь», то есть вассал) описывает отношения между двумя индивидуумами, а не между политическими структурами. Например, в надписи на Стеле 2 из Арройо-де-Пьедра (бассейн р. Пасьон) местный правитель назван *йахау* умершего царя соседнего Дос-Пиласа. Типичные гегемонии такого типа существовали в бассейне р. Усумасинты. Иллюстрацией может служить расцвет царства *По'* (Тонина) в начале VIII в. В 711 г. царь Паленке К'ан-Хой-Читам II был захвачен в плен, и, видимо, принесен в жертву. Его строительные проекты были закончены вельможей, не принадлежавшей к правящей династии, а наследник престола Акаль-Мо'-Наб III стал царем лишь в 722 г. В 715 г. царь *Ак'e* называет себя «вассалом» К'инич-Бакналь-Чаака, «божественного царя *По'*». Однако к середине 20-х годов VIII в. упоминания о доминировании Тонины в надписях западного региона исчезают. На пике своей экспансии Тонина на 12 лет подчинила соседний Паленке и контролировала территорию вплоть до Усумасинты (около 100 км на восток).*

Эти взгляды претерпели значительные изменения в результате работ Саймона Мартина и Николая Грюбе, которые продемонстрировали, что в IV–VII вв. все Южные низменности майя были связаны сложной системой иерархических отношений. В настоящее время эпицентром политической истории классического периода считается борьба

* Автор ранее также поддерживал эту точку зрения на политическую организацию майя [см.: Beliaev 1998; Беляев 2000].

крупнейших царств за гегемонию в майяском мире [Grube 1996; Martin and Grube 1995; 1998; 2000].

Первое политическое объединение больших размеров в низменностях майя засвидетельствовано для начала классического периода. Оно располагалось в центральной части Петена. Ранее считалось, что оно было создано Тикалем, который в 378 г. завоевал Вашактун, а впоследствии подчинил соседние пetenские политии [Schele and Freidel 1991: 130–164; Sharer 1994: 185–191], однако сейчас представляется более вероятным, что Тикаль изначально был не центром, а одной из составных частей [Stuart 2000].

Создание пetenской «гегемонии» сопровождалось династическими переменами. Под 378 г. иероглифические надписи сообщают, что старая Тикальская династия была насильно свергнута, и власть захватила новая группа элиты, которая принесла новую идеологию, новый иконографический стиль, и почитала божество теотиуаканского происхождения.^{**} Один из пришельцев Сийах-К'ак' стал верховным правителем Петена с титулом *каломте*.^{***} Центральномексиканске связи новой династии дают основания считать ее чужеземной. Д. Стюарт, Н. Грюбе и С. Мартин полагают, что она происходила прямиком из Теотиуакана. Согласно их интерпретации, Сийах-К'ак' был военачальником и родичем теотиуаканского царя (известного под майяским именем Хац'ом-Кух, 374–439 гг.), который завоевал Петен. Йаш-Нун-Айин I, сын Хац'ом-Куха был посажен на престол Тикаля под опекой старшего родственника. Его преемники приняли титул *оч'ин каломте* («западный гегемон»), подчеркивая свое «мексиканское происхождение [Stuart 2000; Martin and Grube 2000: 29–33].

Эта точка зрения не является общепринятой и вызвала критику некоторых исследователей. «Прибытие чужеземцев» выглядит слишком похоже на вариант общемезоамериканского мифа о странствиях. В текстах, описывающих события конца IV в. н. э., основным участником событий выступает Вашаклахун-Убаах-Чан («Змей с восемнадцатью ликами»), который отождествляется с важным теотиуаканским божеством (так называемым «Мозаичным Змеем»). Вашаклахун-Убаах-Чан был патроном пришельцев и давал им сакральную власть. Соглашаясь, что необходимо с большей осторожностью воспринимать такого рода

^{**} Это событие ранее считалось упоминанием о войне между Тикалем и Вашактуном.

^{***} Этот важный титул до сих пор не имеет адекватного перевода. Ясно его значение («гегемон», «верховный царь»), но происхождение остается загадкой. Возможно, оно связано с *kal* («топор», «скипетр»; «расчищать поле»?).

информацию древних текстов (см.: Boot 2000), я полагаю тем не менее, что этот вопрос подымает важную проблему роли внешнего влияния в формировании сложной социально-политической организации у майя.

К 200–100 гг. до н. э. в Центральной Мексике уже существовали развитые государственные общества. Отношения с Теотиуаканом, например, способствовали интенсификации социально-политической эволюции в Каминальхуйу в горной Гватемале [Sanders and Michels 1977]. В Центральной области майя теотиуакансое влияние прослеживается гораздо ранее 378 г., однако массовое распространение новых художественного стиля и идеологии начинается только с этого времени. Можно предположить, что правители Центрального Петена использовали этот комплекс для укрепления своей власти и ослабления влияния общинных институтов. Даже если Тикаль подчинил Вашактун до утверждения «мексиканской» династии, развитие сложных форм социально-политической организации получило новый сильный импульс. Возможно, «прибытие чужеземцев» было аналогом «эпоса миграций». П. Белков обратил внимание на этот интересный феномен когда владельческие лица в традиционных обществах создают ситуацию «предвзятой зависимости», и, теряя часть атрибутов власти, приобретают новый, более высокий статус [Белков 1996: 66–71].

Первый верховный правитель Петена Сийах-К’ак’ (378–402?), видимо, обосновался в Вашактуне, а остальные цари были его вассалами. Его сменил Йаш-Нун-Айин I, который правил до 420 г. и оставил своего сына Сийах-Чан-К’авиля II царем Тикаля. Когда тот, в свою очередь, стал *каломте* (426 г.), он объединил оба титула трансформировав, таким образом, пetenскую «гегемонию» в Тикальскую державу. В правление Сийах-Чан-К’авиля II и его преемников (402 – ок. 500 гг.) Тикаль стал самым важным политическим центром Южных низменностей, и его власть признавалась вплоть до Копана. В это время применительно к владыкам Тикаля начинает применяться эпитет *к’ухуль ахай* («божественный царь»), а титул *очк’ин каломте* становится обозначением наивысшей позиции в майяском мире. Для контроля над подвластными территориями «западные гегемоны» использовали различные методы, включавшие междинастические браки, визиты, а также передавая управление отдельными владениями своим сыновьям. Точные пределы автономии зависимых правителей неизвестны, хотя официально *йахай* восходил на престол по повелению сузерена. Некоторые вассальные цари могли смещаться, как это произошло в Копане около 530 г. Проявления непокорности подавлялись силой.

Север Петена, по-видимому, развивался отдельно. Другой древний город – Калакмуль – был доминирующим центром, который не

имел явно выраженных теотиуаканских черт и оставался в рамках майской традиции. В 562 г. Калакмуль в союзе с бывшим вассалом Тикаля Йахауте-К'иничем из Караколя (Белиз) нанес Тикалю поражение и сверг «мексиканскую» династию. Это вызвало 80-летний упадок, когда не воздвигались монументы, а строительная активность снизилась. Было бы заманчиво видеть в этих событиях отражение борьбы «майской традиции» с «теотиуаканской», однако в реальности к VI в. подобные различия исчезли. Калакмульская держава существовала около 130 лет (562–695 гг.) и контролировала практически все Южные низменности, за исключением, может быть, Юго-восточной зоны (Копан) и крайнего запада (Паленке). Мы не имеем данных для Северного Юкатана, но два царства в центре полуострова признавали власть Калакмуля в середине VI в. Неизвестно, изменилась ли структура этого политического объединения по сравнению в предшествующей эпохой. Калакмульские цари восприняли весь набор методов, применявшихся их предшественниками: визиты, браки, походы и т.д. Слабостью системы можно объяснить, почему они вынуждены были вести долгие войны с относительно незначительными царствами – Паленке (599–611 г.) и Наранхо (626–631 г.). В Центральном Петене они пользовались поддержкой правителей Караколя, которые служили своего рода наместниками в этой области.

Тикаль восстановил свои позиции к 40-м годам VII в. и начал новый цикл борьбы. В этот период основными помощниками Калакмуля являлись цари, бежавшие из Петена на юг и основавшие новое царство *Мутуль** со столицей в Дос-Пилас у озера Петешбатун. Этот конфликт из-за продолжительности и масштабов может быть с полным основанием назван «Майской мировой войной». Серия войн длилась 50 лет (ок. 645–695 г.) и практически все основные царства из всех регионов приняли в ней активное участие. Хотя Тикаль дважды (в 657 и 679 гг.) терпел чувствительные поражения, в конце концов удача оказалась на его стороне и Калакмульская держава распалась. Это стало концом эпохи держав. Видимо, сама концепция существования «царя царей» оказалась дискредитированной. Во-первых, титул *очк'ин каломте* потерял прежний смысл «западный (чужеземный) повелитель» и стал означать «повелитель запада». В этом значении он был воспринят в регионе Усумасинты и часто использовался в Йашчилане. Такое переосмысление, по аналогии с «западным повелителем», привело к появлению «восточного» *лак'ин каломте* в Ламанае (Белиз) и «северного»

* *Мутуль* (видимо, «Место, где много птиц») было древним названием Тикальского царства.

наль каломте в Ошк'инток'е (Северный Юкатан). Цари Копана, ранее также претендовавшие на чужеземное происхождение, стали называться *нохоль каломте* («южный повелитель»). Во-вторых, прежде периферийные царства официально признаются независимыми и принимают активное участие в политической борьбе. Царь Паленке, поддержавший Тикаль, не упоминает о каком-либо вассалитете. Царь Дос-Пиласа в начале своей карьеры был *йахая* Калакмульского владыки, но после победы над Тикалем в 679 г. их статус становится равным. VIII в. кажется временем регионализации. Это было отчетливо выражено историками в Копане, которые под 731 г. упоминают «четыре неба» или «четырех наивысших»: царей Копана, Тикаля, Калакмуля и Паленке.

Анализ структуры Тикальской и Калакмульской держав чрезвычайно затруднен. Они охватывали большую территорию – практически все Южные низменности – и включали несколько десятков зависимых политий. В то же время это были аморфные образования, и иногда вассальные цари воевали друг с другом. Термины, встречающиеся в иерогlyphических надписях, не проясняют ситуацию. Например, одна и та же фраза *u-chabhiy* («он повелел это») используется для описания совершенно различных действий: воздвижения монументов, завоеваний или захвата противников и санкционирования занятия должностей. В Западном регионе, как мы можем предположить, различие между титулами *сахаль* и *йахая* соответствовало различию между областным правителем и вассалом, однако в Петене политическая иерархия состояла только из *йахая*. Тем не менее, мне кажется, что тщательно изучая эпиграфику, мы можем лучше понять процессы, происходившие в Южных низменностях в VIII в. В качестве примера может служить Центральный Петен.

После 700 г. главной силой в регионе являлся Тикаль. Единственным значительным соперником было царство Наранхо, тесно связанное с Калакмulem и Дос-Пиласом. Борьба велась за мелкие царства вокруг озер Петен-Ица, Йашха и Сакнаб, и к 715 г. Наранхо оккупировало некоторые из них, включая Йашха, которое было самым большим. Царь Йашха был вынужден бежать, а победители открыли царские погребения и выбросили их содержимое в озеро. Для укрепления своей власти царь Наранхо взял в жены женщину из другого небольшого государства, создавая тем самым систему зависимых владений, которые могли надежно контролироваться. Тикаль сохранил сильные позиции на севере и северо-востоке, держа под контролем такие важные центры как Шульпун, Рио-Асуль, и ряд более мелких городов. Важно отметить, что Шульпун и Рио-Асуль были царствами, но все данные говорят о том, что они не были независимы. Вплоть до 771–780 гг. вокруг Тикаля воз-

двигается очень мало монументов с надписями, в то время как в самом городе на это время приходится расцвет монументальной скульптуры [см.: Culbert 1991: 137]. Частые брачные союзы были двух типов. Во-первых, местные династии получали в жены царевен, как это было в случае с изгнанным правителем Йашха. Во-вторых, сами верховные цари и их родичи женились на девушках из подвластных городов. Эта традиция, может быть, уходит корнями в раннеклассическое время, но не потеряла своего значения. Например, Сакпетен (около озера Петен-Ица) в середине VIII в. управлялся сыном *каломте* и представительницы местного правящего рода. Особый интерес представляет Вашактун. В раннеклассическую fazу (III–VI вв.) он обладал всеми индикаторами центра первого ранга (стелы с надписями, монументальное строительство и т.д.). В позднеклассическом Вашактуне основные постройки – дворцы, а не храмы [Culbert 1991: 137]. Известно, что правитель, живший в начале VIII в., был сыном «человека из Мутуля», даже не царя [СМН 5: 166]. В 744–748 гг. Наанхо потерпело поражение, что привело к распаду этого царства. Его владыки не восстановили свои позиции до 770–775 гг., в то время как контроль Тикаля за Йашха и другими озерными владениями укрепился.

В период своих побед царь Наанхо Тилив-Чан-Чаак (693–ок. 730) включил в свою титулатуру эпитет *Вук-Цук* («Семь Частей» – видимо, название Восточного Петена), претендую на роль повелителя всего региона [см.: Beliaev 2000]. Его соперник в Тикале Хасав-Чан-К'авиль восстановил титул *каломте*, претендую на то, что только он и его наследники являются подлинными *каломте*. Новым моментом было введение специального обозначения *каломтель* для этого нового, более высокого уровня в политической иерархии. Ранее такого термина не существовало. Другим показателем служит то, что в Центральном Петене только царь Тикаля именовался «божественным», в то время как в других регионах это был общий титул для всех царств независимо от величины.

Формально различий между механизмами интеграции на региональном и надрегиональном уровнях не было. Однако очевидно, что управлять соседними городами было легче, чем расположенными на другом краю Южных низменностей. Это способствовало эволюции региональных систем политий в единые государства. Была существенная разница в положении Мотуль-де-Сан-Хосе, также находившимся недалеко от Тикаля, и Йашха или Шультуна. Хотя иногда Мотуль-де-Сан-Хосе признавал гегемонию своего могущественного соседа, его правители имели статус «божественных царей» и даже носили титул *каломте*. Я полагаю, что в позднеклассическую fazу у майя сложились

региональные государства, объединявшие различные царства. Они возникли в Петене (Тик, Наранхо, Калакмуль) и в бассейне р. Пасьон (Дос-Пилас). На Усумасинте подобных образований не было, и регион состоял из небольших царств, постоянно боровшихся друг с другом.

Суммируя сказанное, можно сделать вывод, что политии майя классического периода представляют тот вариант социо-политической и культурной эволюции, который в глазах большинства антропологов является обычным: община – простое вождество – сложное вождество – раннее государство. В качестве основных индикаторов трансформаций мы видим иероглифическую письменность и монументальную архитектуру. Их появление знаменует переход к вождеству, а институализация сопровождает утверждение раннегосударственной организации. Согласно письменным и археологическим данным, этот процесс шел у майя как в долине Оахаки: консолидация и централизация власти началась на верхних уровнях социокультурной системы и затем распространилась на нижние уровни [Ковалевски, Николас, Финстен и др. 1995: 133].

Под ранним государством мы подразумеваем один из вариантов сложной социально-политической организации, который не обязательно ведет к зрелому государству. Скорее они являются двумя родственными, но различными социально-политическими и культурными формами, фундаментальное различие между которыми лежит в соотношении территориальных и родственных связей. Эта интерпретация основана на идеях Классена и ван де Вельде [Claessen and Van de Velde 1987] и Бондаренко [1997: 13–14]. У майя раннее государство характеризуется: 1) сложным центральным политико-административным аппаратом; 2) сложной социальной стратификацией; 3) идеологией, постулировавшей божественное происхождение царских династий и высшей знати; 4) контролем элиты над добычей, обменом, обработкой и распределением престижных материалов; 5) преобладанием в остальных секторах социально-экономической подсистемы родовых групп.

Политический ландшафт Центральной области майя не был однородным. Политическая иерархия в небольших политиях была представлена царем, который одновременно управлял столицей, с одной стороны, и наследственными правителями второго ранга, правившими в подвластных землях, с другой. В позднеклассическую fazу (VII–IX вв.) появляются крупные региональные государства (Тикаль, Калакмуль, Наранхо, Дос-Пилас). Особенно хорошо это засвидетельствовано для Тикаля, когда несколько зависимых царств было объединено под властью верховного царя, который использовал титулы *каломте* и «божественный царь» в качестве обозначения своего статуса.

Такая распространенная характеристика государственной организации как иерархия уровней принятия решений с трудом может быть применена для майя. Обычно археологи отмечают трех- или четырехступенчатую иерархию поселений, но, видимо, в действительности картина могла зависеть от множества факторов. Тем не менее, для определения государства очень важно существование элементов поселенческой системы, созданных центральной властью, как это было в царстве Наранхо. Государственный характер классического общества майя также подтверждается наличием аппарата управления, состоявшего из специальных должностных лиц (*ак'уху'ун / ах-к'уху'ун*). Функциональная специализация между дворцовой и центральной администрацией отсутствовала. Не было четкого различия между гражданской и военной иерархией. К сожалению наши источники чрезвычайно бедны в отношении сведений о социально-экономических отношениях внутри майских царств (дань, подношения и т.д.).

На настоящий момент общая модель политогенеза у древних майя построена быть не может. Проблема состоит в том, что этот процесс был обусловлен множеством факторов. Приведенные примеры (Наранхо, Йашчилан) – это случаи вторичного формирования государств, происходившего под влиянием древних центров Петена (Тикаль, Вашактун, Калакмуль). Для того, чтобы объяснить возникновение государства в Центральном Петене, мы должны привлечь материалы I тыс. до н. э. Однако изучение преклассического Петена только начинается и нам не хватает регионального контекста новых находок. «Теотиуаканская проблема», которая была упомянута в связи с формированием Тикальской державы, также подтверждает, что необходимо принимать во внимание тот факт, что область майя развивалась не в изоляции, и межрегиональное взаимодействие было одним из важнейших эволюционных факторов в Мезоамерике.

ЛИТЕРАТУРА:

- Беляев Д.Д. Раннее государство у майя классического периода: эпиграфические и археологические данные // Альтернативы социальной эволюции. Владивосток, 2000. С.186–196.
- Белков П.Л. «Эпос миграций» в системе атрибутов традиционной власти // Символы и атрибуты власти: Генезис, семантика, функции. СПб, 1996. С. 63–71.
- Бондаренко Д.М. Теория цивилизаций и динамика исторического процесса в доколониальной Тропической Африке. М., 1997.

- Гулляев В.И.* Города-государства майя: Структура и функции города в раннеклассовом обществе. М., 1979.
- Ковалевски С., Николас Л., Финстен Л., Фейнман Г., Блэнтон Р.* Региональные структурные преобразования от вождества к государству в долине Оахака, Мексика // Альтернативные пути к ранней государственности. Владивосток, 1995. С. 128–138.
- Adams R.E.W.* Archaeological Research at the Lowland Maya City of Rio Azul // Latin American Antiquity. 1990. Vol. 1. P. 23–41.
- Adams R.E.W., and Jones R.C.* Spatial Patterns and Regional Growth Among Maya Cities // American Antiquity. 1981. Vol. 46. P. 301–322.
- Ball J.W.* Pottery, Potters, Palaces, and Polities: Some Socio-economic and Political Implications of Late Classic Maya Ceramic Industry // Lowland Maya Civilization in the Eighth Century AD / Ed. by J.A. Sabloff and J.S. Henderson. Washington, 1993. P. 243–272.
- Ball J.W., and Taschek J.* Late Classic Lowland Maya Political Organization and Central-Place Analysis // Ancient Mesoamerica. 1991. Vol. 2. P. 149–165.
- Barrales D.* Nuevas perspectivas sobre la posicion y organizacion social de los escribas Mayas durante el Clasico Tardio // Tercera Mesa Redonda de Palenque. Abstracts. Palenque, 1999. P.5.
- Beliaev D.D.* Early State in the Classic Maya Lowlands: Epigraphic and Archaeological Evidence // Sociobiology of Ritual and Group Identity: A Homology of Animal and Human Behaviour. Concepts of Humans and Behaviour Patterns in the Cultures of the East and the West: Interdisciplinary Approach. Moscow, 1998. P. 101–102.
- Beliaev D.D.* Wuk Tsuk and Oxlahun Tsuk: Naranjo and Tikal in the Late Classic // The Sacred and the Profane: Architecture and Identity in the Southern Maya Lowlands. 3rd European Maya Conference, University of Hamburg, November 1998. Markt Schwaben, 2000. P.63–81.
- Berlin H.* El glifo «emblema» en las inscripciones Mayas // Journal de la Société des Américanistes. 1958. T. 47. P. 111–119.
- Boot E.* Architecture and Identity in the Northern Maya Lowlands: The Temple of K'uk'ulkan at Chich'en Itza, Yucatan, Mexico // The Sacred and the Profane: Architecture and Identity in the Southern Maya Lowlands. 3rd European Maya Conference, University of Hamburg 18–22 November 1998. Markt Schwaben, 2000. P. 183–204.
- Bullard W.R.* Maya Settlement Patterns in Northeastern Peten, Guatemala // American Antiquity. 1960. Vol. 25. P. 355–372.

- Chinchilla O., and Houston S.D.* Historia política de la zona de Piedras Negras: Las inscripciones de El Cayo // VI Simposio de investigaciones arqueológicas en Guatemala. Guatemala, 1992. P. 63–70.
- Claessen H.J.M., and Van de Velde P.* Introduction // Early State Dynamics / H.J.M. Claessen and P. Van de Velde (Eds.). Leiden etc., 1987. P. 3–25.
- CMHI* – Corpus of Maya Hieroglyphic Inscriptions. Vol. 1–7. Cambridge (MA), 1977–1996.
- Culbert T.P.* Political History and the Decipherment of Maya Glyphs // Antiquity. 1988. Vol. 62. P. 135–152.
- Culbert T.P.* Polities in the Northeast Petén // Classic Maya Political History: Hieroglyphic and Archaeological Evidence. Cambridge, 1991. P. 128–146.
- Fash W.L.* Scribes, Warriors and Kings: The City of Copán and the Ancient Maya. New York, 1991.
- Ford A.* Economic Variations of Ancient Maya Residential Settlements in the Upper Belize River Area // Ancient Mesoamerica. 1991. Vol. 2. P. 35–46.
- Grube N.* Palenque in Maya World // Eighth Palenque Round Table, 1993. San Francisco, 1996. P. 1–13.
- Houston S.D.* Hieroglyphs and History at Dos Pilas: Dynastic Politics of the Classic Maya. Austin (TX), 1993.
- Lacadena A.* A new Proposal for the Transcription of the **a-k'ú-na/a-k'ú-HUN-na** Title // Mayab. Año 10. P. 46–49.
- Manzanilla L., and Barba L.* The Study of Activities in Classic Households: Two Case Studies from Cobá and Teotihuacan // Ancient Mesoamerica. Vol. 1. P. 41–49.
- Marcus J.* Emblem and State in the Classic Maya Lowlands: An Epigraphic Approach to Territorial Organization. Washington, 1976.
- Marcus J.* Ancient Maya Political Organization // Lowland Maya Civilization in the Eighth Century AD. Washington, 1993. P. 111–183.
- Martin S., and Grube N.* Maya Superstates // Archaeology. 1995. № 6. P. 41–46.
- Martin S., and Grube N.* Deciphering Maya Politics // Schele L., Grube N., and Martin S. Notebook for the XXIIInd Maya Hieroglyphic Forum at Texas. Austin, 1998.
- Martin S., and Grube N.* Chronicle of Maya Kings and Queens. London, 2000.
- Mathews P.L. Notes on the Dynastic Sequence of Bonampak, Pt. 1 // Third Palenque Round Table, 1978. Pt. 2. Austin, 1980. P. 60–73.

- Mathews P.L.* Classic Maya Emblem Glyphs // Classic Maya Political History: Hieroglyphic and Archaeological Evidence. Cambridge, 1991. P. 19–29.
- Mathews P.L.* La escultura de Yaxchilan. Mexico, 1997.
- Proskouriakoff T.A.* Historical Implications of the Patterns of Dates at Piedras Negras, Guatemala // American Antiquity. 1960. Vol. 25. P. 454–475.
- Proskouriakoff T.A.* Historical Data in the Inscriptions of Yaxchilan, Pt. 1: The Reign of Sheild-Jaguar // Estudios de Cultura Maya. México, 1963. T.3. P. 149–167.
- Proskouriakoff T.A.* Historical Data in the Inscriptions of Yaxchilan, Pt. 2: The Reigns of Bird-Jaguar and His Succesors // Estudios de Cultura Maya. México, 1964. T. 4. P. 177–202.
- Rice D.S., and Pulestone D.* Ancient Maya Settlement Patterns in the Peten, Guatemala // Lowland Maya Settlement Patterns. Albuquerque, 1981. P. 121–156.
- Rice D.S., and Rice P.M.* The Northeast Peten Revisited // American Antiquity. 1980. Vol. 45. P. 432–454.
- Rice P.M.* Economic Change in the Lowland Maya Late Classic Period // Specialization, Exchange and Complex Societies. Cambridge, 1987. P. 76–85.
- Sabloff J.A.* Interaction Among Classic Maya Polities // Peer Polity Interaction and Socio-Political Change. Cambridge, 1986. P. 101–119.
- Sanders W.T., and Michels J.* Kaminaljuyu and Teotihuacan: Prehistoric Culture Contact. University Park, 1977.
- Schele L.* An Epigraphic History of the Western Maya Region // Classic Maya Political History: Hieroglyphic and Archaeological Evidence. Cambridge, 1991. P. 72–101.
- Schele L., and Freidel D.* A Forest of Kings: Untold Story of the Ancient Maya. New York, 1991.
- Sharer R.J.* The Ancient Maya. Stanford, 1994.
- Sheehy J. J.* Structure and Change in a Late Classic Maya Domestic Group at Copan, Honduras // Ancient Mesoamerica. 1991. Vol. 2. P. 1–19.
- Stuart D.* Historical Inscriptions and the Classic Maya Collapse // Lowland Maya Civilization in the Eighth Century AD. Washington, 1993. P. 321–354.
- Stuart D.* A Study of Maya Inscriptions. Ph.D. Dissertation, Vanderbilt University. Nashville, 1995.

- Stuart D.* The “Arrival of Strangers”: Teotihuacan and Tollan in Classic Maya History // Mesoamerica’s Classic Heritage: From Teotihuacan to the Great Aztec Temple. Niwot, 2000. P. 465–513.
- Tate C.* Yaxchilan: A Design of Ancient Maya Ceremonial City. Austin, 1992.
- Tourtellot G.* Excavations at Seibal, Department of Peten, Guatemala: Peripheral Survey and Excavation. Settlement and Community Patterns. Cambridge (MA), 1988.

**III. НЕИЕРАРХИЧЕСКИЕ
АЛЬТЕРНАТИВЫ ПОЛИТОГЕНЕЗА**

Ирокезы (XV-XVIII вв.)

Д.В. Воробьев

Процесс политогенеза состоит в сложении и развитии политической структуры общества и формировании нового типа власти и структур управления. Конечным результатом этого процесса далеко не всегда оказывается создание государственности. Безгосударственный путь весьма сложных обществ также является возможным. Ирокезы, а именно, политическая конфедерация, вошедшая в историю под наименованием Лига ирокезов, с одной стороны – формирующаяся этническая общность (что находит свое отражение в эндоэтнониме ходеносауни), с другой стороны – пример такого развития. При наличии достаточно развитой социальной и особенно политической организации, благодаря которой союз ирокезских племен занимал главенствующее положение в северо-восточной области Северной Америки, приблизительно более двухсот лет явственных проявлений социальной стратификации и имущественной дифференциации в структуре Лиги не наблюдалось. На протяжении всего периода существования Лиги, с момента возникновения и вплоть до ее падения в конце XVIII в., для нее была характерна сложная и эффективная система организации общества, которая, однако, функционировала без помощи каких-либо бюрократических институтов управления, сохраняя эгалитарные традиции. При этом отсутствовала ярко выраженная социально-политическая иерархия, тогда как само по себе понятие государства автоматически предполагает наличие иерархии. И тогда функции государства (например, гарантия социумом защиты и безопасности членов общества, или ведение широкомасштабных военных действий с целью покорения соседних народов) берет на себя негосударственная система политической организации. Последнее положение было особенно характерно для Лиги.

Далеко не все этнические общности, говорящие на ирокезских языках, входили в состав Лиги ирокезов, о которой преимущественно и пойдет речь в данной работе. Конфедерация состояла из пяти племен, которые были компактно расселены на территории современного штата Нью-Йорк и в географическом отношении, с востока на запад, располагались в следующем порядке: могавки, онейда, онондага, кайюга и сенека. Позднее в Лигу было принято племя тускарора. В литературе «этноним» ирокезы часто фигурирует применительно именно к народам.

объединявшимся в Лиге. Однако на ирокезских языках говорили также гуроны, давние враги союза пяти племен, жившие к северу от них между озерами Онтарио и Гурон; так называемые «нейтральные» на северном берегу озера Эри и эри на южном; сусквеханнок на землях современного штата Пенсильвания. Все перечисленные группы относятся к северной ветви ирокезских языков. Единственными, но многочисленными представителями южной ветви ирокезского языкового ствола являются чероки.

Народы, принадлежащие к ирокезской культурной общности, были компактно расселены в районе восточных Великих озер, будучи окружены со всех сторон множеством алgonкинских племен. Тот факт, что под ударами альянса пяти племен в первую очередь были разгромлены и рассеяны именно не входившие в него ирокезоязычные группы, нисколько не противоречит факту существования общеирокезской культурной общности. По своему культурному облику в самых разных его проявлениях ирокезы стояли особняком среди соседних алгонкинских групп и, в тоже время, мало чем отличались в этом отношении, в том числе по устройству социально-политических институтов, от своих главных врагов – гуронов. Гурония и Ирокезия рассматриваются исследователями как единая культурная провинция [Фентон 1978: 110].

Социально-политическая структура ирокезов к настоящему моменту подробно описана и очень хорошо изучена. Лига была конфедерацией независимых, но родственных племен. Создание сложного общества, организованного на демократической основе в конфедерацию нельзя рассматривать как исключительно ирокезское достижение. Только на Северо-Востоке Северной Америки можно обнаружить по меньшей мере еще четыре достаточно крупных союза племен, но по сравнению с ними механизм функционирования Лиги ирокезов был наиболее отлаженным и эффективным. Ральф Линтон в свое время высказал мнение, что конфедерации племен возникают тогда, когда появляется необходимость в объединении перед лицом общего врага, но местное управление остается таким же, каким оно было до объединения. Это предполагает демократическое устройство общества, но при этом отсутствие стабильности в нем [Linton 1936: 341]. Однако ирокезам, у которых общественное устройство полностью соответствовало проводившейся союзом политике, делая ее эффективной, удалось избежать подобной нестабильности.

В данной главе будут рассмотрены основные механизмы функционирования ирокезского общества, а также предпринята попытка отразить его сложную и действенную общественно-политическую организацию, представлявшую собой добровольное объединение обществен-

ных единиц и вышедшую уже за уровень общины, но при этом обходившуюся без государственных институтов.

Политическое устройство своей Лиги ирокезы символически уподобляли длинному дому. Пять племен представляли собой «пять очагов длинного дома», и «их огни совета – эмблема гражданской юрисдикции – горели непрерывной цепью от Гудзона до Ниагары» [Морган 1983: 27]. Могавки, жившие по реке Мохок и в верхнем течении Гудзона, считались стражами восточного входа в этот воображаемый дом. Западная его дверь, охраняемая сенека, выходила на Ниагару [Tooker 1978: 418]. Самостоятельность каждого племени ничем не ограничивалась, и единого вождя, который руководил бы всем союзом племен, не существовало. Высшим правящим органом являлся Совет Лиги, который сосредоточивал в своих руках законодательную, исполнительную и судебную власть и ведал практически всеми общими для Лиги делами. Заседания совета проводились в долине Онондага, на землях племени под таким же названием, расположенного в центре конфедерации. Хотя онондага и были хранителями очага совета и вампума^{*}, изображавшего структуру Лиги, это вовсе не ставило их племя выше остальных членов альянса, не делало его правящим в Лиге.

Формально племена делились на «старших братьев» – онондага, могавки и сенека – и «младших братьев» – кайюга, онейда, а также тускарора [Tooker 1978: 428], но это практически не отражалось на их равноправии. На Совет Лиги от каждого из пяти племен делегировались сахемы – «гражданские» (не сакральные) вожди, число которых всегда равнялось пятидесяти. На онондага приходилось 14 сахемств, на сенека – 8, на могавков и онейда – по 9, на кайюга – 10 [Морган 1983: 41]. Неравное распределение сахемов по племенам также не являлось свидетельством неравноправного положения последних в конфедерации, так как необходимым условием для принятия решения являлось полное единогласие всех племен и всех сахемов [Морган 1983: 65]. Таким образом, если, например, хоть один из восьми сахемов сенека высказывался против принятия какого-либо решения, оно не могло быть принято. Пусть все четырнадцать сахемов онондага, и даже все остальные сахемы Лиги проголосуют положительно.

Морган определяет политическое устройство Лиги как олигархию, объясняя это тем, что вся полнота власти была сосредоточена в руках совета сахемов [Морган 1983: 40], а должность сахема была наследственной в роде. Однако выступить с каким-либо предложением на

* Вампум – снизки из раковин, позднее из бисера, служившие средством платежа и для передачи информации у североамериканских индейцев.

Совете Лиги сахем мог только в том случае, если он согласовал его в роде. Он говорил от имени всего рода. По поводу принятия решения первыми в роде отдельно совещались женщины, затем проходил совет воинов [Lafiteau 1983: I, 86]. Кроме того, передача сахемства по наследству не означала отсутствия выборности, так как в пределах рода на эту должность выбирали наиболее достойного. Согласно сообщению Ж.Ф. Лафито, сначала старшая женщина рода советовалась по этому поводу с женщинами своей овачиры – большой семьи, как правило, занимавшей один длинный дом, а затем с остальными женщинами рода. После этого вожди и старейшины родов племени должны были одобрить кандидатуру на общеплеменном совете. Их выбор далеко не всегда делался по праву первородства, а зависел прежде всего от личных качеств кандидата [Lafiteau 1983: I, 81-82], хотя чаще всего сахемы избирались из числа пожилых заслуженных воинов [Аверкиева 1974: 235]. Таким образом, в случае смерти или смещения сахема, новым сахемом не обязательно становился его ближайший родственник по материнской линии. Сахемом мог быть избран любой член рода, которого родовой совет, а затем совет племени сочтут достойным этого. Однако окончательное утверждение кандидатуры все-таки оставалось за Советом конфедерации [Морган 1934: 76]. В функции так называемого Траурного совета входило оплакивание умершего сахема и санкционирование на обладание титулом его преемника. Следовательно, структура управления конфедерацией на деле вовсе не была олигархической. Справедливости ради следует отметить, что сам Морган не подразумевал под олигархией отсутствие демократии; напротив, в равенстве сахемов и устойчивости занимаемых ими должностей он видел систему, способную защитить общество от сосредоточения большой полноты власти в одних руках [Морган 1983: 60; 1934: 84]. Лафито отмечал, что, несмотря на все предпринимаемые обществом усилия по недопущению любых проявлений деспотизма со стороны вождей (сахемов), одни из них все же обладают некоторыми преимуществами по отношению к другим. Условия получения этих преимуществ состояли либо в многочисленности рода, либо в личных способностях вождя [Lafiteau 1983: I, 81]. Так что даже если речь идет о проявлениях неравенства в обществе ирокезов, то они базируются на элементах меритократии.

Почти все принимаемые Лигой решения, будь то вопросы войны или всевозможные гражданские дела, проходили предварительно через те же инстанции обсуждения, что и процедура выборов и утверждения сахема. Из числа членов материнского рода каждому сахему избирали помощника, кандидатуру которого совету племени также сначала рекомендовали женщины. Только в отличие от сахема, для его ут-

верждения не требовалось согласия союзного совета [Lafiteau 1983: I, 84].

Сахемы были исключительно гражданскими деятелями. Если сахем отправлялся на войну, то на это время с него снимались все его полномочия [Морган 1983: 44]. Помимо сахемов, у ирокезов существовала категория военных вождей (в том случае, если их авторитет базировался исключительно на военных заслугах). Военные вожди выдвигались исключительно благодаря своим личным способностям, уму, красноречию, авторитету среди соплеменников и военным заслугам [Speck 1945: 26]. Хотя индивидуальная инициатива постепенно вытеснялась политическими общегрупповыми военными акциями [Fenton 1978: 315] и важнейшую роль Лиги в успехах завоеваний ирокезов трудно переоценить, военный поход у них, как и у всех остальных индейцев Северной Америки, часто осуществлялся по инициативе частного лица. За предводителями тех военных отрядов, походы которых заканчивались успешно, закреплялась слава удачливых воинов. Именно из среды снискавших себе особую славу воинов и выдвигались военные вожди. По-видимому, между руководителем военного отряда и военным вождем можно ставить знак равенства. Количество военных вождей в племенах, по вполне понятным причинам, не имело ограничений.

В ранних источниках попадаются сведения, позволяющие сделать вывод о существовании у ирокезов организованной военной системы с относительно строгой дисциплиной. Кроме военных набегов, участие в которых было делом сугубо добровольным, и целью которых был захват военной добычи, а чаще – просто стремление прославиться и получить общественное признание [Lafiteau 1983: II, 10-11], ирокезами практиковались широкомасштабные военные акции, напоминавшие действия регулярных войск [Lafiteau 1983: II, 16-22]. На самом деле у ирокезов никаких регулярных войск, конечно, не существовало, но крупные объединенные военные отряды выполняли их функцию. При-нудительного призыва на войну формально не существовало, но от участия в походе, как правило, никто не отказывался. Здесь коллективные общественные интересы ставились выше индивидуальных. Известны также случаи, когда неподчинение военному руководителю подобных акций каралось смертью [Lafiteau 1983: II, 23-24], хотя, несомненно, речь здесь идет об исключительных ситуациях.

Сложная военная организация требовала действенной системы управления, и в Совете Лиги был создан институт равных по полномочиям военачальников; их титулы были наследственными в двух родах сенека [Морган 1934: 86]. Эти главнокомандующие руководили воен-

ными действиями в случае выступления объединенных сил всей Лиги или нескольких ее субъектов.

Позднее в Совете Лиги был введен титул вождей Сосны. Вожди Сосны выступали на Совете от имени женщин и воинов. Они доносили до совета их мнение по различным вопросам. Вождями Сосны становились, как правило, наиболее способные и выдающиеся ораторы [Fenton 1978: 314]. «Этот почетный титул давался союзным советом человеку в знак признания его особых личных заслуг» [Аверкиева 1974: 238].

Помимо Совета Лиги в источниках упоминается орган самоуправления более низкого порядка. Таковым являлся совет племени или «сенат, состоящий из стариков или старейшин, называемых на их (могавков – Д.В.) языке *Agokstenha*: число этих сенаторов почти не ограничено; каждый имеет право прийти на совет, чтобы высказать там свое предложение» [Lafiteau 1983: I, 84]. Каждый субъект Лиги являлся, по существу, самостоятельной политической единицей если речь шла о его внутренних делах. «Сенат», по-видимому, представлял собой не что иное, как орган управления на уровне племени или отдельного селения, состоявший из наиболее уважаемых и заслуженных людей. Сахемы в свободное от деятельности в союзном совете время руководили работой таких племенных и родовых советов. В их состав непременно входили различные вожди – люди, заслужившие особый авторитет. Каждый мужчина – полноправный член общества, если и не входил в состав совета, то, непременно, имел право высказать на его заседании свое мнение. Не удивительно, что количество членов «сената» практически ничем не ограничивалось. Женщины, несмотря на свою основополагающую роль в социальной жизни общества ирокезов, не могли выступать на племенных советах. Как уже говорилось, от их имени выступали и выполняли их наказы Вожди Сосны.

Еще одна категория населения – «*Agoskenrhagete* или воины, состоит из молодых людей, которые в состоянии носить оружие» [Lafiteau 1983: I, 85]. Вполне возможно, что вся социальная структура ирокезского племени была представлена, по преимуществу, двумя группами населения, деление на которые было во многом обусловлено возрастными критериями. Эти группы составляли старейшины (как правило – те, кто был уже не в состоянии воевать в силу своего преклонного возраста, но в свое время положительно зарекомендовал себя на военном поприще, а таковым являлся, за редким исключением, каждый ирокез) и воины – остальное взрослое мужское население.

При таком общественном устройстве отсутствуют предпосылки для развития социальной дифференциации и возникновения институтов государственности, единой централизованной власти. Внутренние про-

тиворечия в ирокезском обществе – между разными его слоями – почти не прослеживаются. Нет зависимых групп, нет одного лица, сосредоточившего в своих руках даже относительную полноту власти, как это бывает, например, вождестве, и нет бюрократического аппарата управления в лице различных чиновников, без чего невозможно функционирование государственной системы даже в зачаточном ее состоянии. По словам Лафито, ирокезам «...к счастью, не были известны ни писанный свод законов, ни адвокаты, ни прокуроры, ни судебные исполнители. Если бы у них, наряду с этим, не было шарлатанов, которые являются очень плохими лекарями, они бы были самыми счастливыми людьми на земле» [Lafiteau 1983: I, 91]. Безусловно, это высказывание подразумевает сравнение ирокезского общества с европейскими реалиями XVII–XVIII вв., но оно в данном случае показательно в плане отсутствия любых чиновников в системе управления Лигой. Но при отсутствии института государства как такового ирокезское общество, основанное на демократических началах, было организовано в сложную систему, вершиной которой стала конфедерация племен. Назвать первобытным столь сложно организованное общество было бы неправомерно. Сила Лиги состояла не в способности к централизации власти. Скорее напротив, ее политическая структура была децентрализованной.

Основная функция мифа в традиционном обществе состоит в закреплении и поддержании в стабильном состоянии социальных норм. Миф о Великом Мире, заключенном пятью племенами в момент создания Лиги, содержал в себе одну из основных заповедей: племена не должны враждовать между собой не при каких обстоятельствах. За всю историю Лиги между ее субъектами действительно не было серьезных разногласий. Вампум являлся вещественным выражением незыблемости социальных норм. Именно «согласие Пяти наций не враждовать между собой и улаживать разногласия ритуальной уплатой вампума» [Фентон 1978: 123] сделало Лигу реальной политической силой. Она была способна не только доминировать среди соседних индейских племен, но в течение долгого времени успешно противостоять европейцам, как французам, так и англичанам. В частности война между Лигой и Новой Францией, которая велась на протяжении всего XVII в., проходила с переменным успехом, и часто превосходство было за ирокезами. Иезуит Жером Лаллеман в письме кардиналу Ришелье от 28 марта 1640 г. прямо указывал на то, что эпидемия оспы, нанесшая гуронам существенный урон, представляет серьезную опасность для существования Новой Франции, так как ослабление гуронского «заслона» существенно облегчило набеги воинов Лиги на французские селения [Thwaites 1959: XVII, 222].

Итак, линия демократического управления проходит через все ирокезское общество от овачиры-домохозяйства, через роды, племена, являвшиеся самостоятельными политическими единицами, к равноправному союзу родственных племен – негосударственной по своей сути системе, выполнившей государственные функции, такие, как широкомасштабная завоевательная политика и гарантия защиты членов общества. Можно без колебаний согласиться со словами У.Фентона о том, что Лига ирокезов представляла собой политическое объединение, основанное на родстве [Фентон 1978: 123].

В этом политическом образовании каждый индивид, независимо от пола, возраста, родовой и племенной принадлежности, находился под защитой общества. Например, когда дело касалось убийства, сторона, совершившая преступление, выплачивала потерпевшей стороне выкуп в виде вампумовых сизок. Безусловно, решение проблемы подобным образом характерно для большинства первобытных обществ и не является проявлением государственных функций. Однако у ирокезов этот процесс был регламентирован с особой тщательностью, неведомой первобытным социумам. Если убийство происходило в пределах одного домохозяйства, то его члены выясняли отношения между собой сами, как это принято в первобытных обществах, и это не влекло за собой публичных разбирательств [Lafiteau 1983: I, 92]. В случае убийства в пределах рода, дело решалось на родовом совете. Если же преступник и жертва принадлежали к разным родам одного племени, не говоря уже об убийстве иноплеменника, естественно, речь идет только о членах какого-либо из племен Лиги, дело решалось соответственно на совете племени или на союзном совете. Обычно все решалось путем выкупа, причем по этому поводу был разработан сложный церемониал, отражавший различные аспекты нанесенного как убитому, так и всему обществу вреда.

За убийство надлежало выплатить 60 подарков-выкупов. Первые девять даров включали в себя «несколько раз по тысяче бусин» вампума. Они предназначались для того, чтобы «осушить слезы» родных убитого [Lafiteau 1983: I, 95-96]. Остальные подарки также рассматривались в качестве компенсации за различные аспекты нанесенного ущерба, как морального, так и социального, и имели строгую градацию. Вообще значение вампума как символа, поддерживающего стабильность и укрепляющего единство Лиги, и его роль в пресечении внутренних распрея, трудно переоценить.

В особо тяжких случаях виновного все же могли приговорить к смерти. Об одном из таких случаев, который произошел в селении магавков, рассказывает Лафито. Результатом супружеской ссоры стал

уход жены от мужа. В ответ на это последний со своими друзьями (вероятно, родственниками. – Д.В.) напал на жену и ее братьев. Братья были убиты, но самой супруге и младшему из братьев удалось спастись, добраться до селения первыми и уличить убийц. Совет посчитал невозможным ограничиться выкупом за такое жестокое преступление, и убийц приговорили к смерти [Lafiteau 1983: I, 99-101]. Итак, правосудие зиждилось на системе родственных отношений, но при этом выходило на достаточно высокий уровень.

Наиболее ярко неиерархичность ирокезского общества иллюстрирует отсутствие в нем каких-либо категорий зависимого населения. Ряд отечественных исследователей утверждает, что у ирокезов существовало патриархальное рабство, однако справедливость такого суждения представляется сомнительной. Согласно сведениям, содержащимся в многочисленных источниках, захваченного ирокезами пленника ожидала либо полная адоптация в их этническую и социальную среду, либо жестокие пытки и сожжение на костре.

О существовании домашних рабов у ирокезов писала Е.Э. Бломквист, отмечая, что «иезуиты в своих донесениях прямо называют этих людей рабами и указывают, что жизнь их была всецело во власти их владельцев» [Бломквист 1955: 85]. Но при этом ссылки на конкретные источники отсутствуют. Приводится только цитата из Лафита, свидетельствующая о высоком общественном положении ирокезской женщины, которая, наряду с прочими привилегиями, распоряжается участью рабов [Бломквист 1955: 84]. Жизнь пленника действительно была во власти женщин рода. От их решения зависело, будет ли он принят в род или убит. В том, что решение принимали женщины, проявляется суть усыновления: мать усыновляет пленного, следовательно, о его приниженном положении в дальнейшем речь идти не может. Распоряжаться его жизнью не мог уже никто. За его убийство или причинение ему какого-либо вреда следовали те же санкции, что и за подобные действия в отношении ирокеза по рождению.

Ю.П. Аверкиева также обнаруживает в ирокезском обществе социальное неравенство и развитие «...внутренних противоречий между... свободными, рабами и клиентами, между ирокезами и включенными в состав их большими группами пленников из покоренных племен» [Аверкиева 1974: 232]. Судя по этому высказыванию, исследователь различает рабов и пленников, которые, с ее точки зрения, обладали разным статусом.

Поскольку ирокезское общество было демократическим и все люди Длинного Дома имели равные права, порабощение одних членов Лиги другими как на индивидуальном, так и на племенном уровне вряд

ли было возможно. Это означает, что рабы и пленники, по сути, представляли собой одну и ту же категорию лиц. Более того, упоминаний в источниках о случаях рабства в среде ирокезов мне обнаружить не удалось. Лафито в своем фундаментальном труде пользуется терминами «пленный» и «раб» («невольник»). Однако, исходя из содержания текста, можно заключить, что в данном случае они являются синонимами. Миссионер отмечал, что «положение раба, которому даровали жизнь, у алgonкинских наций всегда достаточно тяжелое, но среди ирокезов и гуронов оно достаточно мягкое, что прямо пропорционально тому ужасному положению тех, кого обрекли на сожжение» [Lafiteau 1983: II, 111].

У северных алгонкинов, которые по уровню своего общественного развития и сложности структуры общества уступают ирокезам, пленник обладал более низким социальным статусом, чем его хозяин и выполнял самую тяжелую работу. Иное дело, что ввиду экстремальных природных условий Канадского Севера самому «хозяину» часто приходилось не легче. У гораздо же более высоко развитых ирокезов не было даже такой градации членов социума. Пленник вовсе не принадлежал тому воину, который его захватил. Совет селения решал, какой семье его следует отдать. Право принять или отвергнуть пленного оставалось за старшей женщиной [Lafiteau 1983: II, 86]. И бывший пленник, или пленница, пройдя через церемонию усыновления, становился полноправным членом той семьи, того рода и племени, куда он был принят. При этом он получал новое имя, принадлежавшее прежде тому, кого он должен был в этой семье заменить [Lafiteau 1983: II, 85], то есть он становился ирокезом и вовсе не являлся человеком «второго сорта в ирокезском обществе», как полагают некоторые исследователи [Аверкиева 1974: 230; Куббель 1988: 229]. Женщина неирокезского происхождения могла стать со временем главой материнской семьи, а мужчина, благодаря своим личным заслугам и качествам, приобрести самый высокий социальный статус, стать вождем и даже сахемом [Lafiteau 1983: II, 85]. Иногда за пленником даже оставляли свободу выбора: он сам решал, остаться ли ему у ирокезов или вернуться к своему народу [Lafiteau 1983: II, 112; Морган 1983: 180]. Именно развитая система адопции давала союзу пяти племен политические преимущества над остальными этническими общностями Востока Северной Америки. Она являлась источником поддержания, а возможно, и увеличения военного потенциала Лиги путем пополнения ее новыми воинами взамен погибших [Фентон 1978: 128; Lafiteau 1983: II, 112].

Часто адоптация происходила в массовых масштабах. Наряду с усыновлением отдельных индивидов в Лигу инкорпорировались целые

роды покоренных этнических групп (гуронов, «нейтральных» эри, различных алgonкинских племен) и даже племена почти в полном составе. Все они быстро ассимилировались в среде ходеносауни. Однако в этой связи следует разделять два во многом разных по своей природе явления: усыновление чужаков и принятие новых племен в качестве равноправных субъектов Конфедерации. Вариант перевода этнонима *Ho-de-no-sau-nee** как «народ возможного к удлинению дома» предложенный Е.Э. Бломквист [1955: 83], представляется удачным. «Длинный Дом» символизировал структуру Лиги, и включение в ее состав нового племени означало удлинение этого дома, присоединение к нему еще одного «очага». Так в 1722 или 1723 г. в Лигу были приняты тускарора, говорящие на одном из языков северной ветви ирокезской лингвистической группы, которые стали шестым полноправным, по сути, членом Конфедерации [Landy 1978: 519]. Хотя за племенем так и не было закреплено ни одно из пятидесяти сахемств, назвать его неполноправным членом конфедерации было бы не совсем верно.

В то же время побежденные племена часто почти в полном составе насильно депортировались ирокезами на свою территорию и включались в состав Лиги. Например, после разгрома ирокезами гуронов в 1649 году большая часть последних была переправлена Ирокезию и вскоре растворилась в ирокезской среде [Heidenreich 1971: 274-275]. В сообщении иезуитов, датированном 1654 г., говорится о прибытии в Новую Францию послов ирокезского племени Anniehronnons (могавков. – Д.В.), цель которых состояла не только в подписании с французами мирного договора, но и в переселении оставшихся гуронов на свои земли, «где уже находились их родственники, захваченные прежде» [Thwaites 1959: LXI, 46]. Одна из тайных задач мирной делегации Onontaehronnons (онондага. – Д.В.) также заключалась в том, чтобы отделить от французов «гуронскую колонию и увести в свою страну целые семьи мужчин женщин и детей», чего гуроны, по словам французского миссионера, очень опасались [Thwaites 1959: 58].

Представители переселенных народов, как правило, вскоре утрачивали прежнюю этническую принадлежность, переставали быть майами, делаварами или гуронами и превращались в онейда, могавков, или сенека. По словам Уильяма Фентона, адоптированные чужаки вскоре становились большими ирокезами, чем сами ирокезы [Фентон 1978: 128]. Соответственно они никак не могли занимать более низкое социальное положение относительно урожденных ирокезов. Столь быстрая ассимиляция представляет собой очень интересное явление, причины

* Ходеносауни – самоназвание ирокезов.

которого требуют специального рассмотрения. Очевидно, что здесь проходили сложные этнические процессы. При массовых включениях в состав ирокезов иноэтнических элементов, последние, однако, не становились самостоятельными субъектами Конфедерации. Следовательно, говорить о присутствии у ирокезов системы управления завоеванными землями и покоренными народами [Аверкиева 1974: 228], на мой взгляд, не совсем правомерно. Покоренные народы вовсе не включались в Лигу в качестве «”младших”, иначе говоря, неполноправных и эксплуатируемых членов» [Куббель 1988: 229]. Их представители усыновлялись одним из пяти (а после включения тускарора шести) племен и растворялись в его среде.

Ирокезские сахемы жаловались англичанам, что промысел пушнины пришел в упадок из-за того, что мужчины находятся в постоянных военных походах. Этот факт, с точки зрения Ю.П. Аверкиевой, служит подтверждением существования в ирокезском обществе воинской прослойки [Аверкиева 1974: 224]. По ее предположению охотой и пушным промыслом – делами менее престижными – занимались адоптированные пленники (Аверкиева 1974: 231.) Думаю, такие доводы не являются убедительными и даже, напротив, представляют собой свидетельство в пользу отсутствия особой воинской прослойки. Если объем добычи мехов сократился вследствие постоянных военных походов мужчин, то это означает, что никаких регулярных частей не существовало, и воинами были все молодые мужчины без исключения. Несмотря на военизированный характер и направленность на внешнюю экспансию Лиги ходеносауны, воины в отдельную общественную прослойку не выделились, хотя каждый ирокез был прежде всего именно воином. Появление в Лиге в XVIII в. веке каких-то регулярных частей представляется сомнительным. Существование профессиональных воинов предполагает наличие других категорий населения, которые занимались бы охотой и пушным промыслом, так что последние не пришли бы в упадок. А так как в упадок они все-таки пришли, можно заключить, что и усыновленные члены ирокезского социума принимали участие в войнах наравне с остальными.

Важную роль в политогенезе ирокезов сыграло стратегически выгодное географическое положение их территории. Ирокезы занимали удобные долины в центре современного штата Нью-Йорк между водораздельными горными хребтами, следствием чего явилось обладание ими удобными водными путями, позволяющими без труда достигать всех важных районов Северо-востока Северной Америки, таких, как долина реки Святого Лаврентия, приатлантические территории на юго-востоке или долина Огайо на юго-западе. Это обстоятельство обеспечи-

вало ирокезам стратегическое преимущество. Оно существенно облегчало их военные экспедиции в самые разные области региона и во многом обуславливало успех этих экспедиций. При этом компактная и плотно заселенная страна Пяти племен была пронизана разветвленной сетью троп, на месте которых теперь проходят основные автомагистрали США. Благодаря этому сообщение между племенами было несложным. Следовательно, контакты между племенами были интенсивными, что делало их связь особо прочной и способствовало осознанию общности их интересов и этнической консолидации ходеносауны. В то же время защищенность территории ирокезов горами с востока и ее расположение именно у истоков всех относительно крупных водных артерий региона в первое время спасли ирокезов от прямого воздействия европейцев, основной удар которых приняли на себя восточные алgonкины.

Другим фактором явилось изолированное положение ирокезской культурной общности в окружении существенно отличающихся от них по своей культуре алгонкинских групп, что и послужило в итоге поводом к их консолидации. С этих позиций трудно объяснить вражду внутри ирокезской культурной общности, между ирокезами и гуронами. Дело, вероятно, в том, что обе общности представляли достаточно многочисленные этнические группы. Гураны также составляли конфедерацию четырех племен [Sagard 1976: 79], где главными считаются два племенных компонента (как онондага, могавки и сенека у ирокезов), поскольку они, по-видимому, явились первоначальной основой гуронской конфедерации [Trigger 1976: I, 63]. Причем по численности гураны скорей всего превосходили Пять племен (Speck 1945: 19–20; Dobyns 1966: 402). Кроме того, и для ирокезов, и для гуронов была характерна небольшая по площади территории и значительная плотность населения, обусловленная земледельческим хозяйством. В наиболее крупных ирокезских и гуронских селениях могло проживать до пяти тысяч человек. При этом охота оставалась важным элементом жизнеобеспечения, что вело в итоге к истощению ресурсов на осваиваемой территории.

Уже предпринимались обоснованные и интересные, на мой взгляд, попытки объяснить войны ирокезов и гуронов в доколониальный период нехваткой ресурсов, необходимых для жизнеобеспечения [Gramly 1974: 601–605]. Р. Гремли установил, что на одежду для каждого гуруна ежегодно требовалось как минимум две с половиной оленьи шкуры. Взяв за основу данные Триггера, согласно которым накануне европейской колонизации все население Гуронии составляло 18 тыс. человек, исследователь подсчитал, что на всех гуронов ежегодно требовалось 64 тыс. оленьих шкур [Gramly 1974: 602]. Протяженность же охотничьих угодий гуронов не превышала 150 миль [Gramly 1974: 604],

и популяция оленей, способная прокормиться на этой территории, была не в состоянии дать гуронам необходимое количество шкур. Это обстоятельство вело к исчезновению жизненно необходимых ресурсов и поиску их в других местах, а именно, на землях ирокезов. Ирокезы, в свою очередь, также ощущали нехватку оленей. Это и послужило причиной войн (Gramly 1974:605).

Если признать, что количество гуронов могло и превышать 18 тыс. человек (ранние источники приводят обычно цифру около 30 тыс. человек, что, на мой взгляд, вовсе не исключено), то это вполне могло бы стать одной из причин войн ирокезов. Более того, возможно, этот и подобные ему экологические факторы послужили причиной консолидации как собственно ирокезов, так и всех остальных групп, относящихся к ирокезской культурной общности, и образования конфедераций. Не слишком большая по площади территория и значительная постепенно увеличивающаяся плотность населения наряду с существованием относительно крупных стационарных селений вели к нарушению баланса между обществом и природной средой, что толкало ирокезов на завоевание новых угодий. Следствием этого явилось совершенствование социальной и политической организации общества. Равноправие же его составных частей стало залогом успехов, так как сама специфика ведения индейцами войн часто требовала небольших мобильных отрядов. В этой связи самостоятельность отдельных племен в ведении военных действий являлась необходимостью. В случае же потребности в совместных выступлениях, в условиях равноправия, объединение сил происходило без затруднений. Таким образом, Лига изначально формировалась как форма военной организации общества. В дальнейшем это определило ее в целом завоевательный характер уже не детерминированный экологическими причинами.

Если ярко выраженных внутренних антагонистических противоречий в ирокезском обществе не существовало, внешние противоречия были ему присущи. Под внешними противоречиями следует понимать отношения ходеносауни с другими этническими общностями самого разного уровня. Но такого рода противоречия характерны для любых даже самых слабо организованных в социально-политическом плане социумов. Здесь вступает в действие оппозиция «мы – они», и любой индивид, принадлежащий к иной группе, в отличие от соотечественника, естественно, будет рассматриваться как существо низшего порядка. Единственной с достоверностью зафиксированной у ирокезов формой эксплуатации побежденных народов, кроме, естественно, военного грабежа, являлось данничество. При этом, например, мнение Ю.П. Аверкиевой о наличии надсмотрщиков над покоренными группами, выде-

ляемых Лигой из среды онейда [Аверкиева 1974: 233], представляется, на мой взгляд, спорным. Ничто не дает повода говорить о существовании у ирокезов институтов, подобных наместничеству. География ирокезских территориальных интересов действительно была очень обширна, но при этом захват Лигой земель других племен часто надо понимать как условность. Когда речь заходит о таких племенах, как тутелло, которое наряду с тускарора входило в число младших членов Лиги [Tooker 1978: 428] и зависело от ирокезов, или также зависимые делавары [Морган 1983: 179], то необходимо учитывать, что эти племена под давлением европейцев сами были вынуждены переселиться на земли Лиги и искать ее покровительства.

Эри, «нейтральные», и отчасти гуроны, как уже упоминалось, были ассимилированы ирокезами и пополнили состав племен Лиги. Их земли действительно отошли к ирокезам. После победы над эри в 1654 г. ирокезы расширили свою территорию до Ниагары и южного берега озера Эри [White 1978: 416]. Этот регион, естественно, стал использоваться ими в хозяйственных целях. До этого он уже был освоен эри, система жизнеобеспечения которых ничем не отличалась от ирокезской. Земли соседей, являвшие собой экологический эквивалент их исконной территории в центральной части нынешнего штата Нью-Йорк (смешанно-широколиственные раноопадающие леса) и соответствовавшие системе природопользования ирокезов, основу которой составляло земледелие и оседлый образ жизни в достаточно крупных стационарных селениях, представляли для них в этом плане интерес. Земли гуронов по своим природным условиям мало чем отличались от территории ирокезов [Fenton 1978: 297]. Но даже в этом случае ирокезы предпочитали не основывать на территории Гуронии новые селения, а депортировать ее жителей на земли «Длинного Дома».

Когда говорят об установлении ирокезами власти на территории, например, Мичигана или юго-восточной Канады, необходимо иметь в виду, что речь вовсе не идет о прямом подчинении ирокезам живших там народов. Просто обитатели этих регионов жили в постоянном страхе набегов ирокезских военных отрядов. Бассейн реки Святого Лаврентия был постоянной ареной столкновений ирокезских военных отрядов с обитавшими здесь племенами. Сообщениями об этом буквально заполнены ранние французские источники. Особенно ирокезы досаждали местным индейцам засадами на волоках. Из-за постоянных набегов ирокезов некоторые группы алgonкинов были вынуждены покинуть плодородные земли по берегам реки Святого Лаврентия и перебраться во внутренние районы в верховьях реки Оттава [Champlain 1966: 31]. Но сами ирокезы там не селились. Верховья Св. Лаврентия на

протяжении почти всего XVII века были блокированы ирокезами, и торговые пути, связывающие западных индейцев с Квебеком проходили севернее этой удобной водной артерии, через систему многочисленных и трудных волоков [Heidenreich 1971: 266; Jennings 1984: 91]. Более того, от набегов ирокезов страдали даже внутренние таежные районы Лабрадора. Согласно сообщению иезуита Албанеля, приблизительно в 1665 г. в районе озера Немиско, расположенного между заливом Джеймс и озером Мистассини, ирокезы убили и увезли в плен 80 местных индейцев [Thwaites 1959: LXVI, 182]. Итак, ирокезы не устанавливали свое управление на подавляющем большинстве подвластных им территорий, а утверждали свое главенство посредством постоянных военных походов. Походы были настолько интенсивны, что зависимость местных индейцев от ирокезов была очевидна, но при этом никаких органов управления на местах ирокезы не создавали.

Можно согласиться, хотя и с некоторыми оговорками, с мнением Ханта, к которому присоединяются отечественные исследователи, что причиной ирокезских войн послужило стремление раздобыть как можно больше пушнины, чтобы обменять ее потом на европейские товары [Hunt 1940: 32–33]. Неслучайно ирокезские войны XVII в. века получили название «бобровых войн» [Jennings 1984: 87]. Территория цикла жизнеобеспечения ирокезов была не слишком обширной, тогда как плотность населения, обусловливаемая ведением земледельческого хозяйства, являлась дляaborигенной Северной Америки значительной. То же самое можно сказать и о гуранах. К 40-м годам XVII в. ирокезы истребили бобров на своих угодьях и были вынуждены совершать набеги на западные и особенно северные племена, территории которых были богаты пушниной. Однако проникновение ирокезов более чем на тысячу километров на север от страны «Длинного Дома», далеко в канадскую тайгу, по сути дела, чуждую их экологической культуре, как это было в случае появления военного отряда на озере Немиско, сложно объяснить даже с этих позиций. Частые стычки ирокезов с монтанье и алгонкинами в начале XVII в. [Champlain 1966: 208], когда бобры в Ирокезии еще водились, а рынок сбыта пушнины не был развит, также нельзя объяснить этой причиной. Следует вспомнить и о том, что, как раз участвовавшимися военными походами объясняли ирокезские старейшины объясняли англичанам упадок бобрового промысла и, как следствие, отсутствие шкурок. Исходя из этого, можно предположить, что пушнина не всегда являлась главной военной добычей.

Упоминаемое сообщение ирокезских старейшин относится к XVIII в., когда Лига была втянута в войны между французами и англичанами, сражаясь на стороне последних. Затем ирокезские племена при-

няли участие в столкновении англичан с американцами. Это обстоятельство в итоге кардинально изменило социально-политическую структуру Лиги. Здесь можно наблюдать пример того, как внешние социальные факторы – контакты между разными обществами – могут изменить процесс политогенеза и направить его в совершенно иное русло. В сложившихся к 70-м годам XVIII в. условиях интересы Пяти племен разошлись настолько сильно, что на союзном совете кайюга, сенека, могавки и онондага приняли сторону англичан, а тускарора и онейда выступили на стороне колоний [Аверкиева 1976: 263]. Возможно, впервые за всю историю Лиги основополагающий принцип единогласия был нарушен. Именно с этого момента ирокезы полностью попали под контроль США и перестали существовать как независимое общество, процесс же их политического развития пошел по иному пути (если это вообще можно назвать развитием).

Что касается завоеваний в южном направлении, то объяснять их поиском источников пушнины [Аверкиева 1974: 248] нельзя в силу того, что эти районы были ею не слишком богаты. Утверждение Фентона, что походы ирокезов в южном направлении (на чероков, катовба и ряд других племен) не имели экономического мотива, представляется обоснованным. Эти стычки также были невыгодны союзникам ирокезов англичанам, так как происходили у них в тылу [Фентон 1978: 134]. Помимо традиционного стремления индейских воинов к славе и к утверждению в качестве полноценных членов общества через военные заслуги, здесь, вероятно, вступал в действие фактор необходимости поддержания военной мощи союза, а значит сохранения и повышения его авторитета на межэтническом уровне, что ставит Лигу в один ряд с ранне-государственными образованиями.

Именно благодаря своей развитой и четко отлаженной политической организации людям «Длинного Дома», не имевшим никаких государственных институтов, все же удавалось в течение больше чем двух столетий занимать доминирующее положение на северо-востоке Америки. Поскольку ирокезы вели войны со всеми остальными находившимися в пределах их досягаемости народами, именно союз на равноправных и добровольных началах давал им силу.

ЛИТЕРАТУРА:

- Аверкиева Ю.П. Индейцы Северной Америки. От родового общества к классовому. М., 1974.
Аверкиева Ю.П. Индейцы и война за независимость // Война за независимость и образование США. М., 1976. С. 258–267.

- Бломквист Е.Э. Ирокезы // Индейцы Америки. Труды института этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. Новая серия. М., 1955. Т. 25. С. 73–92.*
- Куббель Л.Е. Возникновение частной собственности, классов и государства // История первобытного общества. Эпоха классообразования. М., 1988. С. 140–269.*
- Морган Л.Г. Древнее общество. Л., 1934.*
- Морган Л.Г. Лига ходеносауни, или ирокезов. М., 1983.*
- Фентон У.Н. Ирокезы в истории // Североамериканские индейцы. М., 1978. С. 109–156.*
- Champlain S. Les voyages du sieur de Champlain. Ann Arbor, 1966.*
- Dobyns H.F. Estimating Aboriginal American population: An Appraisal of Techniques with a New Hemispheric Estimate // Current Anthropology. 1966. Vol. 7, №4. P.402.*
- Fenton W.N. Northern Iroquoian Culture Patterns // Handbook of North American Indians. Northeast. Vol. 15. Washington, 1978.*
- Gramly R.M. Deerskins and Hunting Territory: Competition for Scarce Resource of the Northeastern Woods // American Antiquity. 1974. Vol.42, №4.*
- Heidenreich C. Huronia: A history, a geography of the Huron Indians 1600–1650. Toronto, 1971.*
- Hunt G.T. The wars of the Iroquois. A study in intertribal trade relation. Madison, 1940.*
- Jennings F. The Ambiguous Iroquois Empire: The Covenant Chain Confederation of Indian Tribes with England Colonies from its Beginnings to the Lancaster Treaty of 1744. New York, 1984.*
- Lafiteau J.F. Moeurs des sauvages américains comparés aux moeurs des premiers temps. Paris, 1983[1724]. Vol. 1-2.*
- Landy D. Tuscarora among the Iroquois // Handbook of North American Indians. Washington, 1978. Vol. 15.*
- Linton R. The study of the man. New York, 1936.*
- Sagard G. Le grand voyage du pays des Hurons. Québec, 1976.*
- Speck F. The Iroquois. A Study of Cultural Evolution. Bloomfield Hills, 1945.*
- Thwaites R.G. The Jesuit Relations and Allied Documents. Travels and explorations the Jesuit Missionaries in New France. 1610-1791. New-York, 1959. Vol. 1-73.*
- Tooker E. The League of the Iroquois: Its History, Politics and Ritual // Handbook of North American Indians. Washington, 1978. Vol. 15.*
- Trigger B.G. The Children of Aataentsic: A History of the Huron People to 1660. Vol. 1-2. Montreal – London, 1974*

White M. E. Erie // Handbook of North American Indians. Washington, 1978.
Vol. 15.

БЕРБЕРЫ (XIX – начало XX в. н. э.)

В.О. Бобровников

Прежде всего, нужно представить себе ту природно-географическую среду, в которой из поколения в поколение вырабатывалась социальная организация берберов Магриба. В силу природных и хозяйственных особенностей северо-африканских деревень, традиционность местных феллахов весьма своеобразна и порой резко отличается от деревенских традиций в других регионах мира. Чтобы почувствовать основные ее нюансы, начнем с краткой природно-хозяйственной характеристики деревенского микрокосма в Магрибе.

Отличительной особенностью Северной Африки всегда было разнообразие типов крестьянских поселений. В Магрибе накануне французского завоевания можно выделить четыре таких типа. Кроме постоянных укрепленных сел горцев и равнинных жителей (ар. *дешра*, *ксар*, берб. *таддерт*), это полуземледельческие полуторгово-ремесленные поселения (*бальды*) тунисского Сахеля, часто построенные вокруг общедеревенского амбара-башни (берб. *гелаа*, *агадир*, *тигрэм*) зимние стоянки полуоседлых земледельцев-скотоводов (*мешта*), и, наконец, временные палаточные лагеря недавно осевших кочевников (ар. *дуар*; берб. *змала*). В дальнейшем для удобства читателей все эти виды сельских поселений мы объединим под условным названием «деревня». При исследовании общекрестьянских традиций населения Магриба такое обобщение оправданно.

Исторически многообразие типов сельских поселений в Магрибе обусловлено не только этнической пестротой, но и резким контрастом географических зон на его территории: южные слабо заселенные тропические пустыни, сухие северные субтропики, по климату и ландшафтам несколько напоминающие Южную Европу, и оазисы. Земель, пригодных для обработки, в рассматриваемых регионах немного: это 1/6 земель Алжира, около половины территории Туниса, 55% площади Марокко [Видясова 1982: 9]. Поэтому существование немалой части сельского населения Северной Африки традиционно зависит не столько от земледелия, сколько от скотоводства и садоводства. Причем если в долине Нила при обилии аллювиальных почв египетские феллахи стали

искусными землепашцами, то в Магрибе периодические засухи, по словам О. Бернара, превратили земледельцев местных степей в «полукочевников», сочетающих земледелие и садоводство со скотоводством [Бернар 1949: 88–89; ср. Видясова 1982: 10].

Другой особенностью Северной Африки было не прекращавшееся до начала XIX в. переселение кочевых арабских племен с востока на запад. Вследствие этого, в местной деревне накануне колониального захвата сложилось множество хозяйствственно-культурных типов, переходных от полукрестьянского к крестьянскому состоянию. Наиболее подробная классификация последних, разработанная М.Ф. Видясовой, выделяет следующие виды традиционного хозяйства феллахов Магриба [Видясова 1987: 230–237]: полукочевники степей и гор с подсобным нерегулярным земледелием; полуоседлые скотоводы-земледельцы Туниса и алжирской Кабилии; хлебопашцы приморских равнин, недавно перешедшие к оседлости; земледельцы оазисов; прочно оседлые земледельцы-садоводы гор Кабилии, Рифа, Высокого Атласа, приморских равнин. Добавив к этому списку ирригационное земледелие египетских феллахов, элементы которого можно найти в сложных ирригационных системах прочно оседлых земледельцев Антиатласа [Видясова 1987: 237, 254], мы получаем полную картину основных крестьянских и полукрестьянских типов в Северной Африке XVIII – первой половины XIX в.

Уже в доколониальное время в основе всех этих типов лежал принцип сочетания в одном крестьянском хозяйстве хлебопашства, садоводства, скотоводства, ремесла. В разных районах основным являлся один из этих видов деятельности. В ряде приморских равнин Магриба доминировало зерновое хозяйство. Источником существования деревень кабильско-рифского типа, бальдов Сахеля были плантации плодовых культур: маслин, смоковниц и, реже, рожковых деревьев. Основой хозяйства полукочевников и полуоседлых земледельцев Магриба оставалось кочевое или отгонно-пастбищное скотоводство [Бернар 1949: 250, 255–256, 260; *L'Algérie en quelques chiffres* s.d.: 228–230]. Остальные виды хозяйственных занятий играли для феллаха подсобную роль. В деревнях кабильско-рифского типа и в Сахеле, например, большим подспорьем для крестьянской семьи были ремесла и торговля на местных рынках. У кабилов оливководство традиционно дополнялось отходничеством в Аурес и другие отдаленные деревенские районы, а также города османского Алжира, где они издавна работали каменщиками, кожевниками, садовниками, водоносами, привратниками, либо нанимались солдатами [Morizot 1962: 15; Johnson 1964: 226].

Подобная полифункциональность крестьянского хозяйства позволяла феллахам доколониального Магриба жить относительно замкнутыми, изолированными друг от друга, от городов и кочевников общинами. Деревни обладали хозяйственно-культурной автаркией, отчасти сохраненной доныне в труднодоступных горных районах [Louis 1975: 256]. Обособленность деревенской жизни, цивилизационные и природно-хозяйственные различия не помешали берберским феллахам выработать в целом общий тип деревенской организации, который будет подробно рассмотрен ниже и который основывается на более широких межрегиональных социокультурных традициях. Основная среди них, на наш взгляд, – объединенность крестьян в большие кланообразные семьи.

Что же представляет собой крестьянская семья берберов XIX–XX вв.?

Ее организация в разных районах Магриба относительно однобразна. Самые удачные описания ее сделаны на примере семей (*axam*) в деревне кабильско-рифского типа [Bourdieu 1963: 59; Montagne 1947: 52]. Все они рисуют крестьянскую семью большим патрилинейным и эндогамным объединением ряда нуклеарных супружеских групп. Члены такой большой, или расширенной, семьи подчиняются неограниченной власти самого старшего и авторитетного родственника по мужской линии – «патриарха». Их дома стоят обычно вокруг одного двора, образуя единый квартал деревни. Наряду с обрабатываемыми землями, дома традиционно находились в нераздельной собственности большой семьи как ее *мульк* (частный семейный надел) [Bourdieu 1963: 11–14]. Во время сельскохозяйственных работ, праздников, важнейших семейных торжеств совместный труд и жизнь членов расширенной семьи организовывались на основе их деления на относительно замкнутые половозрастные группы – мужчин, замужних женщин, детей и подростков, стариков [Schorger 1969: 279, Basagaña et Sayad 1974: 29–31]. В берберских деревнях доколониального Магриба большая семья была относительно независима. Сельская община часто возникала из союза таких семей, предполагавшего объединение их хозяйств. Неделимость и сплоченность больших семей обеспечивали сохранение деревни как единого социального и хозяйственного организма [Bourdieu 1963: 18–19; Louis 1975: 256–257; Bennoune 1986: 44].

Схожую структуру имеют семьи в Митидже и других районах Алжира и Туниса [Bernard 1949: 83; Lizot 1973: 114–115]. Причем и у арабов, и у берберов Магриба большие семейные объединения, по наблюдениям антропологов, тем крепче, чем большим количеством зе-

мель и домов обладают [Launay 1963: 239]. У полуоседлых земледельцев существенную часть такого материального базиса семьи составляли ее общие запасы зерна, хранившиеся в общесемейном отделении деревенской башни-амбара (Bernard 1949: 94–95).

Большие крестьянские семьи Магриба удивительно устойчивы. Современные социологические исследования, проведенные в Алжире, показали, что за последние 100–150 лет они почти не изменились [Montagne 1947: 57; Favret 1967: 79]. Причина этого не только в неделимости имущества и хозяйственной необходимости внутрисемейной кооперации. Единство семьи обеспечивала и рациональность ее социальной организации. Связи между семейными группами постоянно укреплялись за счет эндогамных кросскузенных браков. По всей Северной Африке самым удачным браком считается женитьба на дочери брата отца (ар. *бинт ал-‘амм*). Если таковой нет, то феллах предпочитает искать невесту среди своих кузин с материнской стороны (ар. *бинт ал-хал*). Крестьянин из Верхнего Атласа так определил значение кросскузенного брака: «Я хочу жениться на своей двоюродной сестре, чтобы защитить и расширить мою семью. Разве кто-нибудь откажется от женитьбы на кузине, если она у него есть?» До сих пор кросскузенные браки составляют около двух третей всех браков в сельской местности [Louis 1975: 257 sq.; Матвеев 1993: 114–115].

Кроме того, прочность больших семей объясняется их психологической необходимостью для крестьянина. Теоретически феллах не может себе представить человека без семьи. Считается, что с рождения ребенок вступает в деревенский мир прежде всего как член определенной семьи. Поэтому в простонародье повсюду детей обычно зовут по именам их родителей: «сын или дочь такого-то» (ар. *ибн фулан, бинт фулан*) [Bourdieu 1979: 126–127; Ланда 1988: 36].

Семья определяет и общественное положение человека. Полноправным членом деревенской общины может быть только отец или мать семейства. К ним уважительно обращаются как к отцу и матери ребенка (ар. *абу фулан, умм фулан*) [Favret 1967: 83; Mamméti: 1952, 41]. Большая семья, в отличие от малой семейной группы, обеспечивает еще и социальную безопасность феллаха. В случае нужды или несчастья родственники не оставят его без помощи. Взрослые, хотя бы и женатые, дети обязаны поддерживать своих родителей в старости. Они же должны позаботиться об их похоронах. Все эти представления – общие для самых разных берберских народов Северной Африки [Basagaña et Sayad 1974: 78 cf.; Fei Hsiao Tung 1988: 57–58]. Повсюду крестьянин больше всего в жизни страшился оторваться от своей семьи. Общественное

мнение деревни относилось к одинокому человеку как к изгою, отверженному миром. С точки зрения берберского крестьянина, «не иметь семьи и близких» – это худший вид рабства, «человек без сыновей достоин сожаления» [Sonneck 1902: 57; La poésie algérienne 1963: 168].

В деревне семья выполняла ряд важных социокультурных задач. В первую очередь, она обеспечивала непрерывность общедеревенской традиции. В ней протекал весь процесс социализации детей. Патриарх передавал по наследству землю, знания и статус члена деревенской общины. В кругу семьи крестьянин с детства постигал нормы поведения в обществе, свое место в нем, обычаи, ценности, верования и представления своих односельчан. Только по завершении этого «курса наук» молодой человек выходил в свет: шел служить в армию, уезжал в город на заработки, или же женился и оставался жить в родной деревне полноправным общинником [Louis 1975: 256].

Другой важной функцией большой семьи было обеспечение преемственности поколений, максимальное смягчение неизбежного в любом обществе конфликта отцов и детей. Обычно семья включала в себя до трех-четырех поколений родственников. Достигшие совершеннолетия и вступившие в брак юноши не покидали родительского крова. Постепенно их роль менялась. Социологические исследования не раз фиксировали ситуацию, когда бывший молодой бунтарь и разрушитель традиций становился главой семейной группы или даже патриархом. Тогда он не менее рьяно принимался охранять отцовские и дедовские обычаи рода (ар. *асабийа*) от своих собственных детей [Duvignaud 1968: 98; Bennoune 1986: 374]. Сила семейных уз была такова, что даже крестьяне, навсегда переселившиеся в города, продолжали оказывать большую материальную помощь патриархам своих семей [Чихачев 1975: 9–10].

Большая семья как главный хранитель традиционной культуры деревни не является специфической чертой берберов Магриба. А.Д. Давыдов отмечает ту же роль семьи у народов Афганистана и Ирана [Давыдов 1979]. Подобные большесемейные общины были исследованы у народов Северного Кавказа и Закавказья М.О. Косвеном [Косвен 1961]. Китайский этнограф Фей Сяотун описал их на примере крестьянских семей (*цзы*) Южного Китая [Фей Сяотун 1989]. Судя по всему, здесь мы сталкиваемся с общей закономерностью негосударственной сельской организации многих народов мира [ср. Rugh 1984].

Роль большой семьи в сельском мире Магриба бросается в глаза. Значение деревни, наоборот, остается непонятным для многих исследователей. В отличие от семьи, организация сельской общины здесь

часто скрыта от постороннего взгляда [ср. Gilsenan 1982: 47]. Четкие институты сельских общин средневековой Европы не имеют ничего общего с хаосом общественной жизни феллахов Магриба. Хаосом, который можно считать во многом следствием не прекращавшихся с древности до XX в. нашествий кочевников и колониальных завоеваний Северной Африки.

Фактически к моменту французского колониального завоевания берберская деревня представляла собой линиджную общину (*lineage*). Несколько больших семей составляют линидж (каб. *taharribut*, марок. *ipres*) с общим родовым именем и предком в четвертом-пятом колене. Кроме родственников, линидж может включать семьи разного происхождения и группы клиентов, принятых в «род» своих патронов. Различное в разных районах число линиджей образует деревенскую фракцию (каб. *adrum*, шав. *harfikat*). У каждой фракции кроме общего имени были еще свой квартал в поселении, «родовое» кладбище и нередко – общий культовый центр или странноприимный дом (*duvvar*, *madayafa*). Несколько фракций составляют деревню [Tillion 1938: 43; Bourdieu 1963: 11–12, 31].

В большей части районов доколониальной Северной Африки крестьяне были самой бесправной частью сельского населения. Деревни Магриба находились в полном подчинении военной и духовной знати (*марабутов*) арабских и берберских племен [Ланда 1976: 49–51]. Лишь у берберов-горцев сохранились относительно независимые самоуправляющиеся общины (каб. *harrubā*). В них все мужчины деревни или наиболее уважаемые и сильные патриархи больших семей образовывали совет (ар. *джема'a*, берб. *таджемаит*). Во главе такого совета стоял выборный староста (*амин*, *шейх*). Джемаа ведал религиозными делами общины, разрешал тяжбы между односельчанами на основе местного адата и шариата, устраивал сельские базары, взимал подати в пользу племенной знати и марабутов [Ратцель 1903: II, 501].

Но и самоуправляющаяся горская община, и зависимые села на равнине отнюдь не имели гармоничного общественного устройства. Дух межкланового соперничества пронизывал традиционную деревню. Советы джемаа время от времени должны были примирять враждовавшие из-за земли, положения в общине или «кровной обиды» линиджи, семьи и даже близких родственников. Деревня часто раскалывалась на две соперничающие фракции (берб. *софф*) [Daumas 1853: 199; Mamméri 1952: 36]. Причем «горизонтальные» конфликты между однотипными группировками в доколониальной Северной Африке явно преобладали над «вертикальными» – крестьян с другими слоями сельского и город-

ского общества [Gellner 1970: 204–219; Ланда 1976: 56; cf. Alavi 1988: 346].

Конфликтность традиционной деревни многие ученые объясняли отсутствием в ней общинной организации. Даже в наиболее монолитных берберских горных селах Э. Вольф заметил лишь «упорядоченную анархию» [Wolf 1969: 237; cf. Daumas 1853: 4, 290]. Р. Адамс справедливо критикует А. Айру за преувеличение степени гармоничности сельского общества в Египте. При этом сам он впадает в другую крайность, определяя египетскую деревню как «аморфную бесформенную массу, а не единый организм». Ее целостности, как он полагает, препятствует отсутствие у входящих в нее линиджей общих интересов, а также общая ограниченность материальных ресурсов деревни, вызывающая борьбу за существование между семьями [Tillion 1957: 395; cf. Adams 1986: 175–176].

На мой взгляд, эта теория ошибочна. Она искажает природу традиционных социальных групп деревни. Определяя их как совокупность индивидов, объединившихся для достижения сходных интересов, Адамс тем самым приравнивает крестьянский коллектив к современной буржуазной ассоциации. Между тем, американский социолог А.Б. Раф доказала, что целеполагание чуждо традиционным сообществам. Приведенные ею опросы общественного мнения показывают, что в будни и праздники крестьяне объединяются, «потому, что им нравится быть вместе». Политические, социальные, экономические и прочие интересы при этом отодвигаются на второй план. В совместной жизни и труде феллахов добивается более безопасного существования [Rugh 1984: 31, 32].

Различие взглядов исследователей и феллахов на социальное пространство часто приводит ученых к преувеличению меры хаотичности сельской жизни на Востоке. Европейские ученые, привыкшие к замкнутой, обособленной жизни в больших городах, связывали существование деревенских коллективов не с межличностными отношениями людей, а со свойственной этим коллективам общественной функцией. Не замечая конкретной цели бытия жителей деревни, они представляли их себе бесформенной хаотической толпой.

Каково же реальное социокультурное значение деревни для крестьянина? Чтобы понять это, попробуем взглянуть на нее глазами самого феллаха. Алжирские материалы свидетельствуют, что, определяя деревню, феллахи чаще всего сравнивают ее с большой семьей. И в реальной жизни односельчане строят свои отношения, уподобляя их внутрисемейным [Montagne 1947: 48–50]. Как и семья, деревня для них

кажется извечной, завещанной «отцами и дедами» формой совместной жизни. В ее существовании крестьяне не замечают никакой определенной цели. Ведь со своими близкими человек живет вместе не из-за общих интересов.

Широкое понимание семьи земледельцами Магриба облегчало им перенесение на общедеревенский мир ее организационных принципов. Крестьяне привыкли связывать семью с конкретными и неизменными основами земледельческой жизни: землей, домом и только затем – с кровными узами. На это указывает обилие синонимов для обозначения крестьянской семьи. В частности кабилы часто называют семью «домом» (берб. *ахам*, ср.: ар. *ал-бейт*). Люди, живущие под одной крышей, – это «домочадцы» (ар. *ахл ал-бейт*), связанные друг с другом общим жилищем. Распространенное выражение «*ахл ал-буйут*» означает людей из хороших, уважаемых семей. Связь семьи с домом запечатлена и в крестьянской символике жилища. Строение традиционного дома кабилов символически отражает структуру семьи и положение в ней ее отдельных членов [Bourdieu 1979: 140–143; Colonna 1987: 27].

Деревенские соседи также чувствуют себя связанными общностью обитания. Это объясняется традиционной скученностью североафриканских деревень. А. Аиру удачно сравнивает их с ульями [Аиру 1954: 129–130]. Крестьянские дома, действительно, тесно лепятся друг к другу, наподобие крохотных клеточек огромного улья. В горах Атласа плоские крыши одних домов служат дворами для их соседей. Дом буквально является «частью деревни» [Maunier 1926: 52; Бернар 1949: 95].

Теснота и убогость семейного очага заставляют феллаха почти все время проводить на улице вместе со своими соседями. Дом служит только спальней, кухней и кладовой. Благодаря этому соседи привыкли относиться друг к другу, как к членам одной большой семьи, охватывающей целый квартал деревни. Они уже не могут обойтись без этой совместной жизни. Деревенская девочка говорила Аиру, что настоящий дом (*ал-бейт*) не может существовать без соседей (*ал-гиран*). На то же указывает арабская пословица: «Ищи себе друга перед дорогой и соседа перед тем, как построить дом» [Аиру 1954: 93–94].

Кроме того, берберы часто называют семью арабским словом *ал-* ‘*а’ила*. Оно в ходу по всему Магрибу. Главный смысл этого слова – взаимные обязанности, обязательства взаимопомощи, объединяющие всех членов семьи. От того же корня (*‘аул*) образованы арабские слова: ‘*а’ил* (кормилец), *’и‘ала* (содержание семьи), ‘*айил* (иждивенец). Этот принцип взаимовыгодной поддержки также переносится в сферу межсемейных отношений. На нем основана вся внутридеревенская коопе-

рация для проведения работ, выполнить которые одна большая семья не в силах. Чаще всего такие работы падают на пору уборочной страды. Вся деревня проводит совместные ирригационные работы [Bennoune 1986: 348; Launay 1963: 53]. У берберов Алжира общедеревенская кооперация осуществляется также при постройке или починке крестьянских домов и местной мечети [Maunier 1926: 38].

Принцип действия общедеревенской кооперации наглядно иллюстрирует кабильский обычай совместной жатвы пшеницы и ячменя, называемый *тувиза*. В сущности он напоминает традиционную «помочь» в русской деревне XIX в. Если крестьянская семья не успевает собрать урожай на своем поле в срок, то ее глава обходит все дворы деревни и просит в каждом прислать на следующий день одного работника. Соседи помогают ему быстро убрать урожай. А семья, организующая тувизу, после окончания работ задает им общий веселый пир. Не бывает случая, чтобы кто-нибудь уклонился от соблюдения этого обычая. Ведь любая семья в случае затруднений может в свою очередь потребовать у деревни тувиза [Launay 1963: 53].

Как семья основана на поддержке взрослыми сыновьями своих дряхлеющих родителей, так и хозяйственное единство деревни обеспечивается бесплатной взаимовыгодной кооперацией семей. Крестьяне хорошо осознают это. Необходимость кооперации подчеркивают многие устойчивые выражения. Кабильская поговорка гласит: «Если люди не работают сообща, то ни у кого в общине (*джемаа*) ничего не получится» [Bennoune 1986: 355].

Кооперация связывает не просто всех без различия жителей деревни. Крестьяне объединяются согласно тем основным социальным группам, которые складываются в семье: женщины – с женщинами, мужчины – с мужчинами, наконец, отдельно – старики и дети, то есть принцип взаимной помощи сочетается с представлением об обязательных признаках членства в коллективе. В семье это – родство. Недаром членов семьи называют еще *ахл* (родственники) [Bourdieu 1979: 65]. В масштабах деревни эти признаки определяются полом и возрастом.

Каждая из половозрастных групп занимается строго определенным видом деятельности. На долю мужчин падает тяжелый, но и почетный труд на полях. Женщины заняты домашним хозяйством. Дети помогают своим матерям, а в горах Магриба обычно пасут скот. На опытных стариках лежит общее управлением хозяйством. Членство в каждой группе налагает сильный отпечаток на сознание крестьянина. Обычно он не может отделить себя от своей социальной роли в группе.

Каждая половозрастная группа обладает своим замкнутым социальным пространством. Труд и отдых в ней протекают в определенных местах. Эта особенность – общая для всех берберов Северной Африки. Мужчинам отведены их поля и деревенское кафе. Женщины все время проводят возле домов. В определенные часы все крестьянки отправляются к источникам. Здесь они стирают, набирают воду, обсуждают деревенские новости. В Алжире и Марокко старики часто собираются на центральной площади деревни, где проводят долгие заседания джемаа. Деревенские дети вместе играют на улице. В Алжире неженатые юноши (*фитайан*) по вечерам часто уходили в поля, где устраивали импровизированные хоры – *седжса* [Mamméti 1952: 31, 33, 151].

Вторжение в пределы социального пространства другой группы резко осуждалось. Не связанные родством женщина и мужчина не могли заговорить на улице. К земледельческим работам допускались только пользующиеся некоторой независимостью крестьянки из берберских деревень Магриба. Женщины и девушки не допускались и на веселения *седжса* [Daumas 1853: 166, 186–188; Ратцель 1903: II, 500–501; Bourdieu 1979: 122–125]. В то же время половозрастные группы деревни не превращались в замкнутые касты. Во время спрятываемых всей деревней обрядов обрезания и бракосочетания крестьянин не оставался в стороне, обычно участвуя в каждом из них. В пору уборочной страды, при чествованиях местных святых и на других важнейших общедеревенских мероприятиях все жители селасливались в единую семью (*ахл ал-карайа*) [Gellner 1970: 206].

В такие важные моменты жителей деревень сплачивало опять же заимствованное из семейного обихода чувство эмоциональной привязанности, внутренней близости, свойственное даже самым отдаленным родственникам. Это значение и передает распространенное в Северной Африке арабское *кара’иб* – родственники, близкие. Дело в том, что большинство жителей деревни связаны между собой отдаленными родственными связями. Причем магрибинские феллахи обладают удивительной памятью родства. Она распространяется, главным образом, на ныне здравствующих родственников. Не помня имени прадеда, крестьянин в то же время способен, не задумываясь, перечислить более сотни своих свойственников по отцовской и материнской линиям. Он сознает не только свое отношение к ним, но и сложные узы, связывающие их друг с другом [Gellner 1970: 209; cf. Rugh 1984: 57].

Избежать социального обособления разорившихся жителей деревни и ее разбогатевшей верхушки позволял патронаж. Он тормозил и пролетаризацию крестьянства. Поэтому патронаж встречал большое

сочувствие крестьянской массы. Об этом свидетельствуют поговорки Верхнего Атласа: «У кого нет патрона, у того будет побита спина», «Если у тебя нет патрона, купи его». Важнейшим социокультурным следствием патронажа следует признать слияние двух полюсов деревни, ее богачей и бедняков, в единую общину, все члены которой испытывают чувство взаимной эмоциональной близости.

Отметим, что социальное и культурное единство деревни часто не ощущается в повседневной действительности. По будням деревня живет, скорее, как союз больших семей, в свою очередь, членящихся на ряд половозрастных групп. Общедеревенская солидарность мобилизуется только в случае необходимости. По справедливому замечанию А. Айру, феллах чувствует потребность в общении, когда дело касается того, что сплачивает всех жителей деревни – земли и родной крови [Айру 1954: 110, 152]. Как страда, так и важнейшие события в жизни отдельной семьи – рождение ребенка, смерть родича – собирают воедино всю деревню. В эти моменты видно удивительное духовное единство общины. Феллах совершенно «растворяется» в ней.

Такой «пульсирующий» характер берберской общины объясняет противоречивость ее оценок в научной литературе. Исследователи, абсолютизирующие колективистские настроения феллахов, определяют деревню как единую слитную массу [Gellner 1970; Launay 1963]. Наоборот, П. Бурдье, Ж. Фавре и некоторые другие ученые, исходя из примата большой семьи над общиной, акцентируют факт повседневной разобщенности крестьян [Bourdieu et Sayad 1964; Favret 1967; Lizot 1973].

Вопреки распространенному представлению, уже в доколониальную эпоху жизнь феллаха протекала не только в узких рамках его родного деревенского мирка. Крестьяне вступали в контакты и с «внешним», некрестьянским миром. Эти отношения носили преимущественно коллективный характер. В Магрибе деревню охватывала сеть крупных религиозных братств и племенных сообществ.

Большая часть сел Магриба входила в состав разных племен, обычно смешанного арабо-берберского происхождения. Издревле существовало два основных типа племенной организации. В первом случае несколько деревень оседлых земледельцев образовывали племя (ар. *кабила*, берб. ‘*арии*), обычно носившее имя общего мифического предка. Каждое племя имело свою территорию, включавшую неделимый фонд общеплеменных общинных земель (‘*арии*), а также изредка собиравшийся совет–*джемаа* из представителей входивших в него деревень. Во главе племени стоял периодически выбирающийся вождь (амин ал-

умана’). Такая общественная структура встречалась в деревнях кабильско-рифского типа [Bourdieu 1963: 11–12; Hart 1972: 25]. У полуоседлых земледельцев и полукочевников племена имели те же материальные атрибуты: земли – ‘арш, вождей – ка’ид, иногда и совет – джемаа. Но основной их ячейкой служила не деревня, а фракция, объединявшая несколько деревенских линиджей (ар. *фарик*, берб. *харфикт*). В Ауресе, Среднем Атласе и Антиатласе входящие в племенную фракцию большие семьи образовывали отдельные поселения (*дуар*) [Montagne 1947: 48–50; Gellner 1970: 205].

Племенные структуры долго сохранялись в колониальное и постколониальное время. До второй трети XX в. они охватывали около половины жителей Туниса [Видясова 1987: 238]. 709 племен сохранилось в Алжире в 1935 г. [Exposé de la situation générale 1938: 184–185], более 760 – в Марокко 50-х годов XX в. [Hoffmann 1967: 238]. Западная, в основном французская, магрибистика долго объясняла этот феномен исторической отсталостью традиционной деревни, преобладанием в ней «узкокланового племенного начала» над собственно крестьянским. Племена Северной Африки порой необоснованно ставились учеными XIX – начала XX в. в один ряд с кровнородственными объединениями первобытных народов [Daumas 1853: 191, 195; Жюльен 1961: I, 365]. Влияние такого, в сущности модернизаторского, взгляда на племенные институты Магриба XIX–XX вв., как на постепенно деградирующие родоплеменные структуры, к сожалению, встречается и в современных работах.

Однако за последние десятилетия антропологические исследования, проведенные в Марокко, показали, что магрибинское племя к началу французского завоевания давно уже не было замкнутым кровнородственным институтом. Оно лишь формально провозглашало «братство» своих членов, возводя их к единому, часто мифическому, предку. На деле это была социально неоднородная коалиция больших семей, принадлежавших к разным деревенским и городским слоям. Последние группировались вокруг держателей местной политической власти. Социально-политические и культурные границы такого этно-территориального объединения были очень широки. Каждое племя объединяло крестьян, ремесленников, торговцев, военную (*джуад*) и духовную (*марабутов*) аристократию [Wolf 1969: 214; Gellner 1970: 205].

К сказанному следует добавить, что до начала XIX в. в странах Магриба продолжалось формирование новых племен – либо за счет деления старых племенных сообществ, либо в результате слияния земледельцев с недавно ставшими оседлыми полукочевниками [Видясова

1987: 260]. Таким образом, для берберских (и арабских) крестьян племенные институты были не столько «пережитком» прошлого, сколько новообразованием. В социокультурном плане племенные социально-политическая организация и сознание, как нам кажется, не подавляли, а лишь дополняли описанные выше собственно крестьянские структуры деревни.

Специального постоянного аппарата управления магрибинское племя не знало. Общеплеменные джемаа лишь изредка помогали общинным советам деревень в решении междеревенских споров, не вмешиваясь во внутренние дела крестьянской общины [Daumas 1853: 204]. Сознание племенной солидарности проявлялось даже реже, чем сознание деревенского единства. Историко-этнографические материалы XIX–XX вв. говорят о том, что жители деревень, принадлежавших к одному племени, обычно объединялись лишь во времена войн, восстаний, природных катастроф. В повседневной жизни сознание принадлежности к одному племени чаще всего не имело для феллаха особого значения [Скоробогатов 1987: 110, 174].

В крестьянском сознании общеплеменные интересы подчиняются интересам своей деревни и, уже, – большой семьи. Практическое значение племени исчерпывалось для феллахов двумя важными задачами: поддержанием единства сельской общины и защитой ее от внешнего врага. Отождествление племени с большой семьей позволяло связать всех жителей деревни общими, хотя и фiktивными, генеalogическими узами [Tillion 1938: 42–54]. Образовывалась как бы их единая фамилия. Ведь имена североафриканских племен обычно начинаются со слова «дети», «сыновья» (ар. *бени*, берб. *айт*, *ульд*). Нередки случаи создания берберскими феллахами фiktивной «благородной» арабской генеалогии от своих завоевателей-кочевников. «Родство» с соплеменниками Пророка существенно повышало социальный статус деревни в глазах окружающего сельского населения.

Выгодами «благородного» происхождения пользовались, главным образом, отдельные большие семьи и деревенские фракции, ведшие род либо от родственников пророка (*шерифов*), либо от признанных святыми (*шейхами*, *марабутами*) духовных лидеров местных племен XI–XVIII вв. Такие святые покровители были у большинства берберских племен Магриба [Ратцель 1903: II, 503; Скоробогатов 1987: 114]. С XI в. кланы потомков наиболее почитаемых марабутов возглавляли военно-религиозные братства их последователей (*тарикат*), располагавшие собственными военными отрядами, разветвленной системой культурно-религиозных центров (*завийа*), пожертвованным им

неотчуждаемым религиозным имуществом и землями (*хабус*), а также средствами от сбора налога (*закят*) и десятины ('*ушр*). Фактически они давно превратились во влиятельную духовную знать своих племен [Gellner 1970: 207; Ланда 1976: 58–59].

Чем больше оказывалась магическая сила святого (его «*бара-ка*», то есть благодать), тем сильнее было влияние марабутов на окрестных крестьян. В марокканском Атласе наиболее популярны марабуты клана Хансала – потомки знаменитого святого Сиди Саида Ханс-ала. В колониальном Алжире самым мощным было братство Рахмания, основанное в конце XVIII в. чудотворцем из Большой Кабилии Бен Абд ар-Рахманом.

Свою огромную духовную власть руководители братства обычно использовали для посредничества между враждующими племенами. Во время проведения крупных местных празднеств и ярмарок они прекращали междуусобицы, устанавливая, подобно монахам раннесредневековой Европы, «Божий мир» (*анайа*) [Жюльен 1961: I, 58; Ageron 1964: 8]. В случае угрозы внешнего вторжения берберские марабуты организовывали межплеменные лиги (*такбилт*). Так было в Алжире в начале французского вторжения, а также во время крупнейших восстаний Абд ал-Кадира и ал-Мокрани [Gilsenan 1982: 141–151]. Тем самым подчинение местной духовной элите обеспечивало относительную внешнюю безопасность деревни.

Так исповедание культов народного ислама мобилизует сознание общедеревенской солидарности, о котором мы говорили выше. Приверженцы местных святых чувствуют себя повязанными их покровительством (*бара-ка*). По сообщениям этнографов, между жителями деревни и ее святым защитником устанавливаются отношения, имитирующие подчинение послушных сыновей своему заботливому всемогущему отцу. Местное деревенское происхождение большинства святых усиливает впечатление родственных связей с ними.

Вторым важнейшим результатом деятельности религиозных братств и служителей местных культов святых было сохранение деревней значительной автономии от религиозной организации городов. Духовными наставниками феллахов почти повсюду были часто полуграмотные деревенские шейхи и марабуты. Городское духовенство не пользовалось влиянием на крестьян вплоть до середины XX в. [Gellner 1970: 207]. В большинстве районов Северной Африки вероучители из городов даже изредка не наведывались в деревню. У берберов Марокко городские учителя местных сельских школ (*факих*) контролировались семьями марабутов. Деревня нередко изгоняла их. У многих народов

Магриба в доколониальное время широкое распространение получило обучение крестьянских детей в религиозных школах завий, которых только в одном Алжире начала XIX в. было около 400. Их эффективность была высока. Например, в Алжире накануне французского завоевания неграмотного деревенского населения было меньше, чем во Франции того времени [Lacoste, Nouschi et Prénant: 1960: 228–229].

Итак, религиозные братства и племенные сообщества существенно сплачивали крестьянство Северной Африки. Но консолидация последнего до начала XIX в. шла лишь на уровне обособленных разнородных общин. Между этими общинами, как и между большими социальными группами крестьян, кочевников и горожан, на которые традиционно делилось население Магриба и Египта, сохранялось давнее отчуждение. Воинственные бедуины презирали оседлых земледельцев, а те смотрели на первых как на грабителей. Вместе с тем, в средневековом Магрибе сельские племена кочевников и оседлых феллахов совместными усилиями периодически грабили и разрушали города, богатство которых всегда вызывало их зависть и алчность [Ланда 1976: 46].

Подобная сегментация доколониального общества связана с хозяйственно-культурной автаркией отдельных сельских и городских общин, а также с царившим в них духом корпоративной замкнутости. Любая из местных общин не допускала в свои полноправные члены пришельцев (*барранийя*), будь то кабильские мигранты в городах или городские торговцы в деревнях [Видясова 1987: 244]. Это правило поддерживалось и социально-психологическими установками арабо-мусульманской культуры, признававшей ценность индивида лишь как члена его родной общины [Иванов 1982: 46].

Кроме того, отчуждение между разными общинами города и деревни было обострено вследствие непрерывных иностранных завоеваний Северной Африки. Вплоть до прихода европейских колонизаторов в XIX в. большинство завоевателей, от византийцев до турок включительно, при управлении в сельской местности опиралось главным образом на военно-служилое сословие. Последнее во многом формировалось за счет военной и духовной знати коренного населения. На государственную службу принимались целые племена. В позднеосманское время они образовывали освобожденную от податей «туземную полицию» (*махзен*), в функции которой входил сбор налогов с племен и сельских общин. По современным подсчетам, в Алжире маузен составляли 10–20 % сельского населения [История XIX века 1938: 290; Ланда 1976: 44]. Непрерывная борьба одних деревенских группировок с другими еще больше укрепляла существовавшие между ними этнические и

социокультурные барьеры. В свою очередь, крестьяне, держа сторону своего племени или связанный с ними патронажными узами местной знати, раскалывались на множество мелких враждующих общин.

Чувство внутренней солидарности жителей деревни и традиционная конфронтация с соседними деревенскими и городскими общинами предопределили сепаратистские взгляды берберских крестьян на общество в целом. Родиной, или «своей землей» (*блед ал-‘арш*) бербера традиционно считали территорию своей деревни, племенной фракции (*дуар*) или области [Bennoune 1986: 51; Lacoste, Nouschi et Prénant: 1960: 35]. Вплоть до середины XX в. политический горизонт берберского крестьянина оставался очень узким. Племенное деление в сельской местности еще сильнее подчеркивало сепаратистские настроения деревни. За пределами «его племени» для крестьянина начиналась чужая незнакомая страна. По отзывам современников, от алжирского феллаха в Ауресе или Большой Кабилии невозможно было услышать, что он «алжирец». До 30-х годов XX в. огромный многоплеменной Алжир не представлял для крестьянина политического единства [Launay 1963: 15].

Комплекс представлений о «своей стране» отражал видение крестьянами политической системы общества в целом. В их глазах народ являл собой буквально одно социальное «тело», составляющее единый организм благодаря нерушимым традиционным узам. Поэтому в берберских языках понятие «страна», «земля» (*‘арш*) также имеет значение «тело человека». В селах Рифа *иррес* – это как «линидж», так и «кость». А для кабилов слово *дешра* означает не только деревню, но и палец руки или ноги [Daumas 1853: 194; Бернар 1949: 83].

Конкретность мышления заставляла феллахов отделять свой мир от мира «чужаков» реальной природной преградой. Земледельцы горных долин (*уед*) алжирского Телля и марокканского Атласа видели ее в окружающих их земли труднодоступных горных хребтах. За ними начиналась враждебная страна прибрежных арабов [Colonna 1987: 116–117].

По общему представлению, два этих мира отличались не только внешне, но и по внутреннему строению. В глазах берберских крестьян враждебное им городское или кочевническое общество было царством хаоса и беззакония. Именно так отзывались об арабских городах Алжира вернувшиеся в родные деревни кабильские мигранты XVIII – XIX в. [Mamméri 1952: 167, 224]. Наоборот, своя деревня казалась им упорядоченной иерархией, построенной на основании божественного закона. «Мы» – это еще Бог и местный святой, союзники и защитники от «бездонных иноземцев». Поэтому крестьянин не обращался к этим вопло-

щениям надмирской власти иначе, как «наш господь», «наш шейх или вали» [Gellner 1970: 207].

Итак, закон и власть совершенно необходимы для мира. Однако для крестьянина они еще не составляют отдельных политических понятий, и всегда связываются с их конкретным носителем – руководителями семьи и деревни. Потому даже Бога – источник всяческой власти, – феллах привычно рисует заботливым отцом большой семьи [ср. Айру 1954: 155–156]. Те же отношения всемогущего отца и послушных сыновей чувствуются в многочисленных пословицах и поговорках: «Бог даст», «Бог охраняет урожай», «Бог с теми, кто терпелив», «Все мы от Бога и к Богу вернемся» и проч. [Tillion 1938: 42–54]. Такое очеловечение власти вообще характерно для крестьянского сознания. Недаром русские крестьяне до революции 1917 г. говорили вместо «государственный» – «государев».

Разделение власти на законодательную, исполнительную и судебную до недавнего времени было непонятно берберским крестьянам. С детства они привыкли повиноваться неограниченной неразделенной власти патриарха семьи. Берberы верили, что их духовные вожди – маабуты – получают от Бога единую чудотворную власть *барака*: право благословлять и приносить процветание стране. *Барака* неделима, ибо при разделении неминуемо потеряет свою силу [Gellner 1970: 212, 215]. Вместо традиционного европейского членения власти, уже при османской администрации деревня привыкла различать «законную» и «противозаконную» власть. К первой она относила свое джемаа, его старосту, маабутов. Ко второй – управляющих селом чиновников, а также военную аристократию неместного происхождения [Gellner 1970: 205].

В этнически пестром и социально сегментированном традиционном обществе Северной Африки до прихода европейских завоевателей еще не сложилось единых общенациональных культур. Отчасти это предопределило отсутствие в мировоззрении берберского крестьянства Магриба того наивного монархизма, что так хорошо известен нам по средневековой европейской и дореволюционной русской деревне. Местная мусульманская деревня не воспринимала как «царя-батюшку» ни деев пиратско-янычарского Алжира, ни, зачастую, королей-шерифов Марокко. Все они оставались для крестьян чужеземцами; более того, с конца XV в. в сознании мусульман Северной Африки утвердился взгляд на центральные правительства как на нечистоплотные клики узурпаторов, изменивших принципам чистого ислама. Отказ защищать своих

«прокаженных» властителей сильно облегчил османское завоевание региона в XVI в. [Иванов 1984: 16, 62, 201].

Такое неприятие крестьянством позднесредневековых режимов XV–XVIII вв., не выходивших из затяжного кризиса, по верному замечанию Н.А. Иванова, способствовало тому, что у жителей арабо-мусульманской деревни сложилась «османофильская утопия» [Иванов 1984: 202]. Деревня Магриба не испытала особых притеснений от самих турок, которых в османской администрации Северной Африки было немного [Ageron 1964: 6]. Феллахам также импонировала борьба Османской империи с их извечными угнетателями – кочевниками. Поэтому турецкое завоевание XVI в. осталось в памяти крестьян как освобождение их от неправедных правителей. Берберский и арабский фольклор Алжира донес до нас устойчивый образ праведных справедливых османских султанов прошедших веков, защитников *райя* и «крестьянской правды» на земле [Иванов 1982: 42–43].

Благодаря такой разобщенности доколониального деревенского общества, основным очагом развития крестьянской культуры у берберов Магриба издавна была отдельная деревня. Причем культура феллахов не отличалась застойностью и закостенелостью, которые ей приписывали многие европейцы. Она находилась в постоянном развитии. Не образуя единой социально-политической структуры с жителями городов и кочевниками, деревня тем не менее не переставала впитывать идущие от них более универсалистские культурные влияния, перерабатывая последние на местный, земледельческий лад. Культурному обмену способствовали паломничества к гробницам святых, а также привлекавшие феллахов городские рынки и общеплеменные ярмарки (*сук*) [Видясова 1987: 230]. Но общение между поселениями было крайне нерегулярным. В повседневной жизни близлежащие селения оказывались почти полностью изолированными друг от друга. Поэтому, несмотря на универсальный характер крестьянской культуры, сельское общество доколониального Магриба сохраняло многообразие региональных типов.

ЛИТЕРАТУРА:

- Айру А.* Феллахи Египта. М., 1954.
Бернар О. Северная и Западная Африка. М., 1949.
Видясова М.Ф. Экономика стран Магриба. М., 1982.
Видясова М.Ф. Социальные структуры доколониального Магриба: генезис и эволюция. М., 1987.

- Давыдов А.Д.* Сельская община и патронимия в странах Ближнего и Среднего Востока. М., 1979.
- Жюльен Ш.-А.* История Северной Африки. М., 1961. Т. 1–2.
- Иванов Н.А.* О некоторых социально-экономических аспектах традиционного ислама (на примере арабо-османского общества) // Ислам в странах Ближнего и Среднего Востока. М., 1982. С. 40–58.
- Иванов Н.А.* Османское завоевание арабских стран, 1516–1574. М., 1984.
- История XIX века. Изд. Лависсон и Рамбо. М., 1938. Т. 4.
- Косвен М.О.* Этнография и история Кавказа. М., 1961.
- Ланда Р.Г.* Борьба алжирского народа против европейских колонизаторов (1830–1918). М., 1976.
- Ланда Р.Г.* Страны Магриба: общество и традиции. М., 1988.
- Матвеев В.В.* Средневековая Северная Африка. М., 1993.
- Ратцель Ф.* Народоведение. С.-Пб., 1903. Т. 1–2.
- Скоробогатов В.В.* Алжирская народная поэзия (на малхуне). М., 1987.
- Фей Сюо Тун.* Китайская деревня глазами этнографа. М., 1989.
- Чихачев П.А.* Испания. Алжир. Тунис. М., 1975.
- Adams R.H.* Development and Social Change in Rural Egypt. New York, 1986.
- Aderon Ch.-R.* Histoire de l'Algérie contemporaine. Paris, 1964.
- Alavi H.* Village Factions // Peasants and Peasant Societies. 2nd ed. London, 1988. P. 346–356.
- L'Algérie en quelques chiffres. Alger, s.d.
- Basagaña R. et Sayad A.* Habitat traditionnel et structures familiales en Kabylie. Alger: Mémoires du CRAPE, 1974. Т. 23.
- Benoune M.* El-Akbia: un siècle d'histoire rurale algérienne, 1857–1975. Alger, 1986.
- Bourdieu P.* Sociologie de l'Algérie. Paris, 1963.
- Bourdieu P.* Algeria 1960: essays. Cambridge, 1979.
- Bourdieu P. et Sayad A.* Le déracinement. La crise de l'agriculture traditionnelle en Algérie. Paris, 1964.
- Colonna F.* Savants paysans. Éléments d'histoire sociale sur l'Algérie rurale. Alger, 1987.
- Daumas E.* Moeurs et coutumes de l'Algérie: Tell – Kabylie – Sahara. Paris, 1853.
- Desparmet J.* Coutumes, institutions, croyances des indigènes de l'Algérie. Alger, 1948. Т. 1–2.
- Duvignaud J.* Chébika. Mutations dans un village du Maghreb: étude sociologique. Paris, 1968.

- Exposé de la situation générale de l'Algérie. Alger, 1938.
- Favret J.* Le traditionnalisme par excès de modernité // Archives européennes de sociologie. Paris, 1967. T. 8. P. 71–93.
- Fei Hsiao Tung.* Peasantry as a Way of Living // Peasants and Peasant Societies. London, 1988. P. 57–59.
- Gellner E.* Saints of the Atlas // Peoples and Cultures of the Middle East / Ed. by E. Sweet. Garden City, 1970. Vol. 1. P. 204–219.
- Gilsenan M.* Recognizing Islam. Religion and Society in the Modern Arab World. New York, 1982.
- Hart D.M.* The Tribe in Modern Morocco. Two Case Studies // Arabs and Berbers. London, 1972. P. 25–34.
- Hoffmann B.G.* The Structure of Traditional Moroccan Rural Society. The Hague – Paris, 1967.
- Johnson D.* Algeria: Some Problems of Modern History // Journal of African Studies. Cambridge, 1964. Vol. 5, No. 2. P. 221–236.
- Julien Ch.-A.* L'Afrique du Nord en marche. Paris, 1952.
- Lacoste Y., Nouschi A., Prénant A.* L'Algérie: passé et présent. Paris, 1960.
- Launay M.* Paysans algériens: la terre, la vigne et les hommes. Paris, 1963.
- Lizot J.* Métidja, un village de l'Ouarsenis. Alger: Mémoires du CRAPE, 1973. T. 22.
- Louis A.* Tunisie du Sud. Ksars et villages de crête. Paris, 1975.
- Mamméri M.* La colline oubliée. Paris, 1952.
- Maunier R.* La construction collective de la maison en Kabylie // Institut d'éthnographie de l'Université de Paris. Paris, 1926. No. 3. P. 43–54.
- Montagne R.* La civilisation du désert. Nomades d'Orient et de l'Afrique. Paris, 1947.
- Morizot J.* L'Algérie kabylisée // Cahiers de l'Asie et de l'Afrique. Paris, 1962. Vol. 6. P. 15–31.
- La poésie algérienne de 1830 à nos jours. Paris, 1963.
- Rugh A.B.* Family in Contemporary Egypt. New York, 1984.
- Schorger W.* The evolution of Political Forms in a North Moroccan Village // Anthropological Quarterly. Washington, 1969. Vol. 49, July. P. 266–281.
- Sonneck C.* Chants arabes du Maghreb. Etude sur le dialecte et la poésie populaire de l'Afrique du Nord. Paris, 1902–1904. T. 1–2.
- Tillion G.* Les sociétés berbères de l'Aures méridional. Le harfiqt // Africa. Alger, 1938. T. 12. P. 42–54.
- Tillion G.* L'Algérie en 1957 ou le drame des civilisations archaiques // Annales ESC. Paris, 1957. No. 3. P. 393–402.
- Wolf E.* Peasant Wars of the Twentieth Century. New York, 1969.

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ЙЕМЕН (I-II тыс. н. э.)

А.В. Коротаев

Есть основания утверждать, что данные о социально-политической организации горцев Ближнего и Среднего Востока (включая Кавказ) предоставляют некоторые дополнительные аргументы против ставшей к настоящему времени почти «классической» однолинейной в своей основе схемы социально-политической эволюции «община (локальная группа) – вождество – (сложное вождество) – раннее государство – зрелое государство (*mature state*)»*.

Северо-Восток Йемена «выбрался» из этой схемы уже в конце I тыс. до н.э. когда, по-видимому, в результате первого социально-экологического кризиса относительно регулярное Древнесабейское государство трансформировалось в систему, состоящую из слабого государства в центре и сильных вождеств на периферии [Коротаев 1993; 1995; 1996а; 1996б; 1997; 1998; Коротаев 1993б; 1994с; 1995а: 79–96].

Важно подчеркнуть, что сложившуюся в результате этого среднесабейскую (II–III вв. н.э.) социально-политическую систему нет достаточных оснований характеризовать ни как государство, ни как вождество. Эта система, взятая в целом, не обладала основными характеристиками государства, такими как наличие регулярного, формального административного аппарата, искусственного территориального деления или регулярной системы налогообложения [Коротаев 1991; 1993; 1997; 1998; Коротаев 1993б; 1994а; 1996а]. Выше система эта была охарактеризована как состоявшая из слабого государства в центре и сильных вождеств на периферии. Однако нет сомнений, что это была именно **система**, т.е. целостная совокупность элементов, обладающая интегративными качествами, такими качествами, которые не могут быть сведены к характеристикам элементов системы**. Следует также

* См., например, теоретические главы в: Claessen, Skalnik 1978; 1981; Claessen, van de Velde, Smith 1985; см. также: Claessen 1984; при этом основы данной однолинейной схемы были заложены Э.Сервисом [Service 1971 (1962)].

** Так же не кажется продуктивным рассматривать среднесабейский культурно-политический ареал как простой конгломерат политических единиц или даже как что-то, подобное союзу племен или государств: уровень политической интеграции для данной

принять во внимание и тот факт, что государство и вождество были не единственными элементами этой культурно-политической системы. Она включала также, например, субсистему храмовых центров,^{*} гражданско-храмовую общину Мариба^{**} и, видимо, несколько настоящих племен (не вождеств) в районе сабейских Нижних Земель (прежде всего племена Амиритской конфедерации [см.: von Wissmann 1964a; Robin 1991d и т.д.]^{***} и др.

С переходом от Древнего периода к Среднему сабейская политическая система существенно трансформировалась и стала в целом существенно отличаться от «государства», оставшись, тем не менее, в основе своей на том же уровне политической сложности^{****}. Не утрачивая общей политической сложности, сабейцы Среднего периода смогли найти в обширном территориальном сообществе эффективное решение иными, «негосударственными», путями проблем, обычно решаемых на таком уровне именно государствами (таких, как надобщинная мобилизация ресурсов для обеспечения функционирования управляющей субсистемы, территориальная организация обширного пространства, обес-

системы был достаточно высоким, вполне сопоставимым с политической интегрированностью среднего раннего государства. Следовательно, подобную систему имеет смысл отнести к тому же уровню политической интеграции, что и, скажем, раннее государство (а не рассматривать ее как однопорядковую таким образованиям, как союзы племен или государств).

^{*} Как я пытаюсь показать в другом месте [Korotayev 1996a: разделы II.3., III.3., IV.3, и глава V], среднесабейские храмы имели важные политические функции; однако уровень их автономии выглядит обычно очень высоким, и они никоим образом не могут быть обычно охарактеризованы как интегральные компоненты административных субсистем среднесабейских вождеств и государства.

^{**} Эту гражданско-храмовую общину, по-видимому, было бы неправильно охарактеризовать ни как «вождество», ни как «государство». Есть некоторые основания подозревать существование автономных гражданско-храмовых общин и в Нашке и Наашшане [см., например: Beeston 1976; 1979; Лундин 1969; Loundine 1973]. Ша'б Сирваха также, по-видимому, имел определенные черты гражданско-храмовой общины на некоторых этапах своей истории (см. особенно Ja 2856).

^{***} Племена эти, впрочем, не играли, как кажется, в функционировании среднесабейской политической системы достаточно важной роли.

^{****} Пользуясь эволюционной терминологией, предложенной Северцовым [1939; 1967], подобная трансформация должна быть охарактеризована как «идиоадаптация» (\approx *cladogenesis* [Rensch 1959: 97f.; Dobzhansky *et al.* 1977; Futuyma 1986: 286 ff]), хотя, конечно, и не как «ароморфоз» (\approx *anagenesis* в том смысле, в каком понятие это было изначально предложено Реншом [Rensch 1959: 281–308; см. также: Dobzhansky *et al.* 1977; Futuyma 1986: 286 ff]), но и в любом случае не как «дегенерацию».

печенье на этом пространстве гарантий жизни и собственности и т.д.) [Коротаев 1991; 1997; 1998; Korotayev 1996].

Уже «среднесабейский» опыт, как кажется, демонстрирует, что хорошо интегрированная территориальная общность (даже если она является достаточно большой, сложной и развитой в сравнении, скажем, со средним вождеством) совсем не обязательно должна быть политически организована как государство. Как кажется, уже этот опыт показывает, что для «раннего государства» (в классеновском смысле этого понятия [см. Claessen and Skalnik 1978]) переход к «зрелому государству» (*mature state*) или полная «дегенерация» до уровня примитивных племен и вождеств не были единственными возможными путями эволюции. Одной из возможных альтернатив здесь, как мы видим, могла быть трансформация в «политическую систему среднесабейского типа» (надо отметить, что для обозначения подобных социально-политических систем в современной социоантропологии, судя по всему, отсутствует сколько-нибудь адекватный термин). Реальные процессы политической эволюции оказываются заметно менее однолинейными, чем это до сих пор иногда предполагается.

В дальнейшем социально-политическая эволюция ареала стала отклоняться еще дальше от траектории, предписываемой ему однолинейными неоэволюционистскими схемами.

В первом тысячелетии н.э. в Северо-Восточном Йемене система, состоящая из слабого государства в центре и сильных вождеств на периферии, по-видимому, трансформировалась в политический организм, состоящий из несколько более сильного государства в центре и собственно племен (но не вождеств) [см., например: Пиотровский 1985; Robin 1982b; Dresch 1989: 191]. Племена и государство в этой системе образовывали единое хорошо интегрированное целое [Голубовская 1971: 59–62; 1984: 11; Пиотровский 1985: 70, 97–100; Герасимов 1987: 45–55; Удалова 1988: 18–9; Stookey 1978: 79–95, 171–173; Obermeyer 1982; Dresch 1984b; 1989; Abu Ghaniem 1985: 98–138; 1990; vom Bruck 1993 и др.]. Адекватный термин для обозначения подобной системы, как кажется, отсутствует.

Возможно, здесь имело бы смысл предложить что-то типа «мультиполития» – от латинского *multi*, «много», и древнегреческого *politeia*, «политическое устройство»; при этом я имел в виду, конечно, и широко употребляющийся в современной англоязычной политантропологии термин *polity*, образованный на основе вышеупомянутого греческого слова и использующийся в качестве родового по отношению к таким понятиям как «государство», «вождество», «суверенная община» и

т.д., т.е. для обозначения автономных политических систем любого типа. Термин этот (в форме *полития*) был бы, на мой взгляд, нелишним и в терминологическом аппарате отечественной политантропологии. Мультиполитио я бы определил как высокоинтегрированную систему, состоящую из разнородных политий (скажем, из государства и вождества или государства и племен). Как кажется, нет никаких оснований рассматривать мультиполитио как локально южноаравийский феномен. Внеюжноаравийские примеры мультиполитио североиemenского типа («государство + племена») можно без труда найти, скажем, на Среднем и Ближнем Востоке Нового Времени [см., например: Иванов 1963; Al-Rasheed 1994; Evans-Pritchard 1949; Eickelman 1981: 85–104; Tapper 1983 и др.]; внеюжноаравийские примеры мультиполитио среднесабейского типа («государство + вождества [+ 'независимые' общины]») можно найти на том же Ближнем и Среднем Востоке Нового Времени (где заметная часть так называемых «племен» представляла собой вождества в терминологии Сервиса [Service 1971 (1962): 144; Johnson and Earle 1987: 238–243 и др.]). В качестве внеближневосточного примера мультиполитио среднесабейского типа («государство + вождества») может служить, как кажется, королевство Бенин в некоторые периоды его истории [Bondarenko 1994; Бондаренко 1995а: 183–194; 1995б], а возможно, и некоторые другие западноафриканские королевства [Service 1971 (1962): 144]. Двумя вышеуказанными типами все многообразие мультиполитио, очевидно, не исчерпывается; например, ни к одному из них не может быть отнесено такое политическое образование, как «государство святых» Центрального Атласа Нового Времени, периферия которого состояла из племен, но центр не может быть охарактеризован ни как вождество, ни как государство, ни как племя [Gellner 1969].

Эти трансформации нет никаких оснований рассматривать как «дегенерацию» или «регресс», ибо ни в том, ни в другом случае не происходило потери сложности системы – одна сложная политическая система трансформировалась в структурно другую, но не менее сложную высокоорганизованную систему. Общий уровень самоорганизации системы при этом даже несколько повышался.

Представляется возможным дать определенную аргументацию в пользу того, что, например, трансформацию доисламского «сабейского» *s²bⁿ HS²D^m* в средневековый (и современный) *qabilat Hashid* имеет смысл рассматривать именно как трансформацию вождества в племя (или племенную конфедерацию). Конечно, понятия «племя» (*tribe*) и «вождество» (*chiefdom*) достаточно многозначны. В особенности это относится к понятию «племя», употреблявшемуся (и употребляемому)

многими исследователями и для обозначения политических структур, вполне подпадающих под определение «вождества». Это относится, скажем, к понятию *tribe-state* Малиновского [Malinowski 1947: 259–261; см. также, например: Sahlins 1968: 20–21; о смешении понятий *tribe* и *chiefdom* см.: Fried 1975: 60–65, 88–98]. При таком понимании среднесабейский *sha`b* второго порядка [см.: Korotayev 1993c; 1994d]^{*} вполне может быть обозначен и как «племя».

Понятие «вождество» (*chiefdom*) в том виде, в каком оно было введено в научный оборот Сервисом в 1962 году в первом издании «Первобытной социальной организации» [Service 1962], совершенно определенно отграничивалось от понятия «племя». Вместе с тем, в дальнейшем и этот термин стал приобретать все большую многозначность, все более и более сближаясь у некоторых исследователей с понятием «племя», в том виде, как оно было определено Сервисом [см., например: Sahlins 1968: 20–21; Renfrew 1974 и т.д.].

Тем не менее, «терминологический голод» в современной палеосоциологии, на мой взгляд, столь силен, что употреблять понятия «племя» и «вождество» в качестве синонимов было бы, как мне кажется, непозволительной роскошью. В том же случае, если мы решим использовать эти понятия для обозначения двух разных исторических форм политической организации, определенным приоритетом, на мой взгляд, должны пользоваться критерии различия вождества и племени, предложенные исследователем, впервые введшим понятие «вождество» (*chiefdom*) в широкий научный оборот. Речь идет, естественно, о

* Среднесабейский культурно-политический ареал представлял собой прежде всего систему *sha`бов* (*s²’b/s²b*). Как удалось показать французскому сабеисту Робэну, понятие это в разных контекстах могло обозначать достаточно разные (особенно с точки зрения современного исследователя) типы общностей, образовывавших при этом определенную структурную иерархию [Robin 1979; 1982a: I, 71–77; 1982b: 22–25]. *Ша’бы* первого (сверху) порядка представляли собой довольно аморфные этнокультурные общности, не имевшие (если только они не совпадали с *sha`бами* второго порядка) никакой политической централизации, но связанные, как правило, общим самоназванием, «общеплеменным» божеством, некоторыми особенностями культуры, такими как, например, общий календарь, эпонимат и т.п. [подробнее об этом см. Korotayev 1994g]. Общности эти занимали территории в несколько тысяч кв.км. *sha`бы* второго порядка представляли собой несравненно более политически централизованные общности, занимавшие территорию в несколько сот кв. км [Robin 1979; 1982a: I, 71–93; 1982b: 22–24]. Наконец, каждый *sha`b* второго порядка, как правило, включал в себя несколько *sha`бов* еще более низкого, третьего, порядка, охватывавших территории по несколько десятков кв. км. *Ша’бы* этого порядка представляли собой достаточно компактные самоуправляющиеся территориальные образования с явно выраженным центральным поселением, *хагаром* (*hgr*).

Сервисе [Service 1971 (1962)]. Само слово *chiefdom* употреблялось, конечно, и до Сервиса, в особенности в трудах политантропологов, изучавших социально-политическую организацию индейцев Южной Америки [Oberg 1953; 1955; Steward and Faron 1959], где термин этот использовался для обозначения одного из типов политических систем коренного населения этого региона. Однако именно Э.Сервис впервые разработал понятие «вождества» как универсальной (а не региональной) формы политической организации, в том числе указав и достаточно четкие отличия вождества как от племени, так и от государства [Service 1971 (1962): 133–169].

Надо отметить, впрочем, что Сервис, к сожалению, не дает полностью строгих определений ни племени, ни вождества. Тем не менее он указывает довольно определенные критерии для различия двух данных форм политической организации, и критерии эти создают определенную основу для проведения номинального измерения.

Итак, как Сервис определяет различия между политической организацией племени и вождества? Политическая организация племени характеризуется следующим образом:

«Лидерство в племенном обществе является личным ... и осуществляется только для достижения конкретных целей; отсутствуют какие-либо политические должности характеризующиеся реальной властью, а 'вождь' здесь просто влиятельный человек, что-то вроде советника. Внутриплеменная консолидации для совершения коллективного действия, таким образом, не совершается через аппарат управления... Племя ... состоит из экономически самодостаточных резидентных групп, которые из-за отсутствия высшей власти берут на себя право себя защищать. Проступки против индивидов наказываются самой же корпоративной группой... Разногласия в племенном обществе имеют тенденцию генерировать между группами конфликты с применением насилия» [Service 1971 (1962): 103].

Сразу же отмечу, что сказанное Сервисом может быть вполне отнесено (естественно, не без некоторых, хотя и достаточно незначительных оговорок) к современным североиemenским племенам (но не к среднесабейским *sha'bам* второго порядка [Korotayev 1993c; 1996: 46–72; Коротаев 1997:113–117; 1998: 26–37]).

«Шейх не может предпринимать чего-либо от лица своих людей просто на основе своего формального положения; всякая акция, затрагивающая их интересы, должна быть конкретно с ними согласована» [Dresch 1984a: 39].

«Власть, которую шейх может иметь над группами членов племен, не обеспечивается ему его формальным положением. Он должен постоянно участвовать в их делах, и участвовать успешно» (для того, чтобы свою власть сохранить) [Dresch 1984a: 41; см. также: Chelhod 1970; 1979; 1985: 39–54; Dostal 1974; 1990: 47–58, 175–223; Obermeyer 1982; Dresch 1984b; 1989; Abu Ghani 1985; 1990: 229–251; vom Bruck 1993 и т.д.].

Необходимо также подчеркнуть, что характеристикой племенной **организации** логичнее все-таки было бы считать не столько сами конфликты между составляющими племя «резидентными группами», которые характеризуют и первобытные сообщества, не имеющие племенной организации (Э. Сервис относит последние к *the band level of sociocultural integration* [Service 1971 [1962]: 46–98]), а то, что племенная организация ставит эти конфликты в определенные рамки, заставляет стороны конфликтовать по определенным правилам, предоставляет в распоряжение сторон зачастую крайне развитые механизмы посредничества и т.п., нередко вполне эффективно блокируя потенциально крайне дезинтегрирующие следствия подобных конфликтов, но не отчуждая вместе с тем «суверенитета» резидентных групп (Э. Сервис в общем-то говорит об этом на последующих страницах, но, на мой взгляд, недостаточно четко). Необходимо также отметить, что описанная Э. Сервисом ситуация может быть связана не обязательно лишь с полным отсутствием каких-либо надплеменных политических структур («*higher authority*»), а с их слабостью (как это наблюдается для большинства племен Ближнего и Среднего Востока); слабость же подобных структур в «племенных районах» может быть в свою очередь нередко связана именно с эффективностью племенной организации, позволяющей достаточно высокоразвитому населению обходиться без организации государственной.

При этом к сказанному Сервисом кажется необходимым (для того, чтобы избежать нежелательной синонимии) все-таки добавить и такой критерий как «сверхобщинность» племенной организации – для того, чтобы вышеописанную форму политической организации можно было бы рассматривать именно как «племенную», она должна охватывать более одной общины, иначе перед нами будет просто лишь одна из разновидностей общинной организации. Можно вполне согласиться со следующими утверждениями Фрида:

«...Существеннейшим элементом понятия племя является выход племенной организации за пределы одной, отдельно взятой, общины и, *pari passu*, то, что племенная организация имеет функции, кото-

рые агрегируют деревни, иначе существовавшие бы сами по себе, в единое взаимодействующее целое» [Fried 1975: 39].

Реальное употребление Сервисом понятия «племя» (*tribe*) не противоречит сказанному [Service 1971 (1962): 99–132], хотя критерий этот и не был сформулирован им вполне четко. Социально-политическая же организация вождества характеризуется Сервисом следующим образом:

«Важнейшее изменение совершающееся на уровне вождества заключается в том, что специализация и редистрибуция уже не привязаны лишь к отдельным акциям, а характеризуют теперь постоянно большую часть деятельности общества. Вождества это *редистрибутивные общества* с постоянным центральным координирующим центром» [Service 1971 (1962): 134].

«Когда позиция вождя становится постоянной *должностью* в структуре общества, социальное неравенство становится характеристикой всего общества, за чем следует и неравенство в потреблении... Создание наследственной должности вождя, с высоким статусом занимающего его индивида, естественно, влечет за собой возможность и иных высоких статусов... Высокий статус вождя поднимает статус всех членов его семьи..., а затем до некоторой степени и всего его рода... Вождь необходимо создает своего рода «аристократию»... Другой важной чертой является его способность планировать, организовывать и использовать общественный труд».

«В некотором смысле вождество имеет пирамидальную или коническую структуру». Наконец, Э.Сервис и прямо формулирует основные отличия вождества от племени:

«Вождество радикально отличается от племени или первобытной общины не только экономической и политической организацией... – племена эгалитарны, вождества же глубоко неэгалитарны» [Service 1971 (1962): 139–142].

«Наиболее четкая характеристика, отличающая вождества от племен... – это все пронизывающее неравенство между индивидами или группами в вождествах... Эфемерный лидер, характерный для племен, имеет функции и атрибуты, вытекающие из его собственных способностей. 'Должность' же [вождя] – это позиция в социально-политической структуре, имеющая постоянно принадлежащие ей функции и признанные атрибуты вне зависимости от того, кто ее занимает» [Service 1971 (1962): 145–146].

Характеристике этой, надо сказать, не противоречат существенно и определения вождества, даваемые другими исследователями,

например: «...автономная политическая единица, включающая в себя некоторое число деревень или общин, находящихся под постоянным контролем верховного вождя» [Carneiro 1981: 45]; «полития, централизованно организующая региональное население, исчисляемое тысячами» [Earle 1991: 1]; или «промежуточная форма политической структуры, в которой уже есть централизованное управление и наследственная иерархия правителей и знати, существует социальное и имущественное неравенство, но еще нет формального и тем более легализированного аппарата принуждения и насилия» [Васильев 1980: 182].

Если среднесабейский *sha`b* второго порядка [см. Коротаев 1991; 1997: 113–117; 1998: 26–37; Korotayev 1993b; 1994d; 1996: 46–72] вполне неплохо (хотя и с некоторыми, небольшими оговорками) соответствует описанию «вождества» Сервисом (как, впрочем, и определениям других исследователей), то, как уже упоминалось выше, описание тем же автором «племени» с самыми небольшими оговорками может быть отнесено к йеменским *qaba'il* средневековья, Нового и Новейшего времени. Упомяну все же главную из этих оговорок.

Политическая организация йеменских *qaba'il*, действительно, относительно^{*} эгалитарна. Однако североиemenские племенные сооб-

* Относительно хотя бы среднесабейского *sha`ba* второго порядка. На качественную разницу между положением шейхов современных североиemenских племен и *кайлами* среднесабейских *sha`bov* уже обращал внимание Робэн [Robin 1982a: I, 83–85]. Действительно, если шейхи североиemenских племен – это прежде всего «первые среди равных» [Obermeyer 1982: 36; Dresch 1984a; 1984b: 156–157; 1989: 38–116; Abu Ghaniem 1985: 115–133, 209–212, 259–266], то среднесабейских *кайлей* от рядовых членов *sha`bov* отделяла гигантская социальная дистанция. Например, отношение *кайлей* и их *sha`ba* передается в надписях через категории '*dm* – '*mr*', «зависимые – господа»; те же категории используются и для обозначения отношений между клиентами и патронами, поданными и царем, людьми и божествами (в R 3910 форма единственного числа неопределенного состояния для '*dm* – '*bd*' использована даже для обозначения рабов, продававшихся на рынке Маффриби [подробнее об этом см. Korotayev 1995b]). В большинстве среднесабейских посвятительных надписей, поставленных рядовыми членами среднесабейских *sha`bov*, общинники просят божества даровать им благосклонность (*hzy w-rdw*) их господ, *кайлей* (а иногда даже просят защитить их от возможного гнева *gfy* – господ). Конечно же, подобный стиль отношений между лидерами и рядовыми членами политической системы кажется совершенно немыслимым для современных (и средневековых) североиemenских племен. Примечательно, что термин *sayyid* (господин) еще в раннеисламский период употреблявшийся для обозначения глав племен [Пиотровский 1985: 77; Dresch 1989: 169, 191–192], в более позднее время полностью вытесняется на Севере Йемена заметно более нейтральным *shaykh* (старец), в то время как обозначение *sayyid* закрепляется за представителями «религиозной аристократии», находившейся в племенной зоне североиemenской мультиполитии в большинстве своем вне племенной организации, под защитой племен.

щества, взятые в целом, никак не могут быть признаны эгалитарными. Дело в том, что наряду с членами племен (составляющими большинство населения и основную массу пашенных земледельцев) в племенные сообщества входят многочисленные «квазикасты»* невооруженного «слабого» населения, не входящего в племенную организацию, и находящегося «под защитой» племен (*du`afa'*, «слабые»): мясники и цирюльники (*mazayinah*), племенные «геральды» (*dawashin*), торговцы (*bayua`in*), огородники (*ghashshamin*), ремесленники, прежде всего ткачи (*sani`in*), домашние слуги (*akhdam*), находившиеся в самом низу социальной иерархии, и т.д.; к «слабым» в племенной зоне традиционно относилось и еврейское население этих мест [Голубовская 1981; 1984: 11; Пиотровский 1985: 64, 87; Удалова 1988: 19–20; Abu Ghaniim 1985: 234–249; Chelhod 1970; 1975: 76–82; 1979: 48, 54–57; 1985: 15–37; Dresch 1984b: 159; 1989: 117–123; Obermeyer 1982: 36; Serjeant 1977; Stevenson 1985: 42–47, 63 ff и т.д.]**. Общая картина социальной стратификации племенных сообществ Северного Йемена дополнительно осложняется и присутствием в них сайидов (*sadah* – «религиозных аристократов», ведущих свое происхождение от пророка Мухаммада) и кадийев (*qudat*, «судей», знатоков священных книг, не ведущих своего происхождения от пророка), также в большинстве своем рассматривавшихся в качестве находившихся под защитой племен и игравших достаточно важную роль в функционировании этих сообществ* [Голубовская 1984: 11; Пи-

* На определенное сходство традиционных систем социальной стратификации Южной Аравии и Индии уже обращалось внимание (см., например: Chelhod 1979: 59). Вместе с тем, отмечаются и некоторые достаточно существенные различия между двумя данными системами социокультурной стратификации [Родионов 1994: 42; Chelhod 1979: 59; 1985: 33; Dresch 1989: 153].

** Не считая традиционного йеменского кинжала, «джамбийи/джанбийи (*janbiyyah*)», который носят даже большинство «слабых» (*du`afa'*), обязанных вместе с тем носить его подчеркнуто с левой стороны в отличие от членов племен (*qabilyyin*), носящих его на пояссе прямо посередине [Chelhod 1979: 55; Dresch 1989: 38, 120; Stevenson 1985: 44]. Единственное исключение здесь составляет достаточно специфическая «слабая» квазикаста, *dawashin* (племенные «геральды»), представители которой носят свои джамбийи также, как и члены племен [Dresch 1989: 120].

*** Становление данной системы квазикаст, по-видимому, относится к XII–XIV вв. [Пиотровский 1985: 87; Удалова 1988: 19]. Описание во многом сходной системы «квазикаст» в Хадрамауте см., например: Наумкин 1980: 23; Серебров 1990; бин `Акил 1992: 7–8; Родионов 1993; 1994: 21–29; Serjeant 1957 (только *sadah* и *mashayikh*); Buija 1971: 13–53 и др.].

* Сами сайиды и кадийи (*qudat*) считали свой статус более высоким, чем у членов племен, однако нет никаких оснований считать их господствующим, доминирующим слоем

отовский 1985: 65, 87, 101; Удалова 1988: 20; Gerholm 1977: 123; Serjeant 1977; Chelhod 1970; 1975: 70–71; 1979: 58 ff.; Obermeyer 1982: 36–37; Dresch 1984b: 159 ff.; 1989: 136–157; Abu Ganim 1985: 212–227; 1990 и др.].

«Неплеменные квазикасты» североиemenских племенных сообществ включали в себя меньшинство их населения, однако принимать их в расчет, конечно, нужно обязательно, ибо во многом благодаря именно им североиemenский племенной мир и представлял собой то, чем он был, – достаточно сложную высокоорганизованную (и совершенно «непервобытную») систему, вполне сравнимую по своей сложности с сопоставимыми по численности включаемого населения доиндустриальными государственно организованными системами (например, культурно-политическими системами йеменского Южного Нагорья).

Понятие «племя» в том виде, как оно употребляется социоантропологами при описании социально-политической организации северных йеменцев (или, скажем, многих сообществ Атласа, Киренаики или Афганистана) в XIX–XX веках, представляется вполне полезным, ибо оно здесь обозначает достаточно определенную форму надобщинной политической организации, которая, как кажется, не может быть адекватно обозначена никакими иными принятыми в современной науке терминами, такими как «вождество» и тем более «государство» или «община». Мы можем наблюдать здесь такую форму политической организации, когда функционирование устойчивых форм межобщинной интеграции осуществляется без монополизации соответствующими

североиemenских племенных сообществ [см., например: Dresch 1984b: 159; 1989: 136–157]. Монополией на применение насилия здесь обладали все-таки племена (вернее даже их члены), а не *сайиды*. Несмотря на высочайший авторитет и репутацию *сайидов* политическими лидерами были все-таки шейхи, а не *сайиды* (последним удавалось стать шейхами крайне редко, да большинство *сайидов* к этому, как кажется, и не стремилось; по наблюдениям П. Дреша, «нет никаких причин для того, чтобы кто-то, кому довелось быть *сайидом*, не стал также и *шейхом*, хотя это и необычно» [Dresch 1989: 156]). В этом плане взаимоотношения между *сайидами* и членами североиemenских племен несколько напоминают отношения между брахманами и кшатриями в древней Индии [ср., скажем, Бонгард-Левин, Ильин 1985: 301–304]. При этом достаточно очевидно, что присутствие в североиemenской племенной зоне групп *сайидов*, пользовавшихся в племенах высоким авторитетом (хотя, как правило, и не господствовавших над ними), должно было служить существенным фактором интеграции североиemenской мультиполитии, государственный центр которой возглавлялся на протяжении большей части последнего тысячелетия представителями «религиозной аристократии» (*сайидов*), зейдитскими имамами [см., например: Chelhod 1985: 26–29; Stookey 1978: 95, 149–155 и др.].

внутриплеменными структурами применения насилия, без приобретения ими формальной власти над общинами и общинниками, когда, скажем, конфликты разрешаются (либо коллективные «общеплеменные» акции предпринимаются) не через обязательные к исполнению решения облаченных властью должностных лиц, а через поиск лишенными формальной, абсолютной (безотносительной к их личным качествам) власти лидерами консенсуса всех заинтересованных членов племени (или племен) и т.д.

Представляется, что именно такая политическая структура^{*} может быть с наибольшими основаниями обозначена как племя (в неэтническом смысле этого понятия), в то время как среднесабейские надобщинные объединения, *ша`бы* второго порядка, могут быть с наибольшими основаниями в данной системе терминов обозначены как «вождества». Вместе с тем, при таком подходе надо будет констатировать отсутствие собственно племенной организации в сабейском культурном ареале доисламской эпохи^{**}. Именно поэтому, на мой взгляд, и имеет смысл говорить о трансформации вождеств в племена в районе «сабейского» Нагорья в раннеисламскую эпоху.

Вывод о том, что племя может быть непервобытной, достаточно поздней формой политической организации, трудно назвать сколько-нибудь новым. Как известно, к близкому выводу уже достаточно давно пришел Фрид [Fried 1967; 1975], утверждавший, что племя является не-первобытной формой политической организации, возникающей достаточно поздно как результат «структурообразующего» воздействия уже возникших государственных систем на «неструктурированные» массивы независимых общин.

Полностью соглашаясь со взглядом Фрида на племя как на не-первобытную позднюю форму социально-политической организации, можно вместе с тем, опираясь на южноаравийские материалы, предложить, что племенная организация может возникать и иным путем, скажем, в результате трансформации вождеств. Вообще Фрид, на мой

* А не аморфные слабоорганизованные совокупности первобытных локальных групп или такие социально-политические образования, которые вполне адекватно могут быть обозначены как «общины» или «вождества»; множество примеров такого неудачного употребления понятия «племя/tribe» приводится, скажем, Фридом [Fried 1975].

** По крайней мере в его нагорной части, ибо, как упоминалось выше, возможно уже в Средний Период племенную организацию имело полукочевое население района ал-Джауфа, например, часть амиритов (*s²bⁿ/s²bⁿ 'MR^m*) [см., например: Ghul 1959: 432; von Wissmann 1964a: 81–159; Bafaqih 1990: 282–283; Robin 1991d; 1992; Korotayev 1995g].

взгляд, несколько абсолютизовал здесь роль «структурообразующего воздействия» государства, полностью проигнорировав изучение внутренних тенденций эволюции негосударственных политических систем, ведущих к сложению племенной организации.

Конечно, нет никаких оснований рассматривать племенную организацию Северного Нагорья как результат «структурообразующего» воздействия государств на неструктурированное первобытное население. Существенное воздействие на генезис здесь племенной организации оказали скорее арабские племена Центральной Аравии, в тесном контакте с которыми данный ареал находился на протяжении всей поздней доисламской и раннеисламской его истории [Пиотровский 1985: 8, 64, 69–70; Chelhod 1970; 1979; 1985: 45–46; al-Hadithi 1978: 68, 81–96; Höfner 1959; Robin 1982b: 29; 1984: 213, 221; 1991d; Wilson 1989: 16; von Wissmann 1964a: 181–183, 195–196, 403–406; 1964b: 493 и т.д.]. Их заметным вкладом здесь было хотя бы то, что они принесли на Юг Аравии «генеалогическую культуру» [Beeston 1972a: 257–258; см. также: Beeston 1972b: 543; Ryckmans 1974: 500; Robin 1982a, vol. I; Пиотровский 1985: 53, 69; Коротаев 1991; 1998: 137–141 и т.д.].

В результате, основная часть земледельческого населения Северного Нагорья оказалась обладательницей глубоких, древних (и вполне «добротных» даже с точки зрения северных арабов) генеалогий, что создавало неплохую идеологическую основу для борьбы этого населения за сохранение своего высокого статуса. «Генеалогическая идеология» (представление племен и их конфедераций в качестве потомков эпонимных предков, находящихся между собой в определенных родственных отношениях) оказалась прекрасной основой и для развития племенной политической культуры, помогая налаживанию механизмов гибкого взаимодействия между племенными общностями разных уровней.

В все-таки, хотя существенное воздействие североаравийских племен на формирование «племенного этоса» в данном ареале особых сомнений не вызывает, некоторые из вышеупомянутых авторов, на мой взгляд, несколько недооценивают значение здесь внутренней логики эволюции данного ареала. Генезис североиemenской племенной организации, на мой взгляд, явился прежде всего реализацией общей тенденции к «эгалитаризации», наблюдающейся в данном ареале еще с конца I тыс.до н.э., результатом долгих «поисков» земледельческим населением Северного Нагорья оптимальных для этого региона форм социально-политической организации.

Крайне показательна трансформация, произошедшая с титулом *кайл* (глава *ша`ба* второго порядка): если в Древний период это был в основном индивидуальный титул, принадлежавший отдельным лицам, то в Средний период в сабейском, северо-восточном, ареале (но не на Юге!), он начинает в основном рассматриваться как принадлежность целых *кайлских* родов, а не его отдельных представителей [Коротаев 1997: 44–47; 1998: 103; Korotayev 1993c: 50–51; 1995a: 21–23; см. также: Robin 1982a: I, 79 и Avanzini 1985: 86–87]. Несмотря на сохранение гигантской социальной дистанции между *кайлскими* родами и рядовой массой членов *ша`бов* второго порядка, данная эволюция вполне может рассматриваться как шаг в сторону североиemenской племенной модели [ср. Dresch 1984a].

Примечательна здесь и достаточно демократическая организация среднесабейских локальных общин, *ша`бов* третьего порядка, демонстрирующая явные черты сходства с общинной организацией поздних обитателей Северного Нагорья [см. Korotayev 1994g]. Генезис североиemenской племенной организации вполне может рассматриваться и как распространение достаточно демократичных принципов среднесабейской общинной организации на надобщинный уровень (соответствующий уровню среднесабейского *ша`ба* второго порядка).

В целом, тенденции к «эгалитаризации» начинают прослеживаться в данном регионе достаточно рано. Скажем, если в Древний период сабейской истории недвижимое имущество рассматривается в качестве собственности главы большой семьи (последний обозначает такое имущество как принадлежащее ему */hw/* [Бауэр 1964: 19–20; 1965: 209–217; Лундин 1962; 1965; 1971: 233–245; Коротаев 1997: 64–104; 1998: 95–110; Korotayev 1993c: 51–53; 1995a: 53–78]), то в Средний период такое имущество уже начинает рассматриваться как собственность всего родового ядра большесемейной общины (и соответственно, мы встречаем в среднесабейских надписях, даже созданных индивидуальными авторами, только упоминание «их» *[-htw]* недвижимости, но практически никогда имущество «его» *[-hw ()]* – [Коротаев 1990; 1993; 1997: 64–104; Korotayev 1993c; 1995a: 53–78]), что, на мой взгляд, может рассматриваться как результат некоторой «демократизации» внутренней организации сабейских большесемейных общин.

Становление племенной организации на Северном Нагорье в раннеисламскую эпоху, по-видимому, сопровождалось определенной «демократизацией» поземельных отношений, правда, достаточно примечательным путем – через их высочайшую индивидуализацию [см., например: Dresch 1989]. Как кажется, поземельные отношения прошли

в данном ареале путь от собственности глав большесемейных общин на семейные земли в Древнесабейский период (I тыс. до н.э.) к подчеркнуто коллективной собственности на землю родовых групп в Средний период (I–IV вв. н.э.) и далее (возможно, не без некоторого влияния шариата) к подчеркнуто индивидуальной собственности на землю всех совершеннолетних членов родовых групп (права женщин на землю, правда, требуют некоторых существенных оговорок, для которых здесь нет места [см.: Mundy 1979; Dresch 1989: 276–291]). Последняя трансформация, кстати, неплохо коррелировала со становлением племенной организации и общей эгалитаризацией политической системы, ибо подобный строй поземельных отношений эффективно блокировал возрождение чего-либо похожего на могущественные кланы доисламских глав горских вождеств, *кайлей*, с их гигантскими консолидированными и недробимыми земельными владениями.

Вообще достаточно примечательным представляется то обстоятельство, что становление племенной организации на Северном Нагорье, по-видимому, сопровождалось ощутимым ослаблением «экономической общинь»: содержание среднесабейских надписей, авторы которых постоянно упоминают помочь общинь в их хозяйственной деятельности (С 224, 4; 339, 4; 416, 4; 585, 2; Ga 6, 3; R 3971, 4; 3975 + Ga 32, 3–4; 4033, 2a; Robin/ al-Hajari 1, 6; /Khamir 1, 4; /Kanit 13+14, 2; Ry 540, 1–2 и т.д.), находится в разительном контрасте с описаниями системы экономических связей на «племенном» йеменском Севере, с характерным для последней крайне низким уровнем внутриобщинной экономической кооперации [Dresch 1989: 301].

Генезис североиemenской племенной организации вполне может рассматриваться как результат продолжительной борьбы основного земледельческого населения Северного Нагорья за повышение своего социального статуса. Борьба эта была в основном, как кажется, достаточно «тихой», и поэтому довольно редко фиксировалась историческими источниками [см.: al-Hamdani 1980: 328]. В любом случае, имеются некоторые основания предполагать, что ощутимому повышению статуса основной массы земледельческого населения йеменского Северного Нагорья способствовала политическая неразбериха раннеисламской эпохи. Политическая же нестабильность, характерная для Южной Аравии на протяжении большей части II тысячелетия н.э. во многом помогла ему этот статус сохранить. В то же время, как кажется, и само племенное население Северо-Востока в какой-то степени «приложило руку» к поддержанию этой политической нестабильности.

Генезис племенной организации на Северо-Востоке Йеменского Нагорья вполне может рассматриваться и как ответ социально-политической системы ареала на вызов, «брошенный» ей вторым социально-экологическим кризисом (второй половины I тыс. н.э.). Вызван данный кризис был, по-видимому, именно «престижной экономикой» вождества ареала, приведшей к перенапряжению крайне хрупкой естественной среды данной части нагорья (например, к крайней деградации растительного покрова востока североилеменских гор) [Robin 1984: 220–21; Robin 1991c: 67; Dayton 1979: 127 и др.]. Сильнее всего этот кризис ударил по внутренним Нижним Землям, которые уже к концу VI в. н.э. приходят в почти полный упадок, из которого они в дальнейшем так и не смогли выйти.

Затронул этот кризис и Северо-Восточное Нагорье. Однако, в отличие от Нижних Земель, население Нагорья смогло выйти из социально-экологического кризиса без какого-либо понижения уровня своей самоорганизации, хотя и без полного восстановления естественной среды ареала. Социо-экологическая среда ареала оказалась не в состоянии обеспечивать престижное потребление *кайлей* и их окружения. Выход из второго социально-экологического кризиса был достигнут за счет «отторжения» социально-политической системой ареала родовой аристократии и генезиса племенной организации, обеспечивавшей существование в данном ареале достаточно сложного аграрного общества при крайне «экономичном» производстве прибавочного продукта.

С одной стороны, племенная организация земледельческого населения ареала давала ему возможность успешно бороться (с оружием в руках) за поддержание крайне низкого уровня налогообложения со стороны государственного центра североилеменской мультиполитии*. С другой стороны, сохранялся эффективный контроль земледельческого населения над ресурсами, расходуемыми на содержание неземледельческих слоев племенной зоны (включая и ее интеллектуальные и политические элиты). В результате экономическая система ареала обеспечивала достаточно сложные неземледельческие структуры (включавшие множество неземледельческих городков, рынков, центров традиционного образования и учености и т.д.) необходимым минимумом (но именно

* Согласно зейдитской доктрине налог с урожая зерновых не должен был превышать 5–10% (в зависимости от типа земель [см., например: Stookey 1978: 88]), а североилеменским племенам в большинстве случаев удавалось добиваться поддержания налогообложения именно на таком предельно низком уровне.

минимумом) ресурсов, практически блокируя, вместе с тем, «непроизводительное разбазаривание» этих ресурсов на престижное потребление верхов.

В целом, племенная организация, возможно, представляла собой едва ли не единственную политическую форму, которая могла позволить в доиндустриальном мире устойчиво воспроизводиться сложным высокоорганизованным сообществам в крайне бедной и неустойчивой хозяйственно-экологической среде йеменского Северо-Восточного нагорья [Dresch 1984: 156; см. также: Dresch 1989: 8–15]. Я бы даже сказал что в доиндустриальных условиях социально-экономическая система ареала должна была быть избавлена от сколько-нибудь развитой государственной «надстройки» (заставившей бы земледельцев ареала производить избыточные количества прибавочного продукта), чтобы стать устойчивой и не вызывать постоянные социально-экологические кризисы или деградировать.

Какую-то роль в адаптации социальной системы ареала к ухудшившимся хозяйственно-экологическим условиям и в выходе из социально-экологического кризиса сыграли, видимо, и упомянутые развитие частной собственности на землю и разложение системы общинной экономической взаимопомощи. Социоантропологами (преимущественно по воспоминаниям информантов старшего поколения) описана существовавшая вплоть до относительно недавнего (приблизительно до 50-х годов прошлого века) времени достаточно жесткая (но вместе с тем, как кажется, вполне эффективная) традиционная модель поведения населения племенной зоны в периоды трудностей (вызывавшихся, как правило, нередкими в этих местах продолжительными засухами). Заключалась она в том, что в подобных случаях сообщинники практически не помогали друг другу посредством дележа дефицитных продовольственных ресурсов, но главы менее эффективных хозяйств продавали свою землю более экономически эффективным хозяевам и шли служить в армию зейдитских имамов (это, между прочим, показывает, что налоги, выплачивавшиеся членами племен зейдитским имамам, представляли своего рода «взносы» в своеобразный страховой фонд мультиполитии). В результате, более эффективные хозяева улучшали свою обеспеченность земельными ресурсами, повышая свои шансы выхода из трудного периода, а менее эффективные – сохраняли свою жизнь (см., например, Dresch 1989: 300–301).

По-видимому, заметную роль в совершенствовании системы адаптации земледельческого населения к сложным природным условиям Северного Нагорья, и прежде всего частым засухам, сыграло и раз-

витие в племенной зоне Севера товарно-денежных отношений. Племенная система оказалась в состоянии обеспечить уровень их развития, крайне высокий для доиндустриального аграрного общества. Большую роль здесь сыграло развитие такого важнейшего североиemenского племенного института, как *hijrah* [об институте хиджры см., например: Abu Ghanim 1985: 214f.; vom Bruck 1993: 87–88; Chelhod 1970: 81–82; 1975: 79–80; 1979: 58–59; 1985: 28–29; Dresch 1989; Kropp 1994: 89; Nielsen 1994: 43; Puin 1984; Stevenson 1985: 63–65 и др.].

Хиджра представляет собой институт постановки под защиту (нередко документально оформленную) племени (или группы племен) некоего объекта. При этом в качестве объекта хиджры могли выступать люди (например, семейство *сайидов*, «религиозных аристократов», ведущих свое происхождение от пророка Мухаммада, проживающее на территории данного племени), места проведения встреч между племенами, рынки, городки (населенные, кстати, как правило, «слабыми», *сайидами* и *кадибами* в большей степени, чем членами племен) и т.п. Во многом благодаря именно этому институту североиemenская племенная организация смогла обеспечить в своей зоне достаточно высокий уровень развития товарно-денежных отношений – через учреждение хиджр, обеспечивающих и организующих защиту соответствующими племенами сотен рынков, покрывших собою всю племенную зону Северного Нагорья. Племена, объявляющие, скажем, данный рынок своей хиджрой, берут на себя обязательство (при этом, зачастую, документально оформленное) обеспечивать его полную безопасность, например, через гарантию того, что за преступление, совершенное на данном рынке, компенсация пострадавшему будет выплачиваться, скажем, в одиннадцатикратном размере. На территории рынка (или иного места), объявленного хиджрой, вообще, как правило, запрещено прибегать к любому насилию, даже законному с точки зрения обычного права племен [Chelhod 1979: 58; 1970: 82; Dresch 1987: 432; 1989; Stevenson 1985: 63–65 и др.].

Важную роль здесь сыграло и создание достаточно эффективной системы защиты племенами невооруженного «слабого» населения, включавшего в себя, как мы помним, и торговцев (*bayya`in*). Надо подчеркнуть, что «покровительство», оказываемое племенами «слабому» населению, не является лишь пустым словом. Неспособность племени защитить находящегося под его покровительством (например, обеспечить ему получение компенсации за совершенное против него преступление) наносит сильнейший удар по репутации племени, при том что размер такой компенсации зачастую в четыре раза (а иногда, хотя и

крайне редко, в одиннадцать раз) превышает компенсацию за подобное преступление, совершенное против члена племени [Dresch 1989: 118, 407; см. также Dresch 1984: 159; Obermeyer 1982: 36; Chelhod 1979: 55; 1970: 75; Stevenson 1985: 44]. Важную роль в развитии торговли в племенной зоне сыграло, конечно, и создание племенами системы обеспечения безопасности прохода через территории племен иноплеменников [Dresch 1987; 1989; Dostal 1990 и др.].

В результате, во многих племенных районах появился и еще один, дополнительный, неформальный, «страховой фонд» в виде хлебных запасов: «низкокастовые» торговцы (*bayyya`in*), скупали зерно у членов племен (к ним относились практически все пашенные земледельцы Севера) в урожайные годы, и продавали это зерно им в неурожайные годы (естественно, не без выгода для себя) [Stevenson 1985].

Важно при этом подчеркнуть, что крайне низкий (в сравнении с членами племен) статус торговцев эффективно препятствовал их превращению в доминирующую элиту общин, блокировал непроизводительное расходование аккумулируемых ими ресурсов на собственное престижное потребление и т.д.

В любом случае, подобное гибкое индивидуализированное реагирование земледельческого населения на природные бедствия оказалось возможным во многом благодаря сложившейся в племенной зоне четко выраженной индивидуальной собственности на обрабатываемые земли, их достаточно свободной отчуждаемости. Развитие частной собственности на землю и упадок экономического коммунализма, таким образом, видимо, способствовали адаптации земледельческого населения к ухудшившимся природным условиям и содействовали выходу из второго социально-экологического кризиса.

Полномасштабная же система общинной взаимопомощи в таких условиях могла бы привести к вымиранию целых общин. По-видимому, ранее это и происходило, о чем, похоже, свидетельствуют сохранившиеся кое-где вплоть до настоящего времени (и подтверждаемые письменными источниками)* предания о существовании несколько веков назад впечатляющего института *i`tihad*, когда в период засух или иных стихийных бедствий целые общины, оказывавшиеся не в состоянии себя прокормить, но боявшиеся нанести ущерб своей репутации обращением за помощью к другим общинам, предпочитали садить-

* См.: al-Hamdani n.d.: 135; 1938; 1368h: 20, 202; al-Himyari 1916: 51, 73; 1978: 49, 160. См. также: Белова 1987: 156; 1992: 253–266; 1996; al-Selwi 1987: 155 и др.

ся в круг и молча (буквально, стиснув зубы) умирать от голода, но не потерять свою честь [Serjeant 1987]. Данные предания выглядят вполне правдоподобными, ибо описывают вполне логичную реакцию высокостатусного «племенного» земледельческого населения с развитыми представлениями о своих чести и достоинстве, не нашедшего еще адекватного выхода из хозяйственно-экологического кризиса. Важно при этом подчеркнуть, что ко второй половине этого тысячелетия население Северного Нагорья нашло иные, менее болезненные, пути «достойного» реагирования на периодические засухи; характерно, что зафиксированные современными исследователями предания об институте *и`тифада* относятся к достаточно отдаленному (хотя, судя по всему, не доисламскому [Serjeant 1987]) прошлому.

Есть основания предполагать, что благодаря трансформации общинных структур, развитию племенной организации и становлению североиemenской мультиполитии этот кризис в I-II пол. II тыс. н. э. был на Северо-Востоке Йеменского нагорья в основном преодолен.

Результатом взаимодействия в исламскую эпоху племенной и государственной организации на Северном Нагорье явились не подрыв или ликвидация племенных структур, а становление североиemenской мультиполитии. В рамках этой мультиполитии, хотя взаимоотношения между ее государственным центром, созданном зейдитскими имамами, и племенной периферией были отнюдь не безконфликтными, оказалось достигнуто определенное равновесие, были (вполне неформальным образом) «разграничены полномочия» между двумя ее основными составляющими, разработаны во многом вполне взаимовыгодные «правила игры».

Итак в Северо-Восточном Йемене I-II тыс. н. э. мы можем наблюдать неплохо документированный процесс трансформации вождеств в племена, радикальную эгалитаризацию социально-политической организации земледельческого населения. Крайне примечательно, что этот процесс сопровождался процессами бурного развития товарноденежных отношений и частной собственности на землю, а также развалом «экономической собственности», вообще крайней индивидуализацией экономических (и не только экономических) отношений. В результате этих процессов в Северо-Восточном Йемене сложились чрезвычайно развитые племенные сообщества. Племенная организация оказалась в состоянии обеспечить (во многом за счет именно племенных институтов) достаточно устойчивое воспроизведение довольно высокоразвитых земледельческих сообществ в крайне неблагоприятных географических условиях. Во многом благодаря именно племенным инсти-

тутам племенная зона Северо-Востока оказалась покрыта плотной сетью из сотен рынков, обеспечивающей крайне высокий для доиндустриального общества уровень товарно-денежных отношений, достаточно многочисленными неземледельческими городками и центрами традиционной учености; довольно широко использовалась письменность, в том числе и самими племенами: для фиксации племенного права, соглашений между племенами, племенных гарантий безопасности городов, рынков и т.п. Нет абсолютно никаких оснований рассматривать процесс трансформации вождеств в племена на Северо-Востоке Йеменского Нагорья в качестве «дегенерации» или «регресса». Напротив, следствием его стал даже некоторый рост общего уровня развития ареала, при том, что ощутимо выросла и экологическая устойчивость социоестественной системы ареала.

Для определенных стадий общей социальной эволюции племенную организацию, возможно, имеет смысл рассматривать скорее как некую (хотя и достаточно ограниченную по своему эволюционному потенциалу) альтернативу государству (и вождеству), чем как догосударственную (и тем более «довоождескую») форму политической организации. Племя является скорее «парагосударственной», чем «догосударственной» социально-политической формой. И в любом случае, как кажется, нет никаких оснований рассматривать в качестве «первобытной» (хотя бы даже и «пережиточно первобытной») родоплеменную организацию, свойственную части населения Ближнего и Среднего Востока, сложившуюся (как и государства этого региона) в результате долгого «постпервобытного» исторического развития в качестве особого и вполне эффективного варианта социально-политической адаптации достаточно высокоразвитых сообществ к изменениям естественной и социоисторической среды.

СПИСОК ЭПИГРАФИЧЕСКИХ СОКРАЩЕНИЙ:

C = CIH – Corpus 1889–1908, 1911, 1929

Ga – Garbini 1970; 1973

Ja – Jamme 1976

R = RES – Répertoire 1929; 1935; 1950

Robin – 1982 a, vol.2

Ry – G. Ryckmans 1956; 1957

ЛИТЕРАТУРА:

- бин `Акил `А.Дж.* Этносоциальная структура и институты социальной защиты в Хадрамауте (XIX – первая половина XX вв.). Авто-реф. дис. ... канд ист. наук. СПб., 1992.
- Бауэр Г.М.* Сабейские надписи как источник для исследования поземельных отношений в Сабе «эпохи мухаррибов». М., 1964.
- Бауэр Г.М.* Термин *gwlm* в южноаравийской эпиграфике // Краткие сообщения Института народов Азии. М., 1965. Вып. 66. С. 205–219.
- Белова А.Г.* Химьяритский язык по арабским источникам // Проблемы арабской культуры. М., 1987. С. 154–162.
- Белова А.Г.* Арабская историческая диалектология и опыт реконструкции химьяритского языка. Дисс. ... д-ра фил. наук. М., 1992.
- Белова А.Г.* Химьяритский язык. Ареальные исследования к истории арабского языка. М., 1996.
- Бондаренко Д.М.* Бенин накануне первых контактов с европейцами: Человек. Общество. Власть. М., 1995(а).
- Бондаренко Д.М.* Вождества в доколониальном Бенине // Ранние формы политической организации: от первобытности к государственности. М., 1995(б). С. 140–152.
- Васильев Л.С.* Становление политической администрации (от локальной группы охотников и собирателей к протогосударству-чифдом) // Народы Азии и Африки. 1980. № 1. С. 172–86.
- Герасимов О.Г.* Йеменские документы. М., 1987.
- Голубовская Е.К.* Революция 1962 г. в Йемене. М., 1971.
- Голубовская Е.К.* Становление централизованного государства на Севере Йемена // Новейшая история Йемена (1917–1982 гг.). М., 1984. С. 4–36.
- Иванов Н.А.* Свободные и податные племена Северной Африки в XIV в // Арабские страны. История. М., 1963. С. 152–192.
- Коротаев А.В.* Политическая организация сабейского культурного ареала во II–III вв.н.э.: к соотношению племени и государства // Племя и государство в Африке. М., 1991. С. 101–119.
- Коротаев А.В.* Некоторые общие тенденции и факторы эволюции сабейского культурно-политического ареала (Южная Аравия: X в. до н.э. – IV в.н.э.) // Ранние формы социальной стратификации: генезис, историческая динамика, потестарно-политические функции. М., 1993. С. 295–320.
- Коротаев А.В.* «Апология тройбализма»: племя как форма социально-

- политической организации сложных непервобытных обществ // Социологический журнал. 1996(а). № 4. С. 68–86.
- Коротаев А.В.* Два социально-экологических кризиса и генезис племенной организации на Северо-Востоке Йемена // Восток(б). 1996. № 6. С. 18–28.
- Коротаев А.В.* От вождества к племени? Некоторые тенденции эволюции политических систем Северо-Восточного Йемена за последние две тысячи лет // Этнографическое обозрение. 1996(в). № 2. С. 81–91.
- Коротаев А.В.* Сабейские этюды. Некоторые общие тенденции и факторы эволюции сабейской цивилизации. М., 1997.
- Коротаев А.В.* Вождества и племена страны Хашид и Бакил: Общие тенденции и факторы эволюции социально-политических систем Северо-Восточного Йемена за последние три тысячи лет. М., 1998.
- Лундин А.Г.* Социально-экономические данные сабейских посвятительных надписей периода мукаррибов Саба // Вестник древней истории. 1962. № 3. С. 96–120.
- Лундин А.Г.* Некоторые вопросы земельных отношений в древней Южной Аравии // Краткие сообщения Института народов Азии. М., 1965. Вып. 86. С. 148–154.
- Лундин А.Г.* Городской строй Южной Аравии во II–IV вв. н.э. Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока. М., 1969. Вып. 5. С. 55–57.
- Лундин А.Г.* Государство мукаррибов Саба (сабейский эпонимат). М., 1971.
- Наумкин В.В.* Национальный фронт в борьбе за независимость Южного Йемена и национальную демократию. М., 1980.
- Пиотровский М.Б.* Южная Аравия в раннее средневековье. Становление средневекового общества. М., 1985.
- Родионов М.А.* Можно ли отменить социальные страты? Уроки Хадрамаута // Ранние формы социальной стратификации: генезис, историческая динамика, потестарно-политические функции. М., 1993. С. 321–327.
- Родионов М.А.* Этнография Западного Хадрамаута: общее и локальное в этнической культуре. М., 1994.
- Северцов А.Н.* Морфологические закономерности эволюции. М. – Л., 1939.
- Северцов А.Н.* Главные направления эволюционного процесса. 3-е изд. М.: 1967.

- Серебров С.Н.* Традиционная социальная стратификация в Хадрамауте (Южный Йемен) // Ислам и социальные структуры стран Ближнего и Среднего Востока. М., 1990. С. 144–160.
- Удалова Г.М.* Йемен в период первого османского завоевания (1538–1635). М., 1988.
- Abu Ghani F.A.A.* Al-bunyah al-qabaliyyah fi: 'l-Yaman bayna 'l-istimra: wa-'l-taghayyur. Dimashq, 1985.
- Abu Ghani F.A.A.* Al-qabi:lah wa-'l-dawlah fi 'l-Yaman. al-Qa:hira, 1990.
- Al-Rasheed M.* The Rashidi Dynasty: Political Centralization among the Shammar of North Arabia // New Arabian Studies. 1994. Vol. 2. P. 140–152.
- Avanzini A.* Problemi storici della regione di al-Hada' nel periodo preislamico e nuove iscrizioni // Studi yemeniti 1 (Quaderni di Semitistica, 3). 1985. P. 53–115. Tav. 1–34.
- Bafaqih M.'A.* L'unification du Yémen antique. La lutte entre Saba', Himyar et le Hadramawt de Ier au IIIème siècle de l'ère chrétienne. Paris, 1990. (Bibliothèque de Raydan, 1).
- Beeston A.F.L.* Kingship in Ancient South Arabia // Journal of the Economic and Social History of the Orient. 1972(a). Vol. 15. P. 256–268.
- Beeston A.F.L.* Notes on Old South Arabian Lexicography VII // Le Muséon. 1972(b). T. 85. P. 53–544.
- Beeston A.F.L.* Warfare in Ancient South Arabia: Second to Third Centuries AD. London, 1976. (Qahtan: Studies in Old South Arabian Epigraphy, fasc. 3).
- Beeston A.F.L.* Some Features of Social Structure in Saba // Studies in the History of Arabia. Riyadh, 1979. Vol. 1: Sources for the History of Arabia. Pt 1. P. 115–123.
- Bondarenko D.M.* Precolonial Benin: Man, Authority and the Structure of the Society // State, City and Society / Ed. by J. A. Sabloff and M. Lal. New Delhi, 1994. P. 1–10.
- Bonnenfant P.* (ed.). La péninsule Arabique d'aujourd'hui. T.II. Études par pays. Paris, 1982.
- vom Bruck G.* Réconciliation ambiguë: une perspective anthropologique sur le concept de la violence légitime dans l'imamat du Yémen // La violence et l'état: Formes et évolution d'un monopole / Ed. by E. LeRoy, Tr. von Trotha. Paris, 1993. P. 5–103.
- Bujra A.S.* The Politics of Stratification (A Study of Political Change in South Arabian Town). Oxford, 1971.
- Carneiro R.L.* The Chiefdom: Precursor of the State // The Transition to Statehood in the New World. Cambridge (MA), 1981. P. 37–79.

- Chelhod J.* L'Organisation sociale au Yémen // L'Ethnographie. 1970. T. 64. P. 61–86.
- Chelhod J.* La société yéménite et le droit // L'Homme. 1975. T. 15. P. 67–86.
- Chelhod J.* Social Organization in Yémen // Dira:sa:t Yamaniyyah. 1979. Vol. 3. P. 47–62.
- Chelhod J.* Les structures sociales et familiales // Chelhod J., et al. L'Arabie du Sud: histoire et civilisation. Paris, 1985. T. 3. Culture et institutions du Yémen. P. 15–123. (Islam d'hier et d'aujourd'hui; 25).
- Claessen H.J.M.* The Internal Dynamics of the Early State // Current Anthropology. 1984. Vol. 25. P. 365–370.
- Claessen H.J.M., and Skalník P.* (Eds.). The Early State. The Hague etc, 1978.
- Claessen H.J.M., and Skalník P.* (Eds.). The Study of the State. The Hague etc, 1981.
- Claessen H.J.M., van de Velde P., and Smith M.E.* (Eds.). Development and Decline: The Evolution of Sociopolitical Organization. South Hadley, 1985.
- Corpus inscriptionum semiticarum. Pars Quarta inscriptiones himyariticas et sabaeas continens. Parisiis, 1889–1932. T. 1–3.
- Dayton J.E.* A Discussion of the Hydrology of Maṣrib // Proceedings of the Seminar for Arabian Studies. 1979. Vol. 9. P. 124–129.
- Dobzhansky T., Ayala F. J., Stebbins G. L. and Valentine J. W.* Evolution. San Francisco, 1977.
- Dostal W.* Sozio-ökonomische Aspekte der Stammesdemokratie in Nordost-Yemen // Sociologus. 1974. Bd. 24. S. 1–15.
- Dostal W., Glaser E.* Forschungen im Yemen. Wien, 1970.
- Dresch P.* Position of Shaykhs among the Northern Tribes of Yemen // Man. 1984(a). Vol. 19. P. 31–49.
- Dresch P.* Tribal Relations and Political History in Upper Yemen // Contemporary Yemen: Politics and Historical Background. London; Sydney, 1984(b). P. 154–174.
- Dresch P.* Placing the Blame: A Means of Enforcing Obligations in Upper Yemen // Anthropos. 1987. Bd. 82. S. 427–443.
- Dresch P.* Tribes, Government, and History in Yemen. Oxford, 1989.
- Earle T.K.* Chiefdoms in Archaeological and Ethnohistorical Perspective // Annual Review of Anthropology. 1987. Vol. 16. P. 279–308.
- Earle T.K.* (ed.). The Evolution of Chiefdoms. Chiefdoms: Power, Economy, and Ideology. Cambridge, 1991. P. 1–15.
- Eickelman D.F.* The Middle East. An Anthropological Approach. Englewood Cliffs, 1981.

- Evans-Pritchard E.E.* The Sanusi of Cyrenaica. Oxford, 1949.
- Fried M.* On the Concepts of 'Tribe' and 'Tribal Society' // Essays on the Problem of Tribe. Seattle; London, 1967. P. 3–20.
- Fried M.* The Notion of Tribe. Menlo Park, 1975.
- Futuyma D.J.* Evolutionary Biology. Sunderland, 1986.
- Garbini G.* Antichità yemenite // Annali dell'Istituto Orientale di Napoli. 1970. Vol. 30. P. 400–404, 537–548. Tav. I–XXXIX.
- Garbini G.* Frammenti epigrafici sabei II // Annali dell'Istituto Orientale di Napoli. 1973. Vol. 33. P. 587–593.
- Gellner E.* Saints of the Atlas. London, 1969.
- Ghul M.A.* New Qatabani Inscriptions // Bulletin of the School of Oriental and African Studies. 1959. Vol. 22. P. 1–22, 419–438.
- al-Hadithi N.A.* Ahl al-Yaman fi sadr al-Islam. Bayrut, 1978.
- al-Hamdani al-Hasan.* [Kitab] al-Iklil. VIII. Tahqiq Nabih Amin Faris. San`a'; Bayrut, n.d.
- al-Hamdani al-Hasan.* [Kitab] al-Iklil. X. Tahqiq Muhibb al-Din al-Khatib. Al-Qahirah, 1948.
- al-Hamdani al-Hasan.* Kitab al-iklil. II. Tahqiq Muhammad al-Akwa'. Baghdad, 1980.
- al-Himyari Nashwan ibn Sa`id.* Muntakhabat fi akhbar al-Yaman min kitab Shams al-`ulum / Ed. `Azimuddin Ahmad. Leiden; London, 1916. (Gibb Memorial Series, 24).
- al-Himyari Nashwan ibn Sa`id.* Muluk Himyar wa-aqyal al-Yaman Qasidat Nashwan ibn Sa`id al-Himyari, wa-sharhu-ha. San`a'; Bayrut, 1978.
- Höfner M.* Die Beduinen in den vorislamischen Inschriften // L'antica società beduina / Ed. by F. Gabrieli. Rome, 1959. P. 53–68. (Studi Semitici; 2).
- Jamme A.* Carnegie Museum 1974/1975 Yemen Expedition. Pittsburgh, 1976.
- Johnson A.W., and Earle T.K.* The Evolution of Human Societies. From Foraging Group to Agrarian State. Stanford, 1987.
- Korotayev A.V.* Middle Sabaean Cultural-Political Area: Material Sources of Qaylite Political Power // Abr-Nahrain. 1993(a). Vol. 31. P. 93–105.
- Korotayev A.V.* Middle Sabaean Cultural-Political Area: Qayls, their Bayt and Sha`b // Aula Orientalis. 1993(b). Vol. 11. P. 155–160.
- Korotayev A.V.* Sabaean Cultural-Political Area: Some General Trends of Evolution // Proceedings of the Seminar for Arabian Studies. 1993©. Vol. 23. P. 49–60.
- Korotayev A.V.* Legal System of the Middle Sabaean Cultural-Political Area // Acta Orientalia. 1994(a). Vol. 55. P. 42–54.

- Korotayev A.V.* Middle Sabaean Cultural-Political Area: Problem of Local Taxation and Temple Tithe // *Le Muséon*. 1994(b). T. 107. P. 15–22.
- Korotayev A.V.* Sabaean Cultural-Political Area in the 2nd and 3rd Centuries AD: Problem of Taxation at the Kingdom Level and Temple Tithe // *Annali dell'Istituto Orientale di Napoli*. 1994(c). V. 54. P. 1–14.
- Korotayev A.V.* Ancient Yemen: Some General Trends of Evolution of the Sabaic Language and Sabaean Culture. Oxford, 1995(a).
- Korotayev A.V.* Middle Sabaean Cultural-Political Area: Qayls and their Tribesmen, Clients and Maqtawis // *Acta Orientalia*. 1995(b). Vol. 56. P. 39–54.
- Korotayev A.V.* Pre-Islamic Yemen: Socio-Political Organization of the Sabaean Cultural Area in the 2nd and 3rd Centuries A.D. Wiesbaden, 1996.
- Kropp M.* The Realm of Evil: the Struggle of Ottomans ans Zaidis in the 16th-17th Centuries as Reflected in Historiography // *Yemen – Present and Past*. Lund, 1994. P. 87–95. (Lund Middle Eastern and North African Studies; 1).
- Loundine A.G.* Deux inscriptions sabéennes de Maṣrib // *Le Muséon*. 1973. T. 86. P. 179–192.
- Malinowski B.* Freedom and Civilization. London, 1947.
- Mundy M.* Women's Inheritance of Land in Highland Yemen // *Arabian Studies*. 1979. Vol. 5. P. 161–187.
- Nielsen H.C.* Social Organization in the Suq and the Old City of San`a' al-Qadimah // *Yemen – Present and Past*. Lund, 1994. P.35–45. (Lund Middle Eastern and North African Studies; 1).
- Oberg K.* Indian Tribes of Northern Mato Grosso, Brazil. Washington, 1953.
- Oberg K.* Types of Social Structure among the Lowland Tribes of South and Central America // *American Anthropologist*. 1955. Vol. 57. P. 472–487.
- Obermeyer G.J.* Le formation de l'imamat et de l'état au Yémen: Islam et culture politique // *Bonnenfant*. 1982. P. 31–48.
- Pridham B.R.* (ed.). Contemporary Yemen: Politics and Historical Background. London; Sydney, 1984.
- Puin G.-R.* The Yemeni Hijrah Concept of Tribal Protection // *Land Tenure and Social Transformation in the Middle East*. Beirut, 1984. P. 483–494.
- Renfrew C.* Beyond a Subsistence Economy: the Evolution of Social Organization in Prehistoric Europe // *Bulletin of the American Schools of Oriental Research*. 1974. No. 20. P. 69–95.

- Rensch B.* Evolution above the Species Level. London, 1959.
- Répertoire d'Épigraphie sémitique publié par la Comission du Corpus Inscriptionum Semiticarum. Paris, 1929-1968. T. 5. 1929; T. 6. 1935; T. 7. 1950. T. 8. 1968.
- Robin C.* La cité et l'organisation sociale à Ma`in: L'exemple de Ytl (aujourd'hui Baraqish) // The Second International Symposium on Studies in the History of Arabia. Pre-Islamic Arabia. Riyadh, 1979. P. 158–164.
- Robin C.* Les Hautes-Terres du Nord-Yémen avant l'Islam. Istanbul, 1982(a). T. 1–2. (Uitgaven van het Nederlands historisch-archaeologisch Instituut te Istanbul; 50).
- Robin C.* Esquisse d'une histoire de l'organisation tribale en Arabie du Sud antique // Bonnenfant. 1982(b). P. 17–30.
- Robin C.* La civilisation de l'Arabie méridionale avant l'Islam // Chelhod, J. et al. L'Arabie du Sud, histoire et civilisation. Paris, 1984. Vol.1. Le peuple yéménite et ses racines. P. 195–223. (Islam d'hier et d'aujourd'hui, 21).
- Robin C.* (ed.). L'Arabie antique de Karib'il à Mahomet. Nouvelles données sur l'histoire des Arabes grâce aux inscriptions. Aix-en-Provence, 1991(a). (Revue du Monde Musulman et de la Méditerranée, 61).
- Robin C.* Cites, royaumes et empires de l'Arabie avant l'Islam // *Robin C.* (ed.). L'Arabie antique de Karib'il à Mahomet. Nouvelles données sur l'histoire des Arabes grâce aux inscriptions. Aix-en-Provence, 1991(b). P. 45–53.
- Robin C.* Quelques épisodes marquants de l'histoire sudarabique // *Robin C.* (ed.). L'Arabie antique de Karib'il à Mahomet. Nouvelles données sur l'histoire des Arabes grâce aux inscriptions. Aix-en-Provence, 1991(c). P. 55–70.
- Robin C.* La pénétration des Arabes nomades au Yémen // *Robin C.* (ed.). L'Arabie antique de Karib'il à Mahomet. Nouvelles données sur l'histoire des Arabes grâce aux inscriptions. Aix-en-Provence, 1991(d). P. 71–88.
- Robin C.* Inventaire des inscriptions sudarabiques. Paris; Rome, 1992. T. 1. Inabba', Haram, al-Kafir, Kamna et al-Harashif.
- Ryckmans G.* Inscriptions sud-arabes, Quatorzième série // Le Muséon. 1956. T. 69. P. 369–389.
- Ryckmans G.* Inscriptions sud-arabes, Quinzième série // Le Muséon. 1957. T. 70. P. 97–126. Pl. I–V.
- Ryckmans J.* 1974. Himyaritica (4) // Le Muséon. 1974. T. 87. P. 493–521.
- Sahlins M.D.* Tribesmen. Englewood Cliffs, 1967.

- al-Selwi I.* Jemenitische Wörter in den Werken von al-Hamdani und Nashwan und ihre Parallelen in den semitischen Sprachen. Berlin, 1987. (Marburger Studien zur Afrika- und Asienkunde: Ser. B, Asien; Bd.10).
- Serjeant R.B.* The Sayyids of Hadramawt. London, 1957.
- Serjeant R.B.* South Arabia // Commoners, Climbers and Notables.. Leiden, 1977. P. 226–247.
- Serjeant R.B.* Famine Death without Loss of Honour in Ancient Arabia and Yemeni Arhab // Bulletin of the School of Oriental and African Studies. 1987. Vol. 50. P. 37–38.
- Service E.R.* Primitive Social Organization. An Evolutionary Perspective. 2nd ed. New York, 1971.
- Stevenson T.B.* Social Change in a Yemeni Highlands City. Salt Lake City, 1985.
- Steward J.H., and Faron L.C.* Native Peoples of South America. New York, 1959.
- Stookey R.W.* Yemen. The politics of the Yemen Arab Republic. Boulder, 1978.
- Tapper R.* (ed.). The Conflict of Tribe and State in Iran and Afghanistan. London, 1983.
- Wilson R.T.O.* Gazetteer of Historical North-West Yemen in the Islamic Period to 1650. Hildesheim etc, 1989.
- von Wissmann H.* Zur Geschichte und Landeskunde von Alt-Südarabien. Wien, 1964(a).
- von Wissmann H.* Himyar: Ancient History // Le Muséon. 1964(b). T. 77. P. 429–497.

ГРЕЦИЯ (XI – IV вв. до н.э.)^{*}

М. Берент

При обсуждении монархической формы политического устройства Аристотель ставит вопрос о вооруженной охране:

«Должен ли вступающий во власть иметь в своем распоряжении военную силу, опираясь на которую он будет в состоянии заставить повиноваться себе тех, кто этого не желает, а иначе как он может спрашивать с управлением? Ведь если бы даже он был полновластным владыкой по закону и не совершил ничего по своему произволу и вопреки закону, все-таки у него, несомненно, должна быть в распоряжении известная сила, опираясь на которую он будет в состоянии охранять законы» [Polit. III.15, 1286b27-30].

Это высказывание должно показаться странным современному читателю, который может принять его за обоснование необходимости существования такой стражи, и того, что она должна быть не только в связи с особой формой правления – монархией, но и при любой другой форме правления. Но вопрос об «охране» как аппарате принуждения вовсе не поднимается в рассуждениях Аристотеля о двух других ее формах – аристократии (олигархии) и демократии (политии). Причина этого состоит в том, что, в отличие от традиционного понимания полиса, последний был не государством, а, скорее, тем, что антропологи называют «безгосударственным обществом». Под последним понимается относительно эгалитарное нестратифицированное общество, характеризующееся отсутствием аппарата принуждения, а это означает, что право на использование насилия не монополизируется правительством или правящим классом, и возможность использовать силу более или менее равномерно распределена среди вооруженного или потенциально вооруженного населения. Так как полис был безгосударственным, в нем не было готового государственного аппарата, над которым тот, кто хотел или должен был управлять, мог бы осуществлять контроль. Таким образом, личная стража должна была специально создаваться для него.

* Эта статья основана на моей диссертации, защищенной в Кембридже. Я выражают особую благодарность профессору Эрнесту Геллеру, который рецензировал ее и ранние версии данной работы, и моему руководителю доктору Полу Картледжу за помощь в работе над диссертацией.

Указанная проблема не существовала для аристократии и демократии, поскольку при этих формах правления не было единоличного правителя и считалось, что при обеих принудительная сила, необходимая для защиты, получается непосредственно от их «естественных» сторонников: аристократия – от «лучших людей», а демократия – от народа. Это наблюдение может быть подтверждено случаями, когда подобные формы правления рушились. Например, в Афинах в 462 г. до н.э. отсутствие 4000 гоплитов, взятых Кимоном чтобы помочь Спарте подавить восстание илотов в Мессении, облегчило демократические преобразования, начатые Эфиальтом, тогда как отсутствие тысяч фетов, когда флот базировался на Самосе, было жизненно важным для олигархического переворота 411 г. до н.э. [Finley 1981: 29].

Тогда как раннее государство, как ныне общепризнанно, играло значительную роль «в непосредственной эксплуатации производителей через налоги, принудительный труд и другие повинности» [Khazanov 1978: 87], безгосударственность полиса означает именно то, что он не был инструментом для присвоения прибавочного продукта, и способы эксплуатации, свойственные ранним аграрным государствам, не существовали в древнегреческом мире (по крайней мере, до эпохи эллинистических империй).

Безгосударственность полиса делает возможным его анализ в рамках социальной антропологии. Тем не менее такой анализ не может быть осуществлен без ряда ограничений. Основное препятствие в применении социальной антропологии на греческой почве состоит в том, что антропологи имеют тенденцию отождествлять безгосударственное общество с племенем [Gellner 1981: 24-25; 1988а: 152; 1991: 64], в то время как классический полис не был племенным образованием, и сегодня вообще вызывает большие сомнения сам факт существования племенной формы социальной организации в древней Греции даже в архаическую эпоху. Будучи и негосударственным и неплеменным, полис ставит под сомнение многие основные положения современной социальной антропологии, например положение о том, что государство является необходимым условием цивилизации, или что безгосударственные общества относятся к первобытным, тогда как греческое общество было и цивилизованным, и безгосударственным. Следовательно, современная социальная антропология не только игнорировала безгосударственность античного полиса, но наоборот, ее эволюционистская школа усилила миф о классическом «греческом государстве», добавив к нему еще один – об архаическом «греческом племени».

I. Полис и государство*

Определения

В широком смысле, традиционные определения государства могут быть разделены на две группы, основанные на: а) социальной стратификации и б) власти или структуре управления [Cohen 1978a: 2–5; 1978b: 32–34].**

Определения, исходящие из феномена стратификации, подчеркивают корреляцию между государствами и стабильным существованием общественных классов. В этих определениях государство или идентифицируется с правящим классом, или рассматривается как подконтрольное правящему классу и использующееся в качестве инструмента для присвоения прибавочного продукта. Хотя эти дефиниции обычно связывают с марксизмом, в особенности с «Происхождением семьи, частной собственности и государства» Энгельса, стратификация сегодня рассматривается как универсальный коррелят ранних (и древних аграрных) государств [Claessen, Skalnik 1978: 20–21]. Так, Геллнер отмечает: «В типичной аграрной бюрократической политии, правящий класс образует незначительное меньшинство населения, жестко отделенное от основного большинства непосредственных сельскохозяйственных производителей или крестьян. Говоря в общем, ее идеология, скорее, преувеличивает, чем преуменьшает классовое неравенство и степень разделения внутри правящего слоя, который может дробиться на ряд более специализированных слоев: воины, жрецы, служащие, администраторы, бургеры. Система в целом благоприятствует горизонтальному расслоению в культуре и может способствовать его появлению и усилению, если оно отсутствует» [Gellner 1983: 9–10].***

Сам Геллнер не думает, что его модель аграрного государства применима к классическому греческому миру, отмечая, что там не было горизонтальной культурной дифференциации и господства военно-жреческой страты [Gellner 1983: 14; 1988a: 22]. Граждане полиса не яв-

* Некоторые изложенные здесь идеи я уже высказывал, но повторю их для большей ясности моей аргументации (см.: Berent 1996: 36–59; 1998: 331–362).

** Я несколько модифицировал точку зрения Коэна, ограничившись традиционными определениями государства.

*** Позиция Геллнера отличается от классического марксизма. Согласно последнему, стратификация или возникновение классов должно предшествовать сложению государства. Таким образом, классический марксизм рассматривает государство как «третью силу» и следствие классовой борьбы между управителями и управляемыми. Геллнер, напротив, отождествляет правящий класс с самим аграрным государством и ограничивает борьбу за власть только правящей стратой (т.е. в марксистских терминах он идентифицирует только «одну силу» – правящий класс). См. также Mann 1988: 48–49.

лялись профессиональными солдатами или администраторами. Кроме того, горизонтальное разделение в культуре, которое Геллнер считает характерным для стратифицированных аграрных обществ, также отсутствовало в греческом случае; греки возникли из «темных веков» как «народ Гомера», в котором ни один класс не имел монополии на грамотность и культуру. Геллнер называет греческое общество «обществом без господства».

Конечно, невозможно отрицать существование в полисах эксплуатации (особенно рабов) или привилегированных групп (особенно граждан). Также невозможно отрицать, что в определенном смысле граждане полиса обладали монополией на применение силы. Это обуславливает необходимость попытки модифицировать модель аграрного государства Геллнера, чтобы сделать ее применимой к древнегреческому материалу. Я вернусь к этому позже.

Второй набор definicijий государства фокусируется на структуре самого управления, когда во внимание принимаются институализированная иерархия и централизация, территориальная независимость и монополия на использование насилия [Cohen 1978b: 34]. Здесь лучшим отправным пунктом было бы, вероятно, знаменитое веберовское определение государства как организации, обладающей легитимной монополией на применение силы [Weber 1978: 54]. Так, Геллнер пишет: «Государство – это институт или совокупность институтов, особо связанных с поддержанием порядка (независимо от того, с чем еще они могут быть связаны). Государство существует там, где специализированные органы поддержания порядка, как, например, полиция и суд, отделились от остальных сфер общественной жизни. Они и есть государство» [Gellner 1983: 4].

Это определение далеко от того, чтобы быть верным для полиса. Зачаточный характер государственного аппарата принуждения в полисе был отмечен сэром Мозесом Финли. За некоторыми исключениями (Спарта, Афинский военно-морской союз и тирании) полис не располагал постоянной армией. Только в тираниях существовала «милиция», использовавшаяся для выполнения карательных функций [Finley 1983: 18–20].* Что касается «полиции», то представляется общепризнанным, что в древних полисах «так и не была разработана соответствующая полицейская система» [Badian 1970: 851]; близко к ней было только обычно «небольшое число общественно используемых рабов в распоряжении различных магistratov» [Finley 1983: 18].

* Тирании же были на самом деле попытками централизовать средства принуждения, т.е. создать государство.

Отсутствие публичного аппарата принуждения означало, что возможность применять силу была равномерно распределена среди вооруженных или потенциально вооруженных членов общества, т.е. среди полноправных граждан. Таким образом, как отмечал Линтотт, порядок поддерживался посредством самопомощи и самозащиты (с помощью друзей, соседей, семьи) [Lintott 1982: 26; Rihll 1993: 86–87]. Не было никакой общественной системы обвинения, и судебные дела выносились на народные суды заинтересованными партиями или добровольцами. Аналогично судебные решения выполнялись не чиновниками, а заинтересованными партиями, и иногда самими судившимися.

В Афинах, например, в качестве государственного аппарата для поддержания закона мог бы рассматриваться институт Одиннадцати, который надзирал за содержанием под стражей и казнями. Подобно большинству афинских магistrатов, Одиннадцать были обычными гражданами, избранными голосованием на один год. Обычно они не осуществляли арестов по собственной инициативе. Аресты выполнялись заинтересованными лицами или добровольцами [Lintott 1982]. Более того, в классических полисах тюремное заключение не являлось обычной формой судебного наказания [Todd 1990: 234], что не удивляет, поскольку тюрьмы – это часть бюрократического государственного аппарата. В Афинах больше была распространена практика содержания обвиняемых в общественной тюрьме под надзором Одиннадцати до завершения суда или казни.* Одиннадцать также несли ответственность за казнь без суда *kakourgoi* (грабителей, воров и других преступников, которые были пойманы с поличным и признались). Опять-таки *kakourgoi* не арестовывались самими Одиннадцатью, а передавались в их руки гражданами [Hansen 1976: 9–25]. В Афинах существовал кроме того отряд скифских лучников, «вероятно, более декоративный, чем полезный, особенно для поддержания порядка в судах и собраниях» [Badian 1970: 851]. Во всяком случае, они не представляли «ничего похожего на полицию в современном смысле» [Hansen 1991: 124].**

Хотя этот институт может до некоторой степени рассматриваться как полицейская сила, его зачаточный характер становится очевидным, если принять во внимание численность населения в Аттике (более 200 тысяч человек, включая не-граждан [Gomme, Hopper 1970: 862]). Финли подчеркивает: «Ни полицейские действия против индиви-

* Так же должники, приговоренные к уплате штрафа, могли быть взяты под стражу до выплаты долга. (см. MacDowell 1978: 257).

** Спарта имела «тайную полицию» (*krupteia*), которая использовалась только против илотов (Badian 1970: 851; Cartledge 1987: 30–32). Даже в этом случае Спарта представляет редкое исключение, которое нуждается в специальном обсуждении.

дуальных злодеев, ни критические меры против крупномасштабной “подрывной деятельности” не говорят нам, как греческие города-государства или Рим могли поддержать правительственные решения – от внешнеполитических до налоговых и правовых, когда они очевидно не располагали средствами, чтобы, по образному выражению Ласки, «принудить оппонентов правительства, сломить их волю, заставить их подчиниться» [Finley 1983: 24].

Что касается отделения государственных учреждений «от остальных сфер общественной жизни», Финли также отметил, что Афины с их впечатляющими политическими учреждениями и «империей» совсем не имели бюрократии [Finley 1977: 75]. Политические учреждения Афин – Народное собрание (*ekklesia*), Совет (*boule*) и суды (*dikasteria*) – были общественными, не отделенными от *демоса*.^{*} Различные должности в Афинах (большинство магistrатур, включая архонтов, но не стратегов) занимались на один год. Кратковременные назначения на политические должности – иной путь предотвращения отделения государства от общества, что прямо сказывается на «конституционной» и фактической власти этих должностных лиц. «Это ведет к выжиманию чего-либо такого, что могло бы быть охарактеризовано как собственно исполнительная власть, и низводит должностные лица до уровня индивидуумов, не отделимых от народа» [Osborne 1985: 9].

Управление в Афинах можно рассматривать двояко – с точки зрения институтов и должностных лиц, с одной стороны, и с точки зрения людей, определяющих политику, – с другой. В то время как политические учреждения комплектовались дилетантами, что указывает на отсутствие разделения труда, можно говорить о некотором разделении труда, принимая во внимание существование «профессиональных политиков» – демагогов и тех, кто выступал в Народном собрании. И все же, в том смысле, в котором последние могли бы называться правительством, это было, несомненно, негосударственное правительство. Афинский лидер не занимал никаких формальных постов и не имел в своем распоряжении государственного аппарата принуждения. Он был просто харизматической личностью, оратором, который мог убедить людей в Народном собрании принять его политику, но он также рисковал потерять свое влияние (и жизнь!), а его политика могла быть отвергнута в любой момент [Finley 1985: 24].

* Это традиционная точка зрения. Однако Хансен полагает, что *dikasteria* (суды) были независимым органом (см., например: Hansen 1989: 102).

Рабство

Существование эксплуатации (особенно рабов) или привилегированных групп (особенно граждан) и то, что в определенном смысле граждане действительно имели монополию на применение силы, привело к попыткам модифицировать модель аграрного государства Геллнера, чтобы сделать ее пригодной для древнегреческого мира. Анализ этих попыток мог бы еще более прояснить различия между полисом и аграрным, или ранним государством.

Наиболее очевидная модификация модели аграрного государства должна следовать И. Моррису, который предлагает проводить основную разделительную линию между гражданами и рабами [Morris 1991: 46–49]. Опять-таки рассмотрение граждан как «правящего класса» противоречит модели аграрного государства Геллнера из-за отсутствия разделения труда: граждане не являются профессиональными солдатами или администраторами. Иная версия была предложена Рансимэном, который полагает, что полис должен отвечать двум основным условиям: «Во-первых, полис должен быть юридически автономным в смысле обладания монополией на средства принуждения в пределах территории, на которую распространяются его законы. Во-вторых, его форма общественной организации должна основываться на различиях между гражданами, которые обладают монополией на применение силы, распределяют между собой бремя власти и объединены идеологией взаимного уважения, и не-гражданами, продукт труда которых контролируется гражданами, *даже если они делают ту же работу (но когда не воюют)* (курсив мой. – М.Б.)» [Runciman 1990: 348].

Рансимэн рассматривает принуждение в образованиях, которые он называет «гражданскими государствами», как средство присвоения прибавочного продукта. Его модель допускает, что граждане выступают как единый организм по отношению к рабам или не-гражданам в целом. Справедлив ли такой взгляд?

Сейчас общепризнанно, что в древнегреческих полисах, за исключением Спарты, отсутствовали любые организованные военные силы или иные профессиональные подразделения для поддержания внутреннего порядка. Как в таком случае контролировались рабы?

Для древней Греции было характерно частное рабство; рабы принадлежали индивидуальным хозяевам, а не обществу в целом. Следовательно, что очень важно, контроль над рабами также был «частным». В одном из поясняющих пассажей «Республики» Сократ приравнивает рабовладельцев к тиранам. Управление рабами – это дело самого хозяина. Но почему тогда «эти хозяева ... не боятся своих рабов»? Ответ заключается в том, что «весь полис (*pasa e polis*) должен помогать

(*boethei*) им» [Plato, *Republic* 578d-e, 361a-b].* То, что Сократ имеет в виду взаимопомощь, а не какую-либо организованную или профессиональную помощь, становится еще более очевидным из следующего фрагмента: «Но представьте себе теперь, что некий бог взял бы одного человека, который обладал пятьюдесятью или более рабами, и переместил бы его с женой и детьми, его товарами и движимым имуществом и его рабами в пустынное место, где не было бы никакого другого свободного человека, чтобы помочь ему; не будет ли он в большом страхе, что он сам, его жена и дети будут убиты рабами? (курсив мой. – М.Б.)» [Plato, *Republic* 578e].

Здесь подчеркнуто не отсутствие государства в пустынном месте, и даже *не отсутствие граждан*, а отсутствие других свободных, которые составляют естественную группу, от которой могла бы прийти помощь. В аналогичном пассаже Ксенофона в подобном контексте все хозяева рабов в общине действуют вместе как «добровольная стража» [Xen. *Hiero*, 4.3; см. также Fisher 1993: 71–72].

Отсутствие готовой военной силы для подавления мятежей рабов дополнительно объясняется тем, что «рабы никогда не представляли сплоченную группу ни в глазах своих владельцев, ни в своих собственных, так что (в большинстве случаев) они не были вовлечены в социальные конфликты» [Figueira 1991: 302; см. также Naquet 1981; Szegedy-Maszak 1986: 159–67], и то, что мы не знаем ни одного восстания рабов в Древней Греции, за исключением Спарты. Но в этом случае, илоты были не частными рабами, а местным населением, порабощенным Спартой, и были способны восстать именно из-за своего этнического и политического единства, в то время как «частные рабы классической Греции этим условиям не отвечали» [Cartledge 1985: 46]. И на самом деле, уже греки обнаружили, что рабами легко управлять, когда они разобщены. Так, Аристотель писал: «Если говорить о желательном порядке, то лучше всего, чтобы землепашцы были рабами. Они, однако, не должны принадлежать к одной народности и не должны обладать горячим темпераментом; именно при таких условиях они окажутся полез-

* Здесь я должен заметить, что традиционные переводы пропитаны этатизмом. Так, П.Шори переводит: «поскольку все государство готово защитить каждого гражданина», а Д. Ли – «потому, что индивидуум имеет поддержку от общества в целом». Упущеный момент связан с идеей самопомощи, которая передается словом *boethein*. *Boe* означает «крик о помощи». *Boe* был главным способом призыва соседей на помощь, и предполагалось, что люди ответят на этот крик. Слово *boethein* стало стандартным словом для обозначения взаимопомощи [см. Lintott 1982: 18–20].

ными для работы и нечего будет опасаться с их стороны каких-либо попыток к возмущению» [Aristotle, *Politic*. VII. 10, 1330a: 24–29].^{*}

Разобщение было важным средством контроля над рабами. Другим средством были манумиссии и определенная инкорпорация в греческое общество. Майерс и Копытофф считают, что хотя акцент обычно делается на том, «как рабов исключают из общества, в действительности проблема для общества состоит в том, как инкорпорировать чужака, продолжая обращаться с ним как с чужим» [Miers, Kopytoff 1977: 15–16]. Соответственно, африканские рабовладельческие общества предоставляют рабам социальную мобильность от статуса полностью чужого до инкорпорированного в группу родственников, что Майерс и Копытофф называют «рабско-родственный континуум» [Miers, Kopytoff 1977: 19–26]. В классической Греции манумиссия и определенная мобильность существовали наряду с тем, что может быть названо «рабско-гражданским континуумом». Потенциальным стимулом для крупномасштабных освобождений рабов в полисах была нехватка воинов и гребцов для армии и флота [Fisher 1993: 67–70]. То, что обычно процесс инкорпорации рабов в гражданский коллектив полиса останавливался на раннем этапе и полная инкорпорация в гражданство была редкой и могла занимать больше времени, чем одно поколение, не снижает ценность самого существования обычной инкорпорации [Morris 1987: 174]. Важно иметь в виду, что греческие рабы были инкорпорированы культурно в греческое общество. В жалобах Платона, что в Афинах рабов нельзя распознать по внешности, возможно, преувеличивается распространенность этого феномена. Другими словами, культурного раслоения по горизонтали, которое Геллер считает характерным для стратифицированных аграрных обществ, в греческом случае не было.

Отсутствие аппарата принуждения делало полис менее приспособленным для военного господства. Ценой такого доминирования было создание общества спартанского типа, где община превратилась в военный лагерь.^{**} Соответственно, хотя во многих случаях греческая колонизация начиналась с завоевания, новые полисы предпочитали либо уничтожать местных жителей, либо вытеснять их, либо продавать в рабство, но не порабощать и создавать общество спартанского типа

* Платон (Plato, *The Laws* 777) говорит, что «частые и повторяющиеся восстания в Мессении и в государствах, где много рабов, говорящих на одном и том же языке, уже достаточно показали порочность этой системы... Чтобы безопасно управлять рабами, они не должны происходить из одной страны и говорить на одном языке» (см. также Garlan 1988: 177–183).

** Подобные общины существовали на острове Крит, в Фессалии, в Гераклее на Черном море, в Сиракузах и т.д. (см.: Fisher 1993: 32–33).

[Rihll 1993: 92–105]. Отсутствие механизмов принуждения также сохраняло численность рабов на определенном уровне. Таким образом, относительное количество рабов в составе населения также должно противоречить модели аграрного государства Геллнера. В то время как в последнем правители – это незначительная часть населения, в греческих полисах рабы (в данном случае, «управляемые») составляли самое большое 35–40% всего населения [Fisher 1993: 34–36; Cartledge 1993: 135].

Эксплуатация

Представление о том, что (аграрное) государство являлось инструментом для присвоения прибавочного продукта, характерно не только для марксистов. В то же время особенность полиса, заключающаяся в том, что принуждение в нем основывалось в большей степени на взаимопомощи граждан (а не носило организованный или профессиональный характер) означает, что полис, скорее, был не государством, а, как говорит Аристотель, представлял собой ассоциацию или партнерство (*koinonia*). Конечно, сказанное не означает, что полисная экономика не основывалась на присвоении прибавочного продукта рабов (или «бедных» в широком смысле слова), но подразумевает, что рабство и эксплуатация могли существовать без государства. Это становится еще более ясным, когда мы проверяем, в какой степени способы эксплуатации, связанные с аграрным государством, характерны для полиса. Хазанов отмечает: «...одна особенность большинства, если не всех, ранних государств заслуживает особого внимания, поскольку она может оказаться их отличительной чертой. Я имею в виду ту значительную роль, которую играло раннее государство в непосредственной эксплуатации производителей через налоги, принудительный труд и другие повинности» (Khazanov 1978: 87).*

Хиндес и Херст в своей работе «Докапиталистические способы производства» включают прямое государственное налогообложение, присвоение прибавочного продукта и принудительный труд в число характеристик античного способа производства [Hindess, Hirst 1985: 86–87]. Сен Круа находит в греческом полисе те же самые способы эксплуатации. Он проводит различие между тем, что он называет прямой и индивидуальной эксплуатацией, с одной стороны (наемные работники, рабы, слуги, должники и т.п.), и косвенным или коллективным, т.е. государственным принуждением, с другой. Последнее, по определению

* Греческое «государство» Хазанов относит не к раннему государству, а «к следующей, более высокой ступени государственного развития» (Khazanov 1978: 77).

Сен Круа, осуществляется «когда налогообложение, воинская повинность, принудительный труд или другие повинности выполняются исключительно (или в непропорциональном соотношении) одним особым классом или классами... в пользу государства, контролируемого высшим классом» [de Ste. Croix 1981: 44].

Следует проверить, в какой степени эти способы государственной эксплуатации (налоги, принудительная воинская повинность и принудительный труд) характерны для полиса. Что касается налогообложения, то сам Сен Круа соглашается, что «в городах доэллинистического периода оно могло часто быть совсем незначительным» [de Ste. Croix 1981: 206]. Действительно, отсутствие прямого налогообложения граждан является общепризнанной особенностью полиса [Austin, Vidal-Naquet 1977: 121].* Налогообложение обычно свойственно тираниям, но последние предпринимали реальные попытки централизовать власть, т.е. создать государство. Более того, бремя прямых налогов было не принудительной обязанностью (бедных афинян), а законным долгом богатых, которые выполняли литургии. Посредством системы литургий богатые несли огромное финансовое бремя, что компенсировалось соответствующими почестями. Тот факт, что, в общем говоря, экономическое бремя в полисе скорее было возложено на богатых, а не на бедных, указывает на то, что греческий полис являлся скорее ассоциацией, чем государством. Конечно, можно возразить, что экономическое бремя косвенно лежало на бедных - ведь богатые эксплуатировали бедных. Однако это была «индивидуальная эксплуатация», а не «государственная эксплуатация».

Если мы перейдем ко второму способу государственной эксплуатации по Сен Круа, т.е. к принудительной воинской повинности бедных, то Сен Круа полагает, что «в греческих городах военная служба (гоплития) являлась 'литургией', возлагаемой на тех, кого я называю 'имущими классами'» [de Ste. Croix 1981: 207].

Цитируя Маркса, который отмечал, что «военная служба в огромной степени ускорила разорение римских плебеев» [de Ste. Croix 1981: 208], Сен Круа, тем не менее, считает, что в то время как воинская повинность была тяжелым бременем для бедных, она «не была серьезным бременем для тех состоятельных граждан, которым не надо было работать, чтобы обеспечить свое существование» [de Ste. Croix 1981: 207–208].

* По контрасту, не было сомнений в налогообложении неграждан (Austin and Vidal-Naquet 1977: 122–123).

Однако, как говорит Пол Милле, хотя это и было верно в отношении римских плебеев, «в Афинах, если что-то похожее имело место, то, кажется, как раз наоборот, поскольку более богатые граждане несли на себе военные издержки, в то время как основная масса народа имела определенные преимущества» [Millet 1993: 184; Pritchett 1991: 473–485].

Утверждение Сен Круа о том, что военная служба разоряла бедных, игнорирует решающее значение войны в экономике аграрного общества вообще и в полисе в особенности. Война обещала ее участникам долю в добыче [Pritchett 1971: 82–84; 1991: 363–401; 438–504], и благодаря воинской службе люди могли избежать бедности [Pritchett 1991: 458–459].*

Более того, история становления афинской демократии свидетельствует, что с классовой точки зрения (хотя, возможно, не с точки зрения индивида), призыв на военную службу был привилегией, а не бременем. Именно изобретение гоплитской фаланги ускорило падение аристократии с олигархией, а решающая роль афинского флота в поддержании империи ускорила становление демократии. Исходя из противоположных соображений и чисто классовой точки зрения, вооружение масс («призыв на военную службу») не входило в интересы олигархии. Аристотель отмечал, что олигархии стоят перед дилеммой:

«Изменения внутри олигархий могут происходить по внутренним причинам, без какого-либо вмешательства извне, как во время войны, так и в мирное время. Они случаются во время войны, когда олигархи, не доверяя народу, вынуждены приглашать наемников. Если отряд этих наемников доверят одному человеку, то он часто становится тираном, как стал тираном Тимофан в Коринфе; а если командование разделено между рядом лиц, они сами образуют правящую клику. Боязнь подобных последствий иногда вынуждает олигархию прибегать к силе народа *и таким образом наделять его частью конституционных прав*» [Politic. V.6, 1306a; см. также: Plato, Republic 551e] ** (курсив мой. – М.Б.).

* Другое дело, что одной из первых задач войны в древней Греции являлось уничтожение урожая и других сельскохозяйственных ресурсов [см. Foxhall 1993: 134–136]. Длительные вторжения влияли не на всех одинаково – земледельцы страдали больше остальных [Osborne 1987: 154; Foxhall 1993: 142–143].

** В русском переводе С.А.Жебелева этот фрагмент выглядит несколько иначе: «Крушение олигархий может произойти и в военное, и в мирное время. Во время войны олигархи оказываются вынужденными не доверять народу, пользоваться наемными воинами, и тот, кому они их вручат, зачастую становится тираном, как, например, в Коринфе, Тимофан; а если их будет несколько, то они сами добиваются для себя династической власти; иногда, впрочем, страшась этого, представляют и народной массе участие в государственном

Благодаря именно децентрализации и сравнительно эгалитарной природе полиса вынужденный «призыв на службу» становился препятствием на пути господства одного класса. Под тем, что многочисленные бедняки и богачи имели равное значение, подразумевалось, что вооружение масс и увеличение коэффициента их военного участия, должно было сопровождаться увеличением коэффициента их политического участия. Таким образом, исходя из внутренних условий (война, например) «призыв на военную службу» возлагался скорее на привилегированных, чем на непривилегированных.

Далее, при тщательном анализе аргументов Сен Круа в пользу классовой эксплуатации в греческом полисе обнаруживается слабость его доводов в отношении того, что он называет «косвенной и коллективной» эксплуатацией, осуществляемой «государством под контролем высшего класса».

Отсутствие публичных институтов принуждения дополняло отсутствие тех способов государственной эксплуатации, которые были характерны для ранних государств. Следовательно, по большому счету, греческий полис не был инструментом присвоения прибавочного продукта. Здесь возникает главный вопрос: как греки достигли «благой жизни» (термин Аристотеля – *Прим. отв. ред.*)? Или, другими словами, как им удалось обеспечить цивилизованный уровень жизни? Рабство – один из путей достижения «благой жизни», но недостаточный, потому что, вероятно, не было необходимого количества рабов. Мы должны помнить, что в аграрных государствах цивилизованное меньшинство, присваивавшее прибавочный продукт подавляющего большинства, являлось тончайшей прослойкой на фоне всего населения, в то время как в Афинах рабы составляли максимум 35–40% от всего населения. Отсутствие аппарата принуждения делало увеличение численности рабов сверх определенного количества невозможным и опасным.

Таким образом, рабство должно быть подкреплено и дополнено войной. Это не должно удивлять нас. Как отметил Геллер, в аграрном мире богатство, в общем, было легче приобрести путем насилия и грабежа, чем посредством труда. Примет ли насилие в конкретном аграрном обществе форму принуждения или грабежа зависит от того, как распределяются средства принуждения. Большинство аграрных обществ являются авторитарными, т.е. стратифицированными обществами с государством, в котором средства принуждения централизованы и монополизированы правящим классом. В таких обществах принужде-

управлении, так как им без содействия народа не обойтись» (Аристотель. Соч.: В 4-х т. М., 1984. Т.4. С. 540). *Прим. отв. ред.*

ние принимает форму государственного господства и государственного присвоения прибавочного продукта. Но есть и другой тип аграрных обществ – эгалитарные безгосударственные общины. Эти общества характеризуются высоким коэффициентом военного участия,^{*} т.е. в военное время почти все вооружены. В таких безгосударственных общинах насилие должно было бы принимать форму обороны, грабежа и войны против внешнего мира [Gellner 1991: 62–63].

Решающее значение войны и военной добычи в экономике полиса давно признано. В «Федоне» Платон говорит, что «все войны предпринимаются ради приобретения богатства» (66с), а Аристотель указывает пять способов приобретения средств к существованию: скотоводство, земледелие, пиратство, рыболовство и жизнь охотой», и он считает войну «естественным способом приобретения средств» [Aristotle. *Politic.* I.8, 1256b23]. Действительно, «война в древнегреческом мире являлась способом производства» [Rihll 1993: 183–184]. Финли по этому поводу пишет следующее: «Почему греческие полисы непрерывно воевали друг с другом? Нет простого ответа. В данной ситуации может быть достаточно указания на то, что греческие полисы испытывали недостаток в людских, земельных и материальных ресурсах, необходимых для того, чтобы обеспечить своим гражданам “благую жизнь”, что являлось общепризнанной целью государства. Хронический дефицит ресурсов они могли преодолевать только за счет либо собственных граждан, либо других государств» [Finley 1981: 83; 1985: 158–159; Manicas 1982: 679–680].

II. Два плана управления – социальная антропология и греческий полис

Социальная антропология и миф о греческом государстве

Эволюционистская традиция, господствовавшая в социальной антропологии в конце XIX – начале XX столетий, утвердила представление о классическом греческом государстве. Согласно ее постулатам, человеческие общества постоянно эволюционировали, следя одному и тому же образцу, хотя и не обязательно в одно и то же время. Существование примитивных безгосударственных обществ (таких, как ирокезы Северной Америки) означало, по мнению эволюционистов, что каждое историческое западное общество должно было пройти через эту пле-

* Геллнер позаимствовал это выражение у С. Андрески.

менную стадию, прежде чем оно достигло своей государственной стадии.

Задача историков, а также антропологов состояла в том, чтобы попытаться выявить различные эволюционные стадии в истории каждого общества (Crone 1956: 56–58; Kuper 1988: 1–7). Греческое общество не подлежало исключению, наоборот, оно обычно иллюстрировало первый исторический переход от племенного общества к государству. Так, в своем труде «*Древнее общество*» Льюис Генри Морган писал: «Можно принять в качестве предпосылки, что все формы управления сводятся к двум главным планам, причем слово “план” используется в его научном смысле. В своей основе они оба фундаментально различаются. Первый по времени основывается на личностях и на чисто личных отношениях; его можно отнести к обществу. Род является единицей этой организации, причем в архаический период он порождает последовательные стадии интеграции – род, фратрия, племя и конфедерация племен, которая образует народ или нацию (*populus*). Как таковой ... был существенной универсальной единицей организации древнего общества; и он сохранился у греков и римлян после вступления в цивилизацию. Второй основывается на территории и собственности, и его можно отнести к государству (*civitas*)... Политическое общество основывается на территориальном принципе и имеет дело с собственностью, а также с индивидами посредством территориальных отношений... Оно обложило налогами греков и римлян..., после того как они достигли цивилизации, ... чтобы объявить о начале второго плана управления, который сохраняется у цивилизованных народов до настоящего времени» [Morgan 1964: 13–14].

Здесь важно не только само допущение, что греческий полис являлся государством, но и идея дуальности, мысль, что, в принципе, могли существовать только два типа управления, племенное (и безгосударственное, хотя Морган не употребляет этот термин), с одной стороны, и государственное, – с другой. В вышеупомянутой цитате появляется еще одна важная дуалистическая идея о том, что государство связано с частной собственностью, а племенное (безгосударственное) общество – с общиной. Следовательно, если частная собственность и «классовая» борьба обнаружатся в классической Греции, то полис должен быть государством [Starr 1986: 53–55]. Третья важная дуалистическая идея Моргана заключается в том, что племя свойственно первобытным обществам, а государство – цивилизациям. Из этого можно заключить, что если греческий полис был цивилизованным, то он являлся государством.

Здесь, конечно, следует подчеркнуть вклад классического марксизма в понятие греческого «государства». Не вызывает удивления тот факт, что теория Моргана была с энтузиазмом воспринята Марксом и Энгельсом и включена в каноническое марксистское учение [Gellner 1988: 39–68, 52–54]. В этом вопросе классическим марксистским текстом является «Происхождение семьи, частной собственности и государства». По Энгельсу, первой стадией эволюции у греков была безгосударственная община: «Наконец, родовой строй вырос из общества, не знавшего никаких внутренних противоположностей, и был приспособлен только к нему. У него не было никаких других средств принуждения, кроме общественного мнения» [Engels 1972: 228].

Однако такое общество не могло справиться с однажды возникшими частной собственностью и классовыми противоречиями и потому нуждалось в государстве: «Здесь же возникло общество, которое в силу всех своих экономических условий жизни должно было расколоться на свободных и рабов, на эксплуататоров – богачей и эксплуатируемых бедняков, общество, которое не только не могло вновь приимирить эти противоположности, но должно было все больше обострять их. Такое общество могло существовать только в непрекращающейся открытой борьбе между этими классами или же под господством третьей силы, которая, якобы стоя над взаимно борющимися классами, давляла их открытые столкновения и допускала классовую борьбу самое большое только в экономической области, в так называемой законной форме. Родовой строй отжил своей век. Он был взорван разделением труда и его последствием – расколом общества на классы. Он был заменен государством» [Engels 1972: 228].

Государственный характер античного полиса не вызывает у Энгельса сомнений: «Народное войско афинской демократии было аристократической публичной властью, направленной против рабов, и держало их в повиновении; но для того, чтобы держать в повиновении также и граждан, оказалась необходимой … жандармерия. Эта публичная власть существует в каждом государстве. Она состоит не только из вооруженных людей, но и из вещественных приатиков, тюрем и принудительных учреждений всякого рода…» [Engels 1972: 230].

Современную марксистскую интерпретацию так называемой «классовой борьбы» в древней Греции можно найти у Сен Круа, в работе «Классовая борьба в древнегреческом мире», где он говорит: «Мы можем согласиться, что то, что мы называем «государством», было для греков инструментом *политей*, объединения граждан, имевших конституционные полномочия на управление… Поэтому контроль над государством был одним из призов, фактически главнейшим призом клас-

совой борьбы в политическом плане. Это не должно удивлять даже тех, кто не может принять положение “Коммунистического Манифеста” о том, что «собственно так называемая политическая власть есть просто организованная сила одного класса для подавления другого» [de Ste. Croix 1981: 287].

Действительно, понятие классовой борьбы, как оно представлено в греческих источниках, где «классы» более или менее на равных ведут борьбу за господство, кажется, прекрасно подходит под понятие классовой борьбы в классическом марксизме. Приведем следующий количественный подсчет Аристотеля, когда он выступает в защиту правления среднего «класса», средней группы граждан: «Из нашего аргумента становится ясным, во-первых, что наилучшей формой полисного общения является такое общение, при котором властью облекается средний класс, и, во-вторых, благое управление достижимо в тех полисах, где средний класс имеется в большом количестве – достаточно большом, если это возможно, чтобы быть сильнее двух других классов, но в любом случае, достаточно большом, чтобы быть сильнее каждого из них по одиночке; поскольку в этом случае его добавления к любому из них будет достаточно, чтобы помешать превращению любого из противоположных крайних элементов в господствующий» [*Politics* IV.11, 1295b: 34-39].

Хотя кажется, что данное описание замечательно согласуется с классической марксистской схемой, это выглядит проблематично с точки зрения модели аграрного государства, предложенной Геллнером. По Геллнеру, политика в аграрных стратифицированных государственных обществах ограничивается борьбой внутри правящей элиты. Таким образом, отсутствует проблема управляемого подавляющего большинства невооруженных непосредственных производителей (которые, как предполагается, эквивалентны греческим «беднякам»), стремящегося захватить контроль над государством.* Действительно, именно здесь геллнеровская модель, кажется, противоречит классическому марксизму [Hall 1985: 28–32]. Следовательно, с точки зрения Геллнера, то, что описывает Аристотель, это децентрализованное и эгалитарное общество. Способность использовать силу распределяется среди вооруженных и потенциально вооруженных членов общества; следовательно, каждый класс может располагать силой, и, как ожидается в эгалитарном обще-

* Как считает Майкл Манн, непосредственные производители и эксплуататоры могли объединяться против политической элиты в государстве, но не для того, чтобы изменить её, а для того, чтобы ей не подчиняться. Таким образом, когда управляемые вовлекаются в классовый конфликт в аграрных государствах, они не стремятся захватить контроль над государством, а скорее, стремятся его разрушить (Mann 1988: 51–56).

стве, эта сила зависит от численности группы. Она также может зависеть от типа вооружения, доступного различным группам. Таким образом, богатых, вероятно, могло быть меньше, чем бедных, поскольку они имели лучшее вооружение (например, доспехи гоплита). Тем не менее это общество еще является эгалитарным и децентрализованным, так как недостаток вооружения у бедных мог компенсироваться их численностью. Из подсчетов Аристотеля также видно, что различные элементы в обществе если и не одинаковы по численности, то, по крайней мере, сопоставимы по степени могущества.

Здесь мы можем подойти к интересному выводу: единственная причина, по которой классический марксизм мог обнаружить в греческих источниках подтверждение собственного представления о классовой борьбе, согласно которому потенциально мог господствовать каждый класс, состояла именно в том, что греческий полис не являлся (агарным) государством, а, скорее, был безгосударственным и относительно эгалитарным обществом.

Важно отметить, что в вышеприведенной цитате Аристотеля «средний класс» преобладает благодаря тому, что он достаточно многочислен, а не потому что он установил господство над другими частями общества. Для этого у него нет средств: армии, участвующие в «классовой борьбе» или *стазисе* – это не профессиональные армии, и существуют они лишь до тех пор, пока длится военное столкновение. Возможно, конечно, что победившая партия пожелает господствовать, не захочет распуститься и разоружиться, а наоборот, будет стремиться к установлению тирании. Действительно, греческие тирании представляют собой попытки захватить и централизовать власть, т.е. создать государство, и являются единственным примером, когда воины или стражники использовались для организации управления.

И все же обычно целью *стазиса* была не тирания, а, скорее, изменение конституции или присвоение конституционных прав. Особенно очевидно то, что изменение конституции вело к сокращению или увеличению количества граждан. Гражданство, не говоря уже о политическом, правовом и религиозном статусе, давало существенные экономические преимущества. Так, только граждане могли владеть землей, в афинском случае лишь граждане имели право на долю прибыли от разработки рудников. Только граждане имели доступ к общественным фондам (литургиям, военной добыче, и – в афинском случае – к сборам, поступавшим от «империи»). Граждане имели право на помощь из продовольственных запасов. Далее, как сообщает Аристотель, конституция регулировала должностной порядок: она устанавливала виды должностей и их распределение между различными «элементами» корпуса гра-

ждан. Иногда отправление должностей было сопряжено с выгодой, как в случае с афинскими присяжными заседателями, *дикастами* [Finley 1976: 81–82; 1981; Garbsey 1988: 80].

Таким образом, хотя каждый «класс» и хотел бы навязать другим свои конституционные предпочтения, это не означало, что такая политика навязывалась *правительством*. Скорее, она осуществлялась под свежим впечатлением от исхода последней вооруженной борьбы, или *стазиса*, и нового конституционного урегулирования. В других случаях (например в том, который защищает Аристотель), когда группа или класс были «достаточно многочисленными», итоги *стазиса* можно было предвидеть заранее, и его угроза могла быть достаточной для того, чтобы осуществить конституционные требования доминирующей группы [Berent 1998].

Социальная антропология и миф о греческом племени

В то время как современная социальная антропология усилила миф о греческом государстве, ее также отчасти можно обвинить в создании другого мифа – о «греческом племени».

Действительно, традиционный взгляд, господствовавший вплоть до настоящего времени, заключался в том, что классический полис развился из архаического полиса, являвшегося племенным. Нет сомнения в том, что миф о «греческом племени» был прямо связан с мифом о «греческом государстве»: как отмечалось выше, с XIX столетия эволюционистская точка зрения заключалась в том, что государство должно было возникнуть из племенных форм. Представление о последних, казалось, подтверждается существованием афинских фил, родов и фратрий, которые были похожи на систему линиджей. Однако за последние два десятилетия понятие племени подверглось яростным нападкам, начало которым положили работы двух французских ученых – Д. Русселя и Ф. Буррио [Roussel 1976; Bourriot 1976]. По их мнению, племенная модель общественного устройства архаической Греции представляла собой в основном продукт спекулятивного мышления конца XIX – начала XX вв. Испытав сильное влияние эволюционистских антропологических теорий своего времени, историки приняли постулат о том, что греки, должно было иметь (подобно ирокезам Моргана) «племена», «фратрии» и «кланы» [Donlan 1985: 295–296; Roussel 1976: 99–103]. Руссель и Буррио отвергли понятие племенного общества для архаической Греции, в основном ссылаясь на то, что в литературе гомеровской и архаической эпох нет упоминаний ни о родовой собственности, ни о родовых культуах, ни о большой семье, как нет упоминаний и об обязательной помощи в случае кровной мести (т.е. взаимопомощи),

возлагавшейся на большую семью. Скорее, они свидетельствуют о том, что слово *гено*с употреблялось в его обычном смысле родословного или семейного происхождения [Smith 1985: 53; см. также Bourriot 1976: 240-300; Roussel 1976: 30-1].^{*} Далее, они показали, что нет археологических данных, подтверждающих существование непрерывности в погребальных обрядах при переходе от «темных веков» к классическому времени [Bourriot 1976: 850-99; Smith 1985: 54-5].

Финли, с энтузиазмом принявший открытия Русселя, говорил о том, что понятие племенного полиса «противоречит данным», и что «насколько можно судить, это не просто побочный продукт линейной теории социальной эволюции, но свидетельство фундаментальной путаницы между понятиями семьи, рода и племени» [Finley 1983: 44-45; 1985c: 91; также см. Murray 1990: 13].

Сопоставление социальной архаической Греции с современными теориями племенной структуры дает основания для дальнейших сомнений относительно ее мнимой племенной природы. Теория сегментарного общества, которая ассоциируется с работами Эванса-Причарда и Геллнера, гласит, что в периоды конфликтов племенное общество должно дробиться по линиям. Однако в полисе обычно это были объединения *ad hoc*. Принцип «объединения по случаю» лежал в основе помощи, оказываемой семьей, друзьями и соседями по мере возникновения необходимости и особых ситуаций. В случае гражданской войны (*стазиса*) происходило политическое деление на «временно организованные группы граждан» [Wheeler 1977: 168] не идентичные так называемым греческим родовым подразделениям. К отсутствию сегментации в греческом полисе можно добавить аргумент о том, что у них не было родовых групп (по крайней мере таких, какие предусматриваются теорией сегментарного общества).

Важно подчеркнуть, что неадекватность постулатов социальной антропологии древнегреческой реальности выходит далеко за рамки недостатков эволюционизма. Современная социальная антропология сохраняет в различных модификациях основное положение классического эволюционизма о «двух планах управления» и еще отождествляет безгосударственное общество с племенем. По мнению Геллнера, современная антропология отвергает гоббсовское представление об изначальном индивидуализме в природе: «Задолго до того, как современная социальная антропология повторила это открытие, Ибн Хальдун пре-

* Эти характеристики вошли в традиционное для XIX столетия понятие племенного общества, в основе которого лежит определение рода (*гено*с), первоначально данное Гротом и модифицированное Морганом.

красно знал о том, что естественным состоянием является не индивидуалистическое, а племенное... в естественном состоянии поддержание порядка и справедливости находится в руках самого вооруженного населения, а не в руках специализированного органа принуждения с помощью закона, т.е. государства. Но безгосударственность не означает индивидуализм. Те, кто участвовал в этом, ощущали поддержку сторонников из своих линий. Порядок поддерживался, по крайней мере в некоторой степени, посредством механизмов безгосударственной племенной организации» [Gellner 1981: 24–25].

В другом месте Геллнер говорит, что «человек в аграрном обществе, кажется, стоит перед дилеммой подчинения либо правителям, либо родственникам» (Gellner 1991: 64). Таким образом, если кто-то с позиций социальной антропологии предполагает, что полис был безгосударственным, то он должен предположить, что он был племенным. И все же греческий полис не был ни государственным, ни племенным, и, следовательно, греческие граждане не подчинялись ни правителям, ни родственникам. В огромной степени греки в «естественном состоянии» действительно были индивидуалистами.

Далее, современная социальная антропология принимает допущение Моргана и все еще рассматривает безгосударственное (племенное) общество в качестве первобытного, а государственное – как необходимую предпосылку цивилизации. Так, Салинз пишет: «Цивилизация – это общество одновременно крупномасштабное и внутренне расчлененное. Огромное население, возможно, этнически неоднородное, разделено по родам занятий и профессиям, и на основе неравного доступа к механизмам власти разделено на классы с неравными привилегиями. Все культурные достижения цивилизации зависят от этой крупномасштабности и сложности организации. Но общество столь огромное, неоднородное и внутренне разделенное не может существовать без специальных средств контроля и интеграции. ... Культурное богатство, которое мы называем цивилизацией, должно быть институционализировано в форме государства» [Sahlins 1968: 6–7; также см. Crone 1986: 49–59; Khazanov 1978: 89–90].

И все же, греческий полис и греческое общество были одновременно и цивилизованными и безгосударственными. Цивилизованность греческого общества была иного рода, нежели цивилизованность авторитарных аграрных обществ. Тогда как в последних блага цивилизации принадлежали только незначительному меньшинству, составлявшему правящий класс, в греческом мире благами цивилизации пользовались все. Греки, действительно, вышли из «темных веков» как «народ

Гомера», и культурное развитие архаической Греции влияло на жизнь почти каждого человека в греческом мире [Snodgrass 1980: 160–161].

Таким образом, очевидно, что понятие «двух планов управления», используемое социальной антропологией, неадекватно древнегреческим реалиям. Нам необходим «третий план», который мог бы объяснить существование цивилизованной жизни в безгосударственных условиях древней Греции. И все же, как в условиях отсутствия государства поддерживалось внутреннее разделение и регулировались различные интересы? Как греческому полису при отсутствии центральной власти, олицетворяющей и навязывающей единство, с одной стороны, и при отсутствии поддержания единства с помощью родовых институтов (и, фактически, при отсутствии территориального единства),^{*} с другой, удавалось поддерживать свою сплоченность? Ответы на эти вопросы выходят за пределы данной статьи.

ЛИТЕРАТУРА:

- Austin M., Vidal-Naquet P.* Economic and Social History of Ancient Greece: An Introduction. London, 1977.
- Badian E.* Police // The Oxford Classical Dictionary / Ed. by N.G.L. Hammond and H.H. Scullard. 2nd ed. Oxford, 1970. P. 851.
- Barker E.* The Politics of Aristotle. Oxford, 1946.
- Berent M.* Hobbes and the Greek Tongues // History of Political Thought. 1996. Vol. 17. P. 36–59.
- Berent M.* Stasis, or the Greek Invention of Politics // History of Political Thought. 1998. Vol. 19. P. 331–362.
- Bourriot F.* Recherches sur la nature du genos: étude d'histoire sociale Athénienne - périodes archaïque et classique. Lille; Paris, 1976.
- Cartledge P.* 1985. Rebels and Sambos in Classical Greece // Crux: Essays in Greek History presented to G.E.M. de Ste. Croix on his 75th birthday. Exeter; London, 1985. P. 16–46.
- Cartledge P.* Agesilaos and the crisis of Sparta. London; Baltimore, 1987.
- Cartledge P.* The Greeks. Oxford, 1993.
- Claessen H.J.M., Skalnik P.* The Early State: Theories and Hypotheses // Claessen H.J.M. and Skalnik P. (ed.). The Early State. The Hague, 1978. P. 3–29.

* То, что полис как единый организм, или политическая система (его следует отличать от полиса в значении город) не определяется в территориальных терминах, отмечали Финли, Хансен и другие. Финли говорит: «Полис не имел пространственных границ, хотя он и занимал определенную территорию; он представлял собой народ, который действует согласованно» (Finley 1963: 56; 1982: 3–4; также см. Hansen 1991: 58–59).

- Cohen R.* Introduction // Origins of the state: the anthropology of political evolution. Philadelphia, 1978(a). P. 1–20.
- Cohen R.* State origins: A reappraisal // Claessen H.J.M. and Skalnik P. (ed.). The Early State. The Hague, 1978(b). P. 31–75.
- Crone P.* 1956. The Tribe and the State // States in History. Oxford, 1956. P. 48–77.
- Donlan W.* The Social Groups of Dark Age Greece // Classical Philosophy. 1985. Vol. 80. P. 293–308.
- Engels F.* Origins of the Family, Private Property and the State. With introduction and notes by E. Leacock. New York, 1972.
- Figueira Th.J.* A typology of social conflict in Greek Poleis // City States in Classical Antiquity and Medieval Italy. Stuttgart, 1991. P. 289–307.
- Finley M.I.* The ancient Greeks. London, 1963.
- Finley M.I.* The Ancient Greeks. Harmondsworth, 1977.
- Finley M.I.* The Freedom of the Greek Citizen // Economy and Society in Ancient Greece. London, 1981(a). P. 77–94.
- Finley M.I.* Politics // The legacy of Greece: A New Appraisal. Ed. by M.I. Finley. Oxford, 1981(b): 22–36.
- Finley M.I.* Authority and Legitimacy in the Classical City State. Copenhagen, 1982.
- Finley M.I.* Politics in the Ancient World. Cambridge, 1983.
- Finley M.I.* The Ancient Economy. London, 1985a.
- Finley M.I.* Democracy Ancient and Modern. 2nd ed. London, 1985b.
- Finley M.I.* Max Weber and the Greek city-state // Ancient History: Evidence and Models. London, 1985c. P. 88–103.
- Fisher N.R.E.* Slavery in Classical Greece. London, 1993.
- Foxhall L.* Farming and fighting in ancient Greece // War and Society in the Greek World. London, 1993. P. 134–145.
- Garlan Y.* Slavery in Ancient Greece. Ithaca, 1988.
- Garnsey P.* Famine and Food Supply in the Graeco-Roman World: Responses to Risk and Crisis. Cambridge, 1988.
- Gellner E.* Muslim Society. Cambridge, 1981.
- Gellner E.* Nations and Nationalism. Oxford, 1983.
- Gellner E.* Plough, Sword and Book: The Structure of Human History. London, 1988(a).
- Gellner E.* State and Society in Soviet Thought. Oxford, 1988(b).
- Gellner E.* An Anthropological View of War and Violence // The Institution of War. Basingstoke, 1991. P. 62–79.
- Gomme A.W., Hopper R.W.* Population // The Oxford Classical Dictionary. 2nd ed. Oxford, 1970.

- Hall J.* Powers and liberties: the causes and the consequences of the rise of the West. Oxford, 1985.
- Hansen M.H.* Apagoge, Endeixis and Ephegesis against Kakourgoi, Atimoi and Pheugontes. Odense, 1976.
- Hansen M.H.* Demos, Ekklesia, and Dikasterion: A reply to Martin Ostwald and Josiah Ober // *Classica et Mediaevalia*. 1989. Vol. 40. P. 101–106.
- Hansen M.H.* The Athenian Democracy in the Age of Demosthenes. Oxford, 1991.
- Hindess B., Hirst P.* Pre-Capitalist Modes of Production London, 1985.
- Khazanov A.M.* Some Theoretical Problems of the Study of the Early State // Claessen H.J.M. and Skalnik P. (ed.). The Early State. The Hague, 1978. P. 77–92.
- Kuper A.* The invention of primitive society. London, 1988.
- Lintott A.* Violence, Civil Strife and Revolution in the Classical City: 750–330 BC. London; Canberra, 1982.
- MacDowell D.M.* The law in classical Athens . London, 1978.
- Manicas P.T.* War, Stasis, and Greek Political Thought. 1982.
- Mann M.* States, Ancient and Modern. States, War and Capitalism. Oxford, 1988.
- Miers S., Kopytoff I.* African «Slavery» as an Institution of Marginality // Slavery in Africa: Historical and Anthropological Perspectives. Madison, 1977.
- Millett P.* Warfare, economy and democracy in classical Athens // War and Society in the Greek World. London, 1993.
- Morgan L.H.* Ancient Society. Cambridge, Massachusetts, 1964.
- Morris I.* Burial and Ancient Society: The Rise of the Polis. Cambridge, 1987.
- Morris I.* The Early Polis as a City and State // City and Country in the Ancient World. London, 1991.
- Murray O.* Cities of Reason // The Greek City: from Homer to Alexander. Oxford, 1990.
- Osborne R.* Demos: The Discovery of Classical Attika Cambridge, 1985.
- Osborne R.* Classical landscape with Figures: The ancient Greek city and its countryside. London, 1987.
- Pritchett W.K.* The Greek state at war. Part I. Berkeley, 1971.
- Pritchett W.K.* The Greek state at war. Part V. Berkeley, 1991.
- Rihll T.* War, Slavery, and Settlement in Early Greece // War and Society in the Greek World. London, 1993. P. 77–105.

- Roussel D.* Tribu et cité: études sur les groupes sociaux dans les cités grecques aux époques archaïque et classique. Paris, 1976.
- Runciman W.G.* Doomed to Extinction: the Polis as an Evolutionary Dead End // The Greek City from Homer to Alexander. Oxford, 1990. P. 347–367.
- Sahlins M.D.* Tribesmen. Englewood Cliffs, 1968.
- Smith R.C.* The clans of Athens and the historiography of the archaic period // Classical Views. 1985. N.s. Vol. 4. P. 77–105.
- Snodgrass A.* Archaic Greece: the Age of Experiment. London, 1980.
- Starr C.* Individual and Community: The Rise of the Polis 800-500 B.C. New York, 1980.
- de Ste. Croix G.E.M.* The Class Struggle in the Ancient Greek World. London, 1981.
- Todd S.* Penalty // Nomos: Essays in Athenian Law, Politics and Society. Glossary-Index. Cambridge, 1990.
- Vidal Naquet P.* Were Greek slaves a class? // The Black Hunter. Baltimore; London, 1981. P. 159–167.
- Weber M.* Economy and Society: an outline of interpretive sociology. Berkeley, 1978. Vol. 1–2.
- Wheeler M.* Aristotle's analysis of the nature of political struggle // Articles on Aristotle. London, 1977. Vol. 2: Ethics and politics. P. 159–169.

**IV. ИЕРАРХИЧЕСКИЕ ↔ НЕИЕРАРХИЧЕСКИЕ
ФОРМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ: МОДЕЛИ ПЕРЕХОДА**

РИМ (VIII – II вв. до н. э.)

Д.В. Дождев

Возможность теоретического обобщения римского материала с точки зрения закономерностей политогенеза, несмотря на традиционность такого подхода, все еще остается проблематичной. Выявление закономерностей требует расширения поля исследования и установления четких стадиальных аналогий с традиционными обществами. Между тем, эта задача оказывается невыполнимой как потому, что римский материал обычно сам – прямо или неявно – используется как основа для сравнения, так и потому, что в эпоху железного века в Европе многие стадии политогенеза были уже пройдены и принятые сопоставления, ничуть не снижая субъективизм оценок, ведут к неоправданной архаизации римского общества. Так, все еще нередки попытки усмотреть в военных союзах архаической эпохи (от героев Троянской войны и женихов Пенелопы до спартанских сисситий и римских *содалитас*) мужские дома [Андреев 1964], а в единстве генеалогических и потестарных характеристик, отраженном в термине «отцы-сенаторы» [Дождев 1993: 34 слл] – социальную реальность «ранней стадии первичной формации» (?), а именно, возрастные классы [Иванчик, Кулланда 1991: 195–197]. Неудивительно, что при таком подходе как указание на возрастные же классы трактуется формальная фиксация призывающего возраста, а попытка реконструкции порядка преемства царской власти в раннем Риме может и вовсе привести к выявлению системы кросс-кузенных браков между правящими домами Лация [Коптев 1998: 27–52, 28, 30–36].

Негативный опыт включения античных обществ в универсальные (однолинейные) модели преодоления «родового строя» и «военной демократии» все еще препятствует непредвзяtemу анализу конкретно-исторических явлений. Даже действительный прогресс в изучении древнейшего римского общества по-прежнему достигается на базе родовой теории: положение о соседском характере первичных общин противопоставлялось постулируемому прежде родовому [Sereni 1955; Маяк 1983: 260; Штаерман 1984: 151]; реформа Сервия Туллия, хотя и трактуется не как введение территориально-административного деления населения, а как его усовершенствование, все равно противопоставляет-

ся предшествующей генеалогической системе учета членства в общине [De Martino 1979b: 162–182; Tondo 1981: 92; Capogrossi Colognesi 1990: 41–42]; наконец, само становление государственности в Риме все еще изучается на базе противопоставления родового патрицианского уклада более прогрессивному (военно-демократическому) плебейскому [De Martino 1979a].

Изучение древнейшего римского общества в отрыве от напрашивавшихся параллелей, с позиций полилинейного развития государственности, если не облегчает задачу, все же задает необходимую методологическую чистоту исследования и, как кажется, позволяет добиться некоторой ясности вопроса. Представленная ниже картина становления римского государства, предложенные правовые оценки и попытка выделить некую сквозную линию, определяющую его специфику как варианта политического развития строится на основе признания гражданской общины (*civitas*) феноменологическим и понятийным ядром проблемы.

Рим был основан в городскую эпоху. Все латинские города, объединенные в Латинскую лигу 30 городов [Dionys., 3,31,4; 34,1], были колониями Лавиния или Альбы (последняя, в свою очередь, впоследствии признавалась колонией Лавиния); колонией Альбы был и Рим [Liv., 1,52,2; Dionys., 1,45,2; 66,1; 67,2; 3,31,4]. Нежелательность или даже невозможность превышения числа 30 может объяснить как коллегиальность руководства отрядом колонистов при основании Рима (два брата возглавили одну экспедицию вместо того, чтобы провести две [ср.Dionys., 2,53,4]), так и первоначальную практику выведения дополнительных колонистов в уже существующие города вместо основания новых [что нередко сопровождалось переподчинением этих городов Риму [Dionys., 2,35,2 sq; 36,2; 50,5; 53,4].

Как и в последующие эпохи, при основании Рима использовалась схема, восходящая – в соответствии с мифологической установкой, ориентирующей любое творчество на воспроизведение акта творения [Элиаде 1995: 37 сл.] – к первичной практике основания города (метрополии). Фиксированное число колонистов в 3000 человек соответствует трем группам по 1000 воинов: само слово *miles* (воин) Варрон [de l.l., 5,89] выводит из *mille* (тысяча), что соответствует первичному разделению римских земель на три части [Varro, de l.l., 5,55] среди трех первоначальных триб [Tondo, 1981: 54]. Оно же несет в себе магию числа 30, указывая на сотню воинов в качестве основного подразделения. Сотня представлена и в древнейшей процедуре размежевания земли (центуриации) – выделении участка земли в 200 югеров [Varro, de re rust.,

1,10,2; Id., de l.l., 5,35; Plin., NH., 18,7]. Именно центурию земли получала каждая сотня воинов при основании Рима [Dionys., 2,7,4; Paul.Diac., 47 L]. Структурное соответствие между разделением воинов и размежеванием земли выявляет военно-административный характер триб и курий – первичных структурных единиц римского общества.

Концепция колониального происхождения Рима, позволяя согласовать все данные традиции о первоначальном устройстве римского общества, в то же время ставит перед исследователями задачу выработать новую стратегию стадиальной интерпретации раннего Рима и возможного изучения политогенеза на римском материале. В самом деле, если Рим – производное образование, все нововведения царей-основателей (как приписанные Ромулу, так и хронологически отдаленные в связи с легендарной функциональной специализацией первых царей), образующие протяженную во времени серию учредительных актов, должны восприниматься как нацеленные на воспроизведение в новом городе традиционных порядков. Возникновение же последних у латинян вообще должно быть отнесено к значительно более древним временам (до середины VIII в. до н.э.), тогда как собственно римские институты, отвечающие потребностям данной общинны, ее масштабам, географическим условиям, военным и международно-политическим задачам, следует рассматривать как возможную (но необязательную) реакцию на конкретно-исторический контекст первых веков римской истории.

Понятно, что первичные социальные структуры не могут оставаться нечувствительными как к возникновению городского центра, так и к дальнейшей урбанизации на берегах Тибра. Тем менее оснований постулировать принципиальные отличия в предшествующую эпоху, несмотря на то, что она нередко именуется докородской. Искомый качественный скачок выделить очень непросто. Незначительность и неизбежная сомнительность данных и несогласованность предложенных концептуальных обобщений обрекают интерпретации римского архаического материала на гипотетичность и конъюнктурность. К тому же использование моделей, наработанных на основе изучения традиционных обществ, продуктивно только с позиций унилинейного развития социально-политической организации, которые теперь и ставятся под сомнение. Выстраивание последовательного ряда прогрессирующих изменений в общинном устройстве, который мог бы послужить своеобразной шкалой для стадиальной интерпретации других обществ (как было принято использовать римский материал в науке XIX–XX вв.), само станет возможным только с установлением релевантного крите-

рия, который, прежде всего, позволил бы упорядочить римский материал.

Возникновение городского центра на берегу Тибра вторично по отношению к существовавшим там поселениям (*vici* – селам) и их объединениям – сельским общинам (*pagi* – пагам). Таким образом, включение этих общин в единый народ может быть представлено только как результат добровольного объединения (синойкизма). Однако такая реконструкция не снимает вопроса о том, стало ли основание города следствием процесса объединения или, напротив, основание города послужило катализатором объединительных тенденций. Во втором случае происхождение городского центра и его населения оказывается фактом внешним по отношению к местным жителям, а пресловутый синойкизм – результатом включения этих общин в новое целое. Такая интерпретация согласуется с традицией о разделении населения Рима на 30 курий царем – предводителем переселенцев, основавших город [Cic., de ger., 2,14; Dyonis., 2,7,4; Liv., 1,13,8]. Противоположная ей первая интерпретация опирается на данные о том, что в районе Рима первоначально существовали административные центры, число которых было меньше 30.

Так, древнейший ритуал Аргейских празднеств совершался в 27 религиозных центрах в разных районах Города [Varro, 1.1., 5,45]. На этом основании Ф. Де Франчиши постулировал вторичность искусственного (административного) характера курии [De Francisci 1959: 484 sgg]. Тогда традиция о распределении населения и земли по куриям оказывается результатом проекции более поздних организационных структур на древность, на момент самого возникновения Рима, в то время как в действительности местные центры лишь постепенно включались в новое объединение, которое само предстает продуктом центростремительных тенденций в этих первичных образованиях. При этом появляется возможность предполагать определенную самостоятельность «первичных» сельских общин, удержавшуюся в рамках новой общности, даже если признавать их соседскую, а не родовую природу.

Это обстоятельство, видимо, и явилось решающим для того, чтобы современная наука отдала предпочтение теории синойкизма: «естественное» происхождение курий, их автономный, самоуправляющийся характер, предполагаемая (ожидаемая) первичность их внутренней структуры по отношению к общинной же структуре сложного социума позволяли установить концептуальную преемственность с привычной родовой теорией, уже неприемлемой в ее классическом виде.

Естественному характеру курий противоречили факты переселения в Рим покоренных латинов и их распределения по куриям, сопро-

вождавшего и выражавшего предоставление им гражданства [Dionys., 2,46–47; 50; 55; 62,2; 70; 3,29,7; Liv., 1,28,7; 30,2]. Последнее препятствие пытались преодолеть указанием на то, что начиная с Марка Анция (четвертого царя) распределения переселенных по куриям не проводилось [Маяк 1993а: 66–68]. Предполагаемая новая практика трактуется как свидетельство закрытости родовых курий для чужаков и – вслед за Нибуром [Niebuhr 1811: 180–189] – как источник пополнения рядов плебса, противопоставляемого патрицианскому *populus* (народу-войску).

Аргументация *ex silentio* – и так методологически несостоятельная – в данном случае ставит больше проблем, чем решает. В самом деле, остается необъяснимым, почему прежде распределение переселенцев по куриям было возможным и то, как пресловутый родовой характер курии [Niebuhr 1811: 371 ff; Mommsen 1864: 146; 1888: 69] мог развиться впоследствии. Также противоречиво постулируемое вторичное и внешнее происхождение плебеев. Во всяком случае, после центуриатной реформы Сервия, когда – согласно сторонникам критикуемой концепции – образовался единый патрицианско-плебейский *populus* [Маяк 1989: 79–80], куриатные комиции также должны были представлять весь народ [Dionys., 6,89,1; 9,41,2; Macr., Sat., 1,15,10; Cic., pro Corn., 1, fr.23 apud Ascon.]. Признавая наличие плебеев в куриях после Сервия, указанная доктрина оказывается перед задачей объяснить, как они туда попали. Приходится допустить принципиальное изменение природы курий, ставших структурной единицей новой, гражданской, организации после реформы [Токмаков 1998: 78], вопреки тому, что она их не затрагивала, создавая параллельную куриатную центуриатную организацию. Такие рассуждения задним числом опровергают единственный – умозрительный – аргумент исключения плебеев из курий: зачем-де иначе было бы создавать центуриатную организацию? Так вся конструкция теряет последние признаки логичности.

В действительности, источники прямо указывают на включение переселенных при Анке Марции народов в число граждан [Liv., 1,33,2–3; 5; Cic., de rep., 2,18,33], а Дионисий говорит об их распределении по трибам [Dionys., 3,37,4].

Числовое несообразие с 27 Аргейскими святилищами может указывать не на постепенность складывания союза 30 курий, понимаемого как результат целенаправленного достижения заветного священного числа, а на консервацию предшествующей приходу колонистов социальной реальности, недалекой от синойкизма, воплотившуюся в военной структуре отряда из Альбы Лонги.

Если бы курия была естественным союзом, впоследствии превращенным в административный, то цель достичь заветного числа 30 в ходе складывания римской общины могла бы возникнуть только после такого изменения природы курий. Тогда число Аргейских центров указывало бы на завершающий этап на этом пути, когда социальные единицы уже приобрели качества административных подразделений гомогенного общества.

Не говоря о том, что отождествление аргейских святилищ с куриатными само исходит из гипотезы о постепенном увеличении числа курий, пока их не стало 30, сомнительно, чтобы такое «добирание» недостающих до 30 курий было практически возможно (как и изгнание «лишних», если бы случился перебор). Установление строгого численного ограничения исключало бы любой другой критерий включения местной общины или деревни в новое объединение, а значит, и существующие курии рассматривались бы как административные единицы, что уже ничем не отличается от описываемого традицией разделения всего народа на 30 частей. Наконец, гипотеза о постепенном достижении числа 30 предполагает длительную установку на объединение или завоевание с магическими целями, а значит и первичность – пусть идеологическую – «искусственного» числа по отношению к «естественной» социальной реальности. Таким образом, данная гипотеза, не решая проблемы происхождения числового ряда, основанного на цифре 30 [Palmer 1970: 15 ff], сама не избегает тех допущений, которые была призвана преодолеть.

В то же время данные традиции, подтверждаемые сведениями о религиозных празднествах – наиболее достоверными из доступных источников, – единны в том, что курий было 30 уже при Ромуле. Так, Дионисий [Dionys., 1,38] упоминает 30 (а не 27) аргейских святилищ; он же [Dionys., 2,21] (со ссылкой на Варрона) сообщает об учреждении Ромулом титулов 60 жрецов, совершивших обряды на благо всей общины по филам и фратриям, которых выбирали по 2 от курии. К царству второго царя, Нумы, относится появление особого вида священнодействий, отданного 30 курионам, которые приносили за фратрии общие жертвы [Dionys., 2,64]. Также и культ Весты первоначально отправлялся предводителями курий раздельно в каждой из 30 «фратрий» [Dionys., 2,65]. Ну́ма же в дополнение к очагам фратрий установил один общий на Форуме [Dionys., 2,66]. Возможно, отголосок этой традиции следует видеть и в определении курии у Феста, где также сообщается об установлении Ромулом своей святыни у каждой из 30 частей, на которые он разделил народ. В празднике Фордицидий, относившегося к циклу об

рядов культа плодородия [Маяк 1983: 104], часть коров приносилась в жертву в храме Юпитера, а 30 – в куриях [Ovid., Fast., 4,635–636; Varro, de l.l., 6,15], что подтверждает изначальность числа 30, во всяком случае, его первичность по отношению к предполагаемому синойкизму курий.

Куриатные священнодействия нередко сопровождались совместными трапезами [Dionys., 2,23; 65–66; Paul.Diac., 49 L], что подтверждает обнаруженную еще в античности параллель со спартанскими систитиями – эгалитарными объединениями (братствами) воинов-сопрапезников [Arist., Pol., 4,9–11; 6,7; Plut., Lyc., 10], которые в Италии, как считалось, ввел легендарный Итал (!). Даже с поправкой на принятую датировку героической эпохи («гомеровский период» – VIII–VII вв. до н.э.), с которой обычно синхронизируют эту традицию [Rathje 1990: 277 ff], аристократический институт предстает одновременным самому началу Рима.

Характер воинского союза подчеркивается и принятой этимологией слова (Walde 1938: s.v.) *curia* < **co-vir-ia* («со-мужество»), что исключает естественный характер этой единицы. Этимология отвечает архаическому социальному понятию *viritim* («по мужам»), которое относится как к порядку голосования в куриатных комициях ([Liv., 1,43,10] – в оппозиции к классам центуриатной организации, что выражает гомогенность и атомистичность объединения), так и порядок наделения воинов землей [Varro, de re rust., 1,10,2] – об акте уравнительного и всеобщего распределения земли при основании Города, в значении «поголовно»).

Идея уравнительного равенства в курии представлена структурой жреческой коллегии Салиев: 12 одинаково выглядящих пеших воинов, вооруженных маленькими круглыми щитами и еще не знакомых с гоплитским вооружением. Традиция приписывает ее учреждение Нуме. Первичность этой коллегии подтверждается также ее географией, отражающей самый ранний этап в развитии римской общины: Salii Collini и Salii Palatini связаны с территорией Septimontium (Квириналом и Палатином). Именно в гимне Салиев упоминаются многие *poplo*, вместо единого *populus Romanus* [Fest., 224 L]. Этот факт не столько указывает на этап, предшествующий синойкизму различных общин в этом районе (из которых и составился впоследствии единый *populus* – см. [Plin., HN., 3,68]), сколько – в географической перспективе – говорит о центральном расположении этих *poplo*, в оппозиции к сельским окружавшим Город автономным субобщинам. Военный и уравнительный характер сопряженной с территорией *colles* и *montes* жреческой коллегии позво-

ляет видеть в названных *poplois* отдельные курии – подразделения римского войска, составные части *populus*.

На такое понимание термина ориентирует и комментарий Сервия к Verg., Aen., X.202. «*Gens illi triplex, populi sub gente quaterni*» (племя там тройное, народов внутри каждого племени – по четыре), – говорит он о Мантуе. Та же идея разделения на гомогенные части выражена в рассуждении Лелия Феликса [Gell., 15,27,5] о видах комиций: «*Cum ex generibus hominum suffragium feratur, curiata comitia esse, cum ex censu et aetate centuriata, cum ex regionibus et locis, tributa...*» (Когда голосование проводится на основании разделений людей – это куриатные комиции, когда на основании ценза и возраста – центуриатные, когда на основании районов и территории – трибуутные). *Genus* (род) – это множество однотипных явлений, получаемое в результате *divisio* (разделения по определенному основанию), в оппозиции к *species* (вид) – уникальному явлению, выделяемому внутри рода путем *definitio* (определения). Например, у Павла Диакона в эпитоме из словаря Феста [Paul.Diac., 137 L]: «*Maiores flamines appellabantur patricii generis, minores plebei* (старшими фламинами назывались те, что из рода патрициев, младшими – из рода плебеев)». «Род» здесь означает группу, класс, так что при переводе это слово можно опустить вовсе [ср. Маяк 1993а: 71].

Противоречие между синойкизмом общин и районов Города с трактовкой курии как военного подразделения, части единого войска снимается признанием административных функций курии, которая в дальнейшем служила ячейкой для включения в римскую общину завоеванных латинян.

Относительная автономия курий, проявляющаяся в празднике Форнакалий, не противоречит ее военно-административному характеру. В то же время черты курии, сближающие ее с сисситиями как сакральным братством воинов, не позволяют считать эгалитарное и военное начало в ней вторичным, развившимся лишь после установления фиксированного числа этих якобы прежде естественных единиц, когда курион рассматривается как реликт самостоятельного мелкого царька из эпохи, предшествующей синойкизму. Последняя интерпретация ведет к смешению различных стадий исторического развития, проявившихся в военной и административной функциях курий, так что их становление предстает одновременным и взаимообусловленным. Социальная реальность эпохи основания Города, как и уровень развития военной техники (боевые колесницы), предполагает существование уже дифференцированного (ранжированного) общества.

Согласование автономии курий и единства римской общины (синойклизм) эпохи Септимонтия, как политического (*rex* и *comitia curiata*), так и религиозного, объяснение идентичности терминологии *populus* – *poploī*, отнесение военного эгалитаризма Салиев к догополитской эпохе, – все эти проблемы разрешаются только в признании курии военным подразделением осевшего в районе Семи холмов отряда колонистов – структуры, построенной на принципах равенства и всеобщности, на праве воина на добычу [Синайский 1907: 55] и соответствующей равенству подчиненных харизматической власти царя [Coli 1973: 321 sqq].

Наряду с эгалитарным *populus* (народом-войском), в первичной римской общине традиция отмечает наличие иерархических автономных образований – *gentes* (родов), засвидетельствованных уже в историческое время [Dionys., 6,47,1; 7,19,2; 10,43]. Они отличаются от военно-административных единиц не столько масштабом, сколько принципами организации коллектива. *Gens* – это довольно многочисленная (до нескольких тысяч воинов) группа лиц, объединенная общим именем, общей территорией и общим кладбищем, общими святынями. Иерархия, отличающая «род» от «народа» складывается из собственно *gentiles* («сородичей»), ведущих происхождение от легендарного предка; *sodales* («спутников»), знатных и рядовых воинов, связанных с вождем группы (*princeps gentis*, «военный вождь») клятвой верности – *coniuratio* [Немировский 1983: 125], и клиентов, безродных людей, отдавшихся под покровительство (*venire in fidem*) одного из глав патриархальных семейств, образующих *gens*.

Ряд характерных черт уподобляет клиента близкому родственнику патрона (*patronus* – «подобный *pater*», *pater (familias)* – «глава семьи»). Клиент носит родовое имя патрона (*nomen gentilicium*), участвует в гентильных священнодействиях [Dionys., 9,19,1]. Известны свидетельства о том, что клиент женится с разрешения патрона [Plut., Cat.Maj., 24,2-3; Liv., 39,19,5], подобно сыну-подвластному. В подробном описании клиенты, учрежденной Ромулом, Дионисий трижды уподобляет клиентов близким родственникам. Патрон обязан делать для клиента все, что отец делает для сына (глава семейства – для подвластного) в отношении денежных операций и контрактов [Dionys., 2,10,1]; отношения клиенты передаются от поколения к поколению, ничем не отличаясь от наследственных отношений родственников [Dionys., 2,10,4]; клиент обязан помогать патрому в отправлении общественных должностей, как это делают родственники [Dionys., 2,10,2]. В то же время, в отличие от подвластного свободного (не раба) члена семьи

(*familia*) – «лица чужого права», *persona alieni iuris* (*alienae potestatis subiecta* – «подчиненного чужой власти») [подробнее см.: Смирин 1985: 10 сл.; Дождев 1993а: 58 сл.], – клиент – лицо самостоятельное, *persona sui iuris* («самовластное»). Это проявляется и в фиксации определенных случаев платежей, которыми клиент был обязан патрону (выкуп из пленя, выдача замуж дочери и др. [Dionys., 2,10,2; Plut., Rom., 13,2]), и в договорном характере первоначальной связи с патроном.

Несмотря на неравенство сторон как основную предпосылку возникновения клиентской связи [Mommsen 1864: 356], клиент при ее установлении действует как независимое и активное лицо. Эта самостоятельность черпается именно в публичном статусе клиента как гражданина: будучи мужчиной-воином, он, во всяком случае, воспринимался общиной как равноправный участник комиций, войска, земельных раздач, как обладатель права на суд царя и проч. Поступление в клиентелу выражает отказ от самостоятельности в частной сфере. Так, участвуя в судебном процессе, клиент всегда может рассчитывать на заступничество патрона в качестве *vindex*, а также – на процессуальное представительство, когда дело клиента ведется его патроном от своего имени. Сходным образом, получение *potest gentilicium* и уподобление клиентов детям не просто выражает их членство в *gens*, как полагал А. Магдалэн [Magdelain 1971: 103 ss], – но означает, что нормальным следствием установления клиентских отношений была утрата собственной социально значимой личности, ее уподобление, поглощение авторитетом патрона.

Режим древнейшей клиентелы демонстрирует наличие в общине иных, отличных от царя, авторитетов, влияние которых носило частный характер (гентильные святыни – это *sacra privata*, «частные святыни», в отличие от куриальных), но которое имело всеобщее распространение и являлось одной из характеристик первичной обороны. Учреждение клиентелы традиция относит к самым первым институциональным актам Ромула [Dionys., 2,9,2; 10; Cic., de rep., 2,9,16; Plut., Rom., 13], фиксируя, таким образом, ее докородское происхождение. Конкурируя с уравнительным и публичным статусом воина, социальная привлекательность позиции клиента отражает помимо фактической внутренней дифференциации обороны также наличие иного, отличного от уравнительного, принципа ее строения.

Этот принцип институционализирован в царском совете «отцов» (*patres*). Исследованная Г. Манкузо [Mancuso 1972: 18–26] семантика этого термина, выражающая (в соответствии с древними представлениями о магии слова) и сущность данного института, указывает на

авторитет, которым пользовались эти лица еще до включения в состав царского совета, будучи отмеченными особой харизмой. Развивая этот подход [Дождев 1993а: 39, 49], можно показать, что авторитарная семантика термина (*pater* – «господин») сопряжена с генеалогической (*patres* – «предки»), и это относит учреждение совета (и одновременное ему основание Города) к тому моменту в развитии представления о власти в обществе, когда авторитет придается лицам, старшим в генеалогическом ряду (ср. сходное сопряжение двух значений в термине *princeps* – «праородитель» и «вождь»), а харизматическим лидерам приписывается генеалогическое первенство в роде или ветви рода («родоначальник»).

Patres (совет), наряду с царем и комициями – фундаментальная структура в системе публичной власти. В политическом плане сосуществование *patres* и *populus* проявляется в двух различных актах утверждения царя: *auctoritas patrum* со стороны «отцов» и *lex curiata de imperio* со стороны народа, собранного на куриатные комиции. Две социальные группы, отличные в военном отношении, институционализируются в два органа политической власти, в равной мере оформляющих публичную власть царя – единственное воплощение единства общины.

Итак, традиция о начале Рима зафиксировала бинарное деление общины на патрициев и плебеев, всадников и пеших, патронов и клиентов, сенаторов и народ. Историчность данных о структурном различении всадников и пеших в составе первоначального римского войска подтверждает тенденция именно с всадниками связывать разделение на три трибы и только им придавать традиционные имена Тициев, Рамнов и Луцеров [Liv., 1,13, в отличие от: Cic., de re pub., 2,8,14]. Такие варианты традиционного описания разделения населения (войска) царем-основателем не могут быть продуктом вторичного ретроспективного конструирования и, несомненно, отражают древнейшую реальность. Во всяком случае, здесь всадникам придается значение особой формально определенной группы в составе первоначальной общины и войска, в однопорядковой группе пеших воинов. Различие патронов и клиентов, будучи универсальным для традиционных обществ, само по себе не позволяет в силу этой универсальности достаточно точно квалифицировать уровень социальной дифференциации раннеримского общества. Однако неопределенное само по себе, с учетом других оппозиций это разделение приобретает достаточную эвристичность. В частности, различие конницы и пехоты указывает на то, что стадия развития, соответствующая колесничному бою, когда вождь мечет с колесницы копья, подаваемые практически невооруженными оруженосцами (как в «Илиа-

де»), была уже преодолена. Таким образом, дихотомия «патрон – клиент» не исчерпывала достигнутого уровня социальной дифференциации, будучи перекрыта различием новых функционально и социально определенных и особым образом организованных групп военного и административного характера, по отношению к которым данная оппозиция предстает аморфной и потому первичной. В эту эпоху она уже не имела публичного значения: она не совпадает со всеобщим военным и административным делением населения, оставаясь хотя и распространенным и доступным для всех, но частным способом оформления социальных отношений.

Строгое распределение политического влияния знати и народа, его институциональное оформление и закрепление в отдельных органах власти – сенате и комициях – означает не столько обособление двух сословий (знать участвовала в комициях), сколько всеобщность представительского принципа, который равным образом прилагался и к народу, и к знати [Tondo 1981: 84]. Общество оказывается полностью оформленным, организованным в качестве целого, и политическое участие выступает не столько правом, сколько обязанностью, способом существования индивида в гражданском коллективе, который принимает тоталитарный характер организации, поглощающей и отрицающей всякую индивидуальную волю, отличную от той, что предполагается предписанной формой. Частная инициатива вытесняется за рамки политической организации, охватывающей не только уравнительным образом организованный народ, но и генеалогически выстроенную иерархию знати.

Социальная природа аристократии, структура *gentes* и роль *patres* в гражданском коллективе проявляются и в отличных от гражданских порядках землепользования, практикуемых этой группой. Не случайно сопряжение термина *patres* с принципами гентильного землевладения, представленное в определении Феста [Paul., ex Fest., p.288 L]: «*Patres senatores ideo appellati sunt, quia agrorum partes adtribuerant tenuioribus ac si liberis propriis* (Отцы сенаторы названы так потому, что они предоставляют части земли слабейшим, как будто собственным детям)». Отождествление «слабейших» («беднейших») с клиентами, общепринятое в науке [Mommsen 1889: 83 Anm.2; De Martino 1972: 29], выражено через их уподобление детям. Однако в данном тексте уподобление детям связывается не с нормативным положением клиентов (слабейшим – как детям), а с их ролью именно в отношении наделения землей: земельные участки предоставляются им «как собственным детям». Иными словами, получение земли обусловлено подчиненным по-

ложением реципиента, которое конструируется как включение в сферу авторитарной власти благодетеля (генеалогический ряд или его семейную группу), как утрата самостоятельной личности клиента – ситуация прямо противоположная основанию для военных асигнаций, в основе которых лежит признание публичной властью самоценности каждого воина, когда участки распределяются между воинами подушно (*viritim*).

Указание Феста, единственная твердая точка опоры для реконструкции патрицианского землевладения, давно интерпретируется как свидетельство обособленности земельных владений знати: так называемый *ager gentilicus* («родовая земля») – термин в источниках не встречается, введен Т. Моммзеном [Моммзен 1936: 252]. Такая интерпретация предполагает, что эти земли были подчинены власти патрицианских *gentes* и изъяты из-под общего контроля общины (царя). Тогда оказывается неприемлемой распространенная в рамках концепции первоначально «родового» характера римской общины трактовка *ager gentilicus*, которая отождествляет его с общественными землями (*ager publicus*), захваченными патрицианскими *gentes* и их клиентами, что, якобы, было выражением гражданского полноправия патрициата [Маяк 1993а: 127 сл.; 1993б].

Концепция основана на многочисленных данных о том, что в первые века республики *ager publicus* был захвачен патрициями, тогда как плебейские трибуны, объявляя такие захваты (*occupationes, possessiones*) нечестивыми, противоправными (*iniuria*), требовали предоставления земли неимущим плебеям. Аграрная агитация постоянно сопутствовала политической (плебеи боролись за доступ к высшим магистратурам), так что в 367 г. до н.э. плебейские трибуны наконец добиваются принятия пакета законов *leges Liciniae Sextiae*. Политическая составляющая реформы заключалась в том, что отныне один из консулов обязательно должен был быть плебеем. Аграрная же составляющая (особо выделяемый *lex Licinia de modo agrorum*) – заключалась во введении земельного максимума в 500 югеров, что, видимо, остановило захват земель и позволило наделить неимущих на вновь завоеванных территориях.

Собственно, *ager publicus* считался общественным потому, что эти земли были завоеваны римским народом (*populus*) и принадлежали всей общине, пока они не выделялись в частную собственность гражданам (по праву квиритов). В царскую эпоху такая земля принадлежала царю, так что возможность ее самовольного захвата проблематична. Существование же огромных земельных владений знати могло бы стать выражением гражданских привилегий патрициата именно в царскую

эпоху (до реформы Сервия), когда, согласно данной концепции, только родовая знать (с клиентами) составляла римский народ. Отнести «включение» плебса в гражданство к эпохе республики нельзя (как ни заманчиво объяснить исключительность пассивного избирательного права патрициата тем, что гражданство было его привилегией): это противоречило бы данным о сепсессии плебса (попытке отделиться от Рима) в самом начале новой эпохи – в 494 г. до н.э. Поэтому, чтобы сохранить стройность теории, приходится увязывать исключительность «доступа» патрициата к *ager publicus* с его политическими привилегиями, возникшими с установлением республики: политически господствующая группа реализует свои преимущества в экономической сфере [Burdese 1952: 54]. Раз эта группа гентильная (читай: родовая), в аграрной борьбе первых веков республики, как и в политической, можно усмотреть борьбу классов-сословий, из которых одно – пережиток родового строя, а другое – прогрессивное, демократическое, а значит, речь идет об исторической борьбе государственного начала с родоплеменным. Вопреки имплицированной методологической задаче, этот взгляд не позволяет четко различать стадии становления государства, поскольку наряду с патрицианско-плебейской *civitas*, т.е. собственно государственной, приходится выделять патрицианскую, родовую («гентильную»), т.е. догосударственную, *civitas*, что уже отдает политологической глухотой. Не случайно именно политические успехи плебса Е.М. Штаерман трактовала как важнейший фактор, воспрепятствовавший (а отнюдь не способствовавший) формированию государства в Риме [Штаерман 1981: 162; 1989: 84, 86]. Помимо этого критикуемая концепция игнорирует ряд существенных фактов, анализ которых ведет к иной исторической реконструкции.

Проблема соотношения клиентского землевладения на патрицианских землях с публичным наделением землей (*adsignatio*) нередко обсуждается на основе традиции о переселении в Рим знатного сабинянина Атты Клавза в первый год республики. Клавза сопровождают родственники, *sodales*, клиенты [Plut., Popl., 21,5], – всего до 5 тыс. человек. Всех их приняли в число граждан, дали землю за Анионом ([Liv., 2,16,5]: *his civitas data agerque trans Anienem*), место для кладбища [Suet., Tib., 1,1] и для жилищ [Serv., in Aen., 7,706; Plut., Popl., 21,9] в Городе; Клавз вошел в сенат и таким образом стал родоначальником знаменитого патрицианского рода Клавдиев (*princeps gentis* [Suet., Tib., 1,1]). О порядке наделения землей источники сообщают разные сведения. Дионисий говорит [Dionys., 5,40,5], что землю получил сам Атта Клавз так, чтобы он мог распределить ее между своими людьми; Плу-

тарх [Plut., Popl., 21,9] – что помимо жилищ в Городе спутникам Клавза дали по 2 югера земли, а самому Клавзу – 25; Светоний же различает землю за Анионом для клиентов и землю в городе у Капитолия под кладбище для сородичей, подчеркивая, что она была выделена на публичном основании (*publice accepit* [Suet., Tib., 1,1]).

Итак, с одной стороны – указания на центуриацию (по 2 югера), которая проводилась публичными властями, с другой – выделение общего массива земли в произвольное распоряжение главы переселенцев. Соглашаясь с тем, что аутентичная реконструкция событий невозможна, нельзя не отметить четкого противопоставления двух принципиально отличных порядков наделения землей. Преобладание публичного момента естественно объяснить тем, что возникновение *gens Claudia* в рамках римской общины, как и *tribus Claudia* (сельской области – трибы, носившей имя Клавдиеv), – вторично: эта структура упоминается тем социальным организмам, которые уже сложились в римской общине к началу республики. Сообщение Дионисия о том, что Клавз сам наделяет клиентов землей, полученной от римской общины, рисующее процедуру, которая находится в явном противоречии с обычной практикой центуриации, не могло появиться без оснований и может рассматриваться как достоверное свидетельство принципиальной самостоятельности патрициев в распоряжении землей на удаленных от центра территориях.

Обращаясь к анализу аграрной борьбы V–IV вв. до н.э., следует прежде всего обратить внимание на то, что плебеи требуют не доступа к *ager publicus*, а проведения на нем публичного размежевания (центуриации) и ассигнации его в частную собственность [Capogrossi Colognesi 1981: 17 sgg]. Публично признанный квиритский (*ex iure Quiritium*) режим гражданской собственности (собственности по праву гражданина, квирита), оформленный в соответствии с правом гражданской общины (*ius civile* – «гражданское право»), противопоставляется самовольному присутствию (*possessio* – «владению») знати на землях римского народа, которое квалифицируется как неправое (*iniuria*).

После принятия закона Лициния, несмотря на его нарушения, агитация против оккупации общественной земли прекратилась. Среди нарушителей ограничения максимального владения – сам автор законо-проекта плебей Лициний [Liv., 8,6,9; Dionys., 14,12(22); Plut., Cam., 34,5; Val. Max., 8,6,3; Vell. Pat., 2,6,3]. Создается впечатление, что предшествующего устранения плебеев от *ager publicus* не было, а в 367 г. – на основе публичного закона (*lex publica* – основная форма *ius civile*) – *possessiones* знати лишь изменили статус, перестав считаться «*iniuria*».

Наибольшую последовательность в интерпретации последнего определения проявил Л. Капогросси-Колоньези [Capogrossi Colognesi 1981: 21 sgg], показав, что речь идет о чуждости режима патрицианского землепользования (до *lex Licinia*) системе *ius civile*. В предложенной им реконструкции *lex Licinia* предстает не простым ограничителем масштаба оккупации, но ее качественным преобразованием, подведением под категории квиритского права. В оппозиции к новому режиму частного *possessio* прежнее землепользование на *ager publicus* Капогросси объявляет формой существования пресловутого *ager gentilicius*, реликта доцивильных социальных отношений. Плебейское землевладение на *ager publicus* оказывается явлением однопорядковым сведениям о плебейских *gentes*, исключением из правила, подражанием патрицианской знати. *Plebs* как *ordo* («сословие») предстает носителем принципов *ius civile*, в рамках которого гентильные порядки теряют значение и выходят из применения ([Gai., Inst., 3,17]: *totum gentilicium ius in desuetudinem abiisse*).

Продолжая эту линию (не доведенную Капогросси до логического завершения [Дождев 1993b: 226]), *plebs* следует отождествить с *populus Romanus Quiritum*, а патрициат объявить чуждым этой социальной реальности анахронизмом. Во всяком случае, в рамках этой концепции, отождествляющей «*iniuria*» с «*gentilicia*» именно по основанию чуждости принципам квиритской частной собственности (и владения), *plebs*, характеризуемый в отношении к (через) *gens* негативно, представляет коллективом квиритов.

Такой взгляд, совершенно правомерный, отрицает теории, допускающие внешний Риму источник появления плебса, что – несмотря на признание вторичности оформления плебса в *ordo*, утвердившееся в романistique после работ А. Момильяно и Ж.-К. Ришара [Richard 1978], – ставит вопрос о соотношении патрициата с *populus* в царскую эпоху, делая неприемлемым идущее от Б.Г. Нибура и Т. Моммзена отождествление древнейшего *populus* с патрициатом [Tondo 1981: 62 sgg, 81 sgg].

В раннеримской социальной реальности следует различать *populus* – войско, находившееся во власти царя, и *gentes* – аристократические автономные союзы, находившиеся в политической оппозиции к царской власти. Если *populus* – это группа, основанная на началах всеобщей уравнительной военной организации, то *gentes* – это иерархически структурированный союз, в котором критерием иерархии выступает характер личных отношений с лидером: от родства до подчинения независимых лиц на основе отождествления интересов и социально значимой личности (*fides*) участников такого союза. *Populus* по происхожде-

нию восходит к отряду колонистов из Альба Лонги, *gentes* – образования, вторичные по отношению к *populus*, но на основе социальных единиц, предшествовавших основанию Города. В территориально-географическом плане *populus* соотносится с *Urbs*, а *gentes* – с пагами, которые справедливо считают преобразованными общинами докородской эпохи [Маяк 1983: 210–211].

Географический аспект указанной дихотомии наиболее определенно фиксируется по источникам. Это прежде всего отмеченный Т. Моммзеном [Моммзен 1935: 85; Mommsen 1864: 77] факт совпадения названий 10 сельских административных районов – триб (*tribus rusticus*) – с именами крупнейших патрицианских *gentes*. Как показал Альфельди [Alföldi 1963: 307 ff], *tribus rusticus* располагались вокруг древнейшего *ager Romanus*, определенного на основании изучения географии древнейших римских культов, и представляли собой результат экспансии патрициата на эти земли. Сам Альфельди относил эти события к V в. до н. э., тогда как древность изученных им культов говорит в пользу более высокой хронологии предполагаемой экспансии. Фактически проблема датировки сводится к соотношению между походом Фабиев под Кремеру и возникновением в этом районе трибы *Fabia*. В нашей реконструкции поход Фабиев – реликт древней практики, а не ее апогей. Другие 6 триб, ближайшие к стенам города, носили территориальные названия, как и позднейшие трибы, внешние по отношению к нашим 10. Трибы внутреннего пояса использовались под земельные участки единого и безликого *populus*, а трибы внешнего пояса были заняты патрицианскими *gentes*.

Центуризация производится на землях, завоеванных всем *populus* под руководством царя. Экспансия *populus Romanus*, связанная с возникновением следующих 14 сельских триб после трибы *Claudia*, основанной в 495 г. до н. э., которые уже не носят патрицианских имен, позволяет идентифицировать принципы освоения древнейших территорий, объединенных в 6 центральных триб, названных по местности, а не по именам *gentes*, признав, что здесь производилось подушное наделение землей на основе всеобщности и уравнительности.

Традиция о переселении в Рим Атты Клавза свидетельствует о компактном расположении земельных участков *gentiles* и их клиентов как источнике наименования впоследствии всего района по имени *gens*. Этот же рассказ демонстрирует процесс сложения этого социального организма из спутников вождя, компактно осевших на новой территории и принявших имя своего предводителя. Сходная поведенческая парадигма – военная экспедиция на границу с последующим оседанием на

землю – усматривается в походе *gens Fabia* [подробнее см.: Дождев 1993а: 31 сл.].

В начале XX в. В.И. Синайский выдвинул теорию основания городов в древности по инициативе частных лиц [Синайский 1913]. Концепция основывалась в основном на греческом материале и была хорошо документирована. В работе 1923 г. [Sinaiskij 1923] он приложил эту схему к римской истории для реконструкции процесса постепенного возникновения территориальных курий в районе Семи холмов (ученый различал курию как военное подразделение римского войска и курию как территориальную единицу). Побудительным мотивом для основания новых курий, по мысли В.И. Синайского, была необходимость возведения крепостей на окраинах римских владений с целью защиты границ: инициативная группа селилась вокруг такого укрепления, со временем становясь территориально-административным подразделением римской общины.

Тот же процесс, но лучше согласованный с пространственно-географическими данными (зачем охранять с помощью пограничных крепостей население Септимонтия, и без того располагавшее многочисленными крепостями на *colles* и *montes*?) и социально-политическими реалиями раннеримской истории (чем новые курии отличались от старых и где их следы в социально-политических институтах раннего Рима?), следует видеть в основе возникновения патрицианских *gentes* в начале царской эпохи. Для охраны римских границ, требовавшей круглогодичного присутствия вооруженных отрядов, по инициативе отдельных авторитетных лиц группы воинов отправлялись в сопредельные с *ager Romanus* земли, где строили крепости и возделывали вокруг них поля, подобно Фабиям с 4 тыс. клиентов [Fest., p.450 L; Gell., 17,21,13; Serv., in Aen., 6,845]. Эти земли по праву войны принадлежали самому отряду, в отличие от земель, завоеванных войском под руководством царя (*populus*). Со временем жители такого поселения, легко отождествляемого с пагом, принимали имя своего вождя (откуда и гентильные имена сельских триб, расположенных по внешнему поясу первоначальных римских владений), поскольку выражаемая таким образом принадлежность к участникам экспедиции или их потомкам становилась основанием для привилегий, прежде всего политических; предводитель такого отряда обычно оказывался в числе *patres* – членов царского совета.

Признание эгалитарной курии-сиссии и иерархического *gens* стадиально различными социальными структурами позволяет интерпретировать различие режимов землевладения между патрициями (знатью) и плебеями – гоплитским войском (*populus*) ранней Республики как

проекцию двух исторических вариантов социально-экономического развития на сферу земельных отношений одной эпохи, а конфликт со словий – в сферу отношений политических, доставляя вместе с тем наиболее убедительное объяснение формулировки плебеями (или, скорее, идеологами победившего знать гражданского коллектива) притязаний на патрицианские земли как на нечестиво захваченный *ager publicus*.

В методическом плане важно признание того, что в эту эпоху (в железный век) достижение эгалитарности было возможно лишь в рамках крупномасштабного объединения с сильным лидерством, как впрочем и предполагаемая фиксация числа естественных единиц, а значит – *разнопорядковости* и неизбежности конфликта между *populus* и *gentes* уже на стадии складывания римской общинны. С этой точки зрения преодолеваемая государственностью авторитарность, свойственная именно знати и характеризующая эту группу как носителя воли, отличной от воли общины в целом, представляет собой обособленную власть, противостоящую публичной (всеобщей) власти, выражющей солидарное единство коллектива *civitas*. Оппозиционное положение знати в структуре гражданской общинны негативно выражает всеобщее подчинение власти царя в первые века римской политической истории (*regnum*) и всеобщую публичную правосубъектность в эпоху народного суверенитета (*res publica*). Глубокая интегрированность этого принципа в политическую структуру общинны (знать появляется и институционализируется в форме совета «отцов» в рамках и в условиях *regnum*) исключает трактовку феномена в понятиях сепаратизма, а жизнеспособность aristokратических образований внутри *civitas* ведет к признанию того, что знать представляет собой одну из функций гражданской организации, является продуктом политического оформления масштабной этнической общности.

Царская власть как объединяющая политическая форма обладает не только примиряющей, но и интегративной функцией: уравнивая знать с остальным народом и находя для каждой группы особый представительный орган – совет и комиции, она поднимает роль народа, представленную в комициях, до уровня совета, уравнивая публично-правовое значение народа и знати. Оба органа выступают политическими формами, опосредующими царский произвол и тем самым обеспечивающими правовой, а значит – государственный характер царской власти. Рассмотрим эти формы подробнее.

Римский царь – неограниченный правитель, скованный только самой природой своей власти, которая не имеет институциональных внешних ограничений. При царе существует совет (*consilium*), состав-

ленный из старейшин (*patres*) – будущий сенат. В совете на общинном (всеобщем) уровне институционализировано первоначально харизматическое, затем – традиционное представление о первенствующем положении старших – лиц, наиболее близких к предкам, прародителям представленных в общине семейств. Функция совета – консультационная [Cic., de rep., 2,14; Dionys., 2,56,3; Plut., Rom., 27,1; Dio Cass., fr.5,11]. Совет не конкурирует с царем, но сама необходимость в его учреждении и функционировании (ср. тиранию Тарквина, который, согласно традиции, игнорировал сенат) говорит о лимитирующей, но также и легитимирующей роли совета. Легитимация относится к отдельным решениям, а не к царской власти как таковой, и заключается, прежде всего, в определении процедуры, формально-технической стороны предполагаемого действия.

Подобная же роль – хотя и в более абстрактном и идеологически возвышенном плане – принадлежала разнообразным жреческим коллегиям, осуществлявшим, прежде всего, гадания – обращения к божествам в связи с намечавшимся действием. Запрос касался в основном своевременности осуществления задуманного: подходит ли данный день для такого действия (а вовсе не угодно ли божеству решение царя). Однако практическое осуществление задуманного могло быть надолго заторможено, если не вовсе отложено. Такие ограничения носили формальный характер и были связаны не с природными границами царской власти или характером задач, которые она решала, но представляли собой опосредование царской воли волей всего народа и его учреждений, что ставило царя в рамки общепризнанного и общезначимого порядка, подчиняя его требованиям всеобщего. Царская власть, пропущенная через сито таких опосредований (выполняющих функцию современной бюрократии) теряет характер прямого и произвольного принуждения общины к повиновению воле одного человека, приобретая черты правового – оформленного на основе всеобщих принципов, общезначимых и общепризнанных норм – института. Эта власть воплощает в себе волю всей общины, получившую абстрактность (независимость от конкретной цели) и постоянство (независимость от конкретного лица или группы) нормативного требования благодаря мифологическому, ритуальному и процедурному оформлению со стороны различных специализированных органов, постоянно действующих на основе устойчивых и всеми разделяемых представлений.

Царь окружен телохранителями (*celeres*) – конной гвардией, набранной из трех триб. С точки зрения этого института, царь является функцией общины, производным (мета)образованием, завершающим

иерархию общинных объединений (которая с точки зрения, отправляющейся от царя, предстает системой подразделений). Примечательно, что именно с тремя отрядами целеров (по 100 человек каждый) традиция связывает имена трех триб – Тициев, Рамнов и Луцеров.

Царь назначает также двоих квесторов, помощников, которые обладали судебными и полицейскими функциями (так называемые *quaestores parricidii* – квесторы по тяжким уголовным преступлениям; *quaestor* – от *quaestio*, «дознание»).

Показательно, что квесторов утверждали комиции, так что царь прибегал к обнародованию своих решений не только в отношении правил поведения, объявления войны и заключения мира [Dionys., 2,14,3; 4,20,2; 6,65,3; Liv., 1,32,13], но и в вопросах формирования своей свиты, люди из которой, таким образом, приобретали значение должностных лиц общинного масштаба.

Тацит [Анналы, 11, 22] сообщает, что квесторов, появившихся еще при царской власти, в эпоху Республики назначали консулы, а затем – на 63 году после изгнания царей – их стал избирать народ (*populus*, то есть центуриатные комиции).

Очевидно, первоначально квесторов назначали сами цари, подтверждая свой выбор на комициях. Тацит говорит о куриатном законе о власти, который был возобновлен Юнием Брутом в отношении консулов, что выражает уподобление режима консулатата царской власти, а в отношении квесторов, очевидно, подтверждает наличие древней практики представления их царями комициям.

Такая интерпретация подтверждается сведениями Плутарха [Rom., 20,3], а также текстом Ульпиана в «Дигестах» (со ссылкой на Юния Гракхана), посвященном истории этой магистратуры: *ipsi <scil. Romulus et Numa Pompilius> non sua voce, sed populi suffragio crearent* («они – Ромул и Нума Помпилий – возводили их на должность не своим повелением, но голосованием народа»).

Опосредование царских решений именем римского народа здраво обозначает функциональные ограничения царской власти, которая имела общину в качестве своего объекта и адресата, была производна от общины, инструментальна по отношению к ней. В международных отношениях Рим выступает как римский народ, а не в лице царя и не как царство (*regnum*). Древнейшая формула объявления войны, взятая Ливием [Liv., 1,32,13] из архивов жрецов-фециалов и отражающая ситуацию царской эпохи, звучала так: «...*quod populus Romanus Quiritium bellum cum Priscis Latinis iussit esse senatusque populi Romani Quiritium censuit consensit concivit...* (поскольку римский народ квиритов поре-

шил быть войне с древними латинами, и сенат римского народа квиризов постановил, согласился, признал...».

Более того, комиции обладают определенной властью, независимой от царской. Так, со ссылкой на книги pontификов и авгуротов Цицерон [Cic., de rep., 2,54] утверждает, что правило апеллировать к народному собранию (*provocatio ad populum*) для опровержения смертного приговора было известно уже в царскую эпоху. Сомнительная в отношении возможности оспорить решение самого царя информация Цицерона находит подтверждение (и конкретизацию) в рассказе Ливия [Liv., 1,26,5 sq, cp. Dionys., 3,22,6] об убийстве Горации ее братом, победителем в схватке Горациев и Куриациев. Осужденный за убийство особыми судьями, учрежденными царем Туллом Гостилием (*duoviri perduellionis*), Гораций обращается к народу и получает прощение. Таким образом, царская власть оказывается зависимой от народа в осуществлении управления общиной, а создавая специализированные органы власти по мере усложнения системы, она косвенным образом придавала и новые функции народному собранию, усиливая роль народа в управлении общиной и институционализируя комиции как универсальный орган контроля и легитимации политических решений.

Civitas – гражданская община: полноценное участие в ее политической жизни определяется тем, что квалификация гражданина (политического субъекта) признается за каждым мужчиной-воином (*vir*). Гражданское общество и государство совпадают. Гражданский коллектив сам по себе обладает политической властью: народное собрание представляет весь народ-войско (*populus*), и именно поэтому его решения распространяются на всех, имеют всеобщее действие, соответствующее, как по названию, так и по сути, современному понятию закона (*lex publica*).

Высшая законодательная власть комиций сопровождается и высшей судебной властью, которая проявляется в самом важном вопросе: римский гражданин не может быть осужден на смерть иначе, как по воле народа.

В то же время политическая правосубъектность не означает участия в управлении: деление на управляемых и управляющих не совпадает с политическим участием. Принципиальное отличие республики (*res publica*) от царского строя (*regnum*) выражается именно в избираемости, срочности и подотчетности магистратур. Формально царя возводят на царство Юпитер, и власть царя производна от власти божества. Народ здесь всегда в подчиненном (управляемом) положении, что соответствует отсутствию правосубъектности у отдельных лиц. Выборность

должностных лиц, полномочия которых в эпоху республики производны от суверенитета народа, является не только одним из ярких средств реализации прямой демократии, но и формой преодоления самоуправления, невозможного на данном уровне разделения политических функций, определяемого, в конечном счете, достигнутым масштабом общности.

Совпадение квалификаций «гражданин» и «собственник», политического общества и гражданского, публичного и частного лишает правосубъектности народ (общину в целом), за исключением международного общения. Неизвестность и невозможность политической – отличной от права собственности – власти над территорией не позволяет взимать поимущественный налог, лишает общину верховного права на землю, за исключением специально закрепленного за ней массива земель (*ager publicus*). Анализ режима землепользования на *ager publicus* – одного из признанных атрибутов гражданской общины – позволяет рассматривать как функциональную для этого типа государственности и особую социальную и политическую роль знати в ее различии с гражданским коллективом.

Собственником народ не являлся, а значит, и политическим властителем тоже: «вещи» (*res*), принадлежавшие общине (включая землю), получали особый режим как «вещи», изъятые из оборота (*res extra commercium*). Это были либо вещи, не поддающиеся индивидуализации, либо вещи публичного значения [Дождев 1996: 304 сл.]. Вторые приписывались общине в целом (народу), чтобы материально обеспечить существование этой общности (абстракции), воплотить ее субъектность. Технически возможны два способа образования такой публичной (народной), собственности. Либо эти «вещи» специально создаются для всего народа, для удовлетворения потребностей общины в целом (флот, порты, мосты, дороги, рынки, театры и т.д.). Либо они оказываются в общенародной собственности в связи с тем, что для распределения в частную собственность необходимо время, так что период всеобщей собственности выступает неизбежной стадией принадлежности таких «вещей». В этом случае публичное происхождение «вещей» обязано публичному акту их приобретения – в результате завоевания (новые территории) или приобретения за общественный счет (хлеб для раздачи), – так что возникновение общенародной собственности всегда является следствием всеобщей потребности и соответствующей активности, в которых заключается и реализуется единство общины. Прагматические трактовки, вроде тезиса о сознательном создании резерва свободных земель, упускают из вида существенный аспект института соб-

ственности: формализованное (признанное) обладание конституирует формальную субъектность (социальное признание) самого обладателя и поэтому выступает необходимым видом активности для всякого институционализированного субъекта. Объяснения типа: армия и флот – это атрибуты государственности, ближе к сути дела.

Для роли общественной собственности как атрибута гражданской общины ее потребительные свойства несущественны: в режиме публичных, например, находятся земли, непригодные для обработки (этот режим для них типичен). Но те публичные «вещи», которые способны приносить плоды и доходы, оказываются подвержены еще и специальному режиму управления и получают особую роль в функционировании гражданской общины как сложного социального образования. Община заинтересована в эксплуатации таких вещей и обращении доходов от них на общественные нужды. Производственное же использование «вещей» с необходимостью предполагает обособленную, индивидуализированную деятельность, которая неизбежно вступает в конфликт со всеобщностью субъекта статичной принадлежности этого имущества. Причем если распорядительная активность еще может осуществляться исполнительными органами общины (магистратами), то хозяйственная деятельность – производство, обмен, распределение – требует исключительно частной инициативы, если только не прибегать к рабочей силе общественных рабов и управлеченческой деятельности публичных органов.

Вопрос о том, почему такая – в принципе возможная – организационная форма использования общественных источников дохода не получила развития в античной гражданской общине (не знавшей хозяйственных министерств и ведомств), требует специального изучения. Предварительно можно указать на то, что возникающие между публичным управленцем и частным работником или предпринимателем отношения обмена противоречат принципам публичных отношений государства и подчинения, а публичные по природе отношения, связанные снесением повинностей, не могут быть реализованы в рамках частноправовых (имущественных) связей, возможных только между индивидуально свободными (формально независимыми) лицами. Свободный гражданин как работник или предприниматель не может платить принудительные публичные сборы, иначе его деятельность, с которой связаны эти повинности, утратит частный характер (и свобода станет службой, долгом), а магистрат не может по праву взимать арендную плату, поскольку он не является частным (юридическим) лицом, в отличие, скажем, от современной государственной компании. Всеобщность

и непосредственность гражданского участия лишали публичную власть в *civitas* необходимой обособленности, исключая в рамках публичного возможность индивидуализации, достаточной для формального опосредования отношений с частными лицами. Римская публичная власть не могла выступать в роли юридического лица в имущественных отношениях.

Итак, проблема эксплуатации публичного имущества требовала околопубличной инициативы, признания публичного значения частного управляющего и соответствующего выведения имущественного интереса за рамки публичной организации. Всеобъемлющий характер гражданской организации, оформлявшей и частные имущественные отношения – исключая секуляризованные публичные отношения (государство в чисто политическом смысле) иначе, как в военной сфере, – в то же время наделял отдельного гражданина достаточным публичным потенциалом для возложения на него общественных по сути функций, что открывало путь к официальному допущению (и признанию) частного интереса в сферу публичного имущества. Логично, что эта роль выпала на долю знати, которая структурно в наибольшей степени выделялась из всеобщей публичной организации, а функционально обладала политической монополией. На этой основе строится система откупов, характерная не только для римской Республики, но именно здесь получившая наибольшее развитие [Ростовцев 1895].

Доступ к общественным источникам доходов был опосредован серией переходов от публичного к частному. На первой ступени находился магistrat (цензор или квестор), по решению которого (*lex* – распоряжение с нормативным значением) то или иное общественное имущество переводилось в режим коммерческого использования в интересах римского народа, а именно: граждане получали право пользоваться этим имуществом на условии периодической уплаты ренты (*vectigal*). Следующую ступень занимал откупщик, *manceps* (или товарищество откупщиков, *societas publicanorum*), который вносил весь объем установленных платежей ([Fest., 508 L]: *Vectigal aes*) в казну римского народа, получая от магистрата право на сбор доходов или ренты (пошлин) с указанного имущества (*ius vectigalis*). Сам откупщик при этом приобретает значение публичного лица ([Pseudo-Asconius, in Verr., 33 (p.113 Baiter]): *Mancipes... rei publicae repraesentant*). Наконец, в конце цепочки – плательщик ренты, частное лицо, осуществлявшее непосредственную хозяйственную деятельность с публичным имуществом на основе распоряжения магистрата. Доступ к общественному источнику дохода формально был обусловлен уплатой ренты; с другой же стороны, ис-

полнение этой обязанности придавало самому присутствию «арендатора» общественно значимый, официально признанный характер. Все звенья этой цепи оказывались включенными в сферу публичного, а их частный имущественный интерес преобразовывался в отправление публичной обязанности имущественного характера.

Подчеркнем: у римского народа не существовало альтернативы этой форме эксплуатации публичного имущества. Знать воплощала свое политическое преобладание в форме преимущественного доступа к общественному богатству. Обратной стороной объективной зависимости публичного имущественного интереса от частной инициативы являлась неизбежная концентрация частной предпринимательской инициативы в области публичного имущества. Само существование гражданской общин и факт обладания ею определенными источниками дохода оказывается условием и контекстом развития имущественной составляющей власти, когда преимущества публично-властного положения воплощаются в официально признанную управленческую функцию, ведущую к личному обогащению за счет общественного достояния.

Как свидетельствуют постоянные протесты плебейских трибунов [Labruna 1971: 276 sqq] и целая серия специальных юридических институтов, предварительная уплата ожидаемой суммы поступлений в народную казну в действительности не практиковалась: откупщик давал лишь гарантию поручителя или залог, получая взамен свободу рук в отношении определенного общественного имущества. Древнейшая форма заключалась в предоставлении заложников (поручителей) – *praedes* ([Pauli ex Fest., 249 L]: «*Praes est is, qui populo se obligat...* – *Praes* – это тот, кто обязывается перед народом...»), попадавших непосредственно в зависимость от кредитора (народа), так что на их личность обращалось взыскание, если обязательство откупщика не исполнялось.

С развитием потенциального характера ответственности, когда роль заложника (потенциального) мог исполнять сам должник, оставаясь лично свободным на этапе исполнения, – откупщики начинают отвечать лично. Обязательство устанавливалось в форме особого ритуала (манципации), откуда и название откупщика – *manceps* ([Pauli ex. Fest., 137 L]: «*Manceps dicitur, qui quid a populo emit conductive, quia manu sublata significat se auctorem emptionis esse: qui idem praes dicitur, quia tam debet praestare populo, quod promisit, quam is, qui pro eo praes factus est – Manceps*» («берущий рукой») называется тот, кто заключает договор купли или аренды с народом, так как он, налагая руку, обозначает, что выступает обязанной стороной в договоре; его также называют *praes*, поскольку он также должен обеспечить [*praestare*] народу, что пообе-

щал, как и тот, кто за него поручился»). Неисполнительный откупщик оказывался в положении неоплатного должника (*nexus*), близком к долговому рабству, пока у него не находилось заступника, который мог бы его выкупить. Закон муниципия Маласитаны, описывая положение такого откупщика, употребляет формулу расторжения обязывающей сделки и выкупа должника (*solutio per aes et libram* – [Gai., 3,174]: *qui eorum soluti liberatique non sunt [lex municipii Malacitani, 64, 29]*).

На более продвинутом этапе поручители или сами откупщики предоставляли в обеспечение обязательства (*fides mancipis*) земельные участки (*praedia* [Varro, de l.l., 5,40]), которые народ мог продать на публичных торгах *ex lege paeditoria* в возмещение убытков [Varro, de l.l., 64, 47–59; Cic., de dom., 18,48; pro Balb., 20,45; Phil., 2,78]. Однако в таком случае *praes* имел преимущественное право на выкуп своего участка [*lex municip. Malacit.*, 65] и мог, таким образом, избежать утраты данного имущества, внеся за него аукционную цену [Wesener 1974: 450]. Режим такого залога, отличный от частноправового [Gai., 2,61], требует особого изучения как специфическая имущественная сделка псевдопубличного лица с публичным органом (народом), имеющая своим объектом частную собственность. Возможно, именно особое публичное положение откупщика определяет и его право на выкуп заложенного участка [Karlowa 1902: 58].

Понятно, что владельцами (*occupantes*) на общественных землях, имитирующими уплату ренты, были лица одного социального круга с откупщиками, если и вовсе не из той же самой компании (товарищества): общий риск позволял тому из компаний, кто исполнял роль откупщика, компенсировать возможные расходы на выкуп заложенного участка на публичных торгах. Широкое поле для злоупотреблений, которое открывает такая схема эксплуатации общественного имущества, представляется отнюдь не классовой хитростью, а неизбежным следствием системы, в которой значительная доля источников дохода была присвоена общиной как целым, когда невозможность индивидуализации субъекта требовала привнесения частной инициативы извне, для того чтобы заставить такое имущество «работать» и приносить доход.

Указанные возможности для злоупотреблений отнюдь не обязательны, хотя и естественны для такой системы: она отличается от современной мафии тем, что признается и защищается публичной властью, являясь ее непосредственным продуктом. (Сходство же с мафией заключается в том, что система откупов предполагает неразвитое государство, недостаточное обоснление публичной сферы, поглощение гражданского общества публичными связями, господство патронажно-

клиентских отношений и соответствующей идеологии). Именно для охраны частных владений на общественных землях в римском праве возникает институт поссессорной защиты – административного запрета применять силу с целью нарушения фактической принадлежности имущества данному лицу. Уплата ренты (которая по своим правовым характеристикам совпадала с налогом на имущество, так как такой налог в условиях гражданской общины может существовать только как рента) или претензия на ее уплату легитимизирует присутствие частного владельца на общественной земле, обеспечивая ему защиту от себе подобных. Публичный характер оккупации, определяемый специальным распоряжением магистрата (*lex censoria* или *quaestoria*), исключал непосредственные силовые конфликты между захватчиками общественных богатств, переводя неформальное лидерство претендентов в план формально равных, административно регулируемых отношений. В то же время основанием для защиты выступал факт признанного присутствия на земле, так что конкуренция между олигархами принимала внеправовые формы дележа «лакомых кусков», как на этапе захвата, так и в ходе конкурса между откупщиками.

Эта конструкция пережила века. Если в Италии по аграрному закону 111 г. до н.э. все частные владения на общественной земле (*ager publicus*) были преобразованы в частную собственность (*ager privatus*), то в провинциях, на муниципальных землях система кормлений существовала до конца римской империи [Kühn 1864: 35 ff; Liebenahm 1900: 424 ff; Kolb 1984]. Муниципальный совет (*curia*) распределял между своими членами *liturgia* – публичные обязанности, связанные с имущественными расходами (поддержание в порядке общественных сооружений, контроль над работой почты, пожарной охраны и других местных служб), передавая ответственным лицам в управление определенные общественные источники дохода (земли, рудники, порты, мосты и проч.). Императоры (уже из Константинополя) постоянно вмешивались в муниципальные дела, заставляя декурионов (членов местных советов) приводить в порядок городские службы, отряжая в города для отправления обязанностей общимперского значения специальных должностных лиц (которые сами оказывались вовлечеными в куриальную систему городского самоуправления, меняя свой статус [Сильвестрова 1999: 19 сл.]). Императоры принуждали декурионов отвечать собственным имуществом за муниципальные повинности, наконец, запрещая отказываться от несения повинностей и выходить из курии.

Примечательной мерой, информирующей о принципе отправления городских служб, было переподчинение муниципальных должно-

стей (функций) путем изъятия (конфискации) городских земель с последующим целевым направлением доходов с них на городские нужды [Jones 1964: 131 ff] – те, которые представлялись императорской власти первостепенными (например, на ремонт городских стен в периоды угрозы варварских нашествий). Тем самым лица, ответственные за эти направления, хотя и сохраняли свой муниципальный статус, практически превращались в императорских чиновников, отныне действуя по приказу императора, а не в порядке местного самоуправления. Ясно, что подобные перемены были вызваны тем, что прежняя система, прямая наследница республиканской, оказывалась неэффективной из-за постоянных злоупотреблений. Здесь кастовый характер знати принимал обратный вид: императоры со временем вовсе закрыли выход из курии (тогда как вход остался открытым), навязав наследственное членство в совете: синтез публичных и гражданских отношений искусственно создавался в одном секторе общины, ее верхушке, с деятельностью которой теперь связывался имперский, государственный, интерес [Kotula 1982: 102 ss].

В новом административном порядке (в котором отдельная гражданская община, муниципий, выступает как объект управления в рамках бюрократической монархии) место народа занимает аристократия, поскольку только она воспринимается как субъект, способный к ответственности, а значит не просто представляющий муниципий, но тождественный всей городской общине. Эта новая всеобщность публичного участия создает тот политico-социальный контекст, в котором древняя цивилитарная модель органично воспроизводит свои типичные черты: исключение публичного участия в управлении общественным имуществом, придание псевдопубличного характера частному предпринимательству в общественном секторе, передача публичных функций на откуп (в прямом и в переносном смысле) влиятельным представителям элиты.

ЛИТЕРАТУРА:

- Андреев Ю.В. Мужские союзы в поэмах Гомера // Вестник древней истории. 1964. №4.
- Дождев Д.В. Римское архаическое наследственное право. М., 1993.
- Дождев Д.В. Рецензия на: Capogrossi Colognesi L. Dalla tribù allo stato. Le istituzioni dello stato cittadino. Roma, 1990 // Вестник древней истории. 1993. №2.
- Дождев Д.В. Римское частное право. М., 1996.

- Иванчик А.И., Кулланда С.В.* Источниковедение дописьменной истории и ранние стадии социогенеза // Архаическое общество: узловые проблемы социологии развития. М., 1991. Ч.1. С. 192–216.
- Коптев А.В.* Механизм передачи царской власти в архаическом Риме // Вестник древней истории. 1998. №3.
- Маяк И.Л.* Рим первых царей. Генезис римского полиса. М., 1983.
- Маяк И.Л.* *Populus, cives, plebs* начала Республики // Вестник древней истории. 1989. №1.
- Маяк И.Л.* Римляне ранней республики. М., 1993(а).
- Маяк И.Л.* Значение *ager publicus* в раннереспубликанском Риме // Социальные структуры и социальная психология античного мира. М., 1993(б).
- Моммзен Т.* История Рима. М., 1936. Т.1.
- Немировский А.И.* Эtrуски: от мифа к истории. М., 1983.
- Ростовцев М.И.* История государственного откупа в античном мире. СПб., 1895.
- Сильвестрова Е.В.* Курия в системе городского управления по Кодексу Феодосия. Автореф. дисс. канд. ист. наук. М., 1998.
- Синайский В.И.* Подушный надел в древнем Риме. Юрьев, 1907
- Синайский В.И.* Очерки из истории землевладения и права в древнем Риме, IV: Так называемая родовая организация древнеримской гражданской общины. Киев, 1913.
- Смирин В.М.* Патриархальные представления и их роль в общественном сознании римлян // Культура древнего Рима. М., 1985. Т. 2.
- Токмаков В.Н.* Военная организация Рима ранней республики (VI-IV вв. до н.э.). М., 1998.
- Штаерман Е.М.* К вопросу о происхождении римского государства // *Klio*, 1981. М., 1981.
- Штаерман Е.М.* Рецензия на: *Маяк И.Л.* Рим первых царей // Вопросы истории. 1984.. №6.
- Штаерман Е.М.* К проблеме возникновения государства в Риме // Вестник древней истории. 1989. №2.
- Элиаде М.* Аспекты мифа. М., 1995.
- Alföldi A.* Early Rome and the Latins. Ann Arbor, 1963.
- Burdese A.* Studi sull'*ager publicus*. Torino, 1952.
- Capogrossi Colognesi L.* La terra in Roma antica: Forme di proprietà e rapporti produttivi. Roma, 1981.
- Capogrossi Colognesi L.* Dalla tribù allo stato. Le istituzioni dello stato cittadino. Roma, 1990.
- Coli U.* *Regnum* // Scritti in diritto romano. Milano, 1973. V. 1.

- De Francisci P.* Primordia civitatis. Roma, 1959.
- De Martino F.* Storia della costituzione romana, 1. Napoli, 1972.
- De Martino F.* La «gens», lo stato e le classi in Roma antica // Diritto e società nell'antica Roma. Roma, 1979. P. 51-71.
- De Martino F.* Territorio, popolazione ed ordinamento centuriato // Diritto e società nell'antica Roma. Roma, 1979. P. 162-182.
- Jones A.H.M.* The Later Roman Empire. Oxford, 1964.
- Karlowa O.* Römische Rechtsgeschichte. Leipzig, 1902. Bd. 2.
- Kolb F.* Die Stadt im Altertum. München, 1984.
- Kotula T.* Les principales d'Afrique. Etude sur l'élite municipales nord-africaine au Bas-Empire romain. Breslau, 1982.
- Kühn E.* Die stadtische und bürgerliche Verfassung des Römischen Reiches bis auf die Zeiten Justinians, I. Laipzig, 1864.
- Labruna L.* «Vim fieri veto». Alle radici di una ideologia. Napoli, 1971.
- Liebenahm W.* Stadtverwaltung im römischen Kaiserreiche. Leipzig, 1900.
- Magdelain A.* Remarques sur la société romain archaïque // Revue des études latines. 1971. Vol.43.
- Mancuso G.* Alle radici della storia del senatus. Contributo all'identificazione dei patres nell'età precittadina // Annali Palermo. 1972. Vol.33.
- MommSEN T.* Römische Forschungen. Berlin, 1864. Bd.1.
- MommSEN T.* Römisches Staatsrecht. Leipzig, 1888. Bd.3.
- Niebuhr B.G.* Römische Geschichte. Berlin, 1811. Bd.1.
- Palmer R.* The Archaic Community of the Romans. Cambridge, 1970.
- Rathje A.* The Adoption of the Homeric Banquet in Central Italy in the Orientalizing Period // Symposia. A Symposium on the Symposium. Oxford, 1990.
- Richard J.-C.* Les origines de la plèbe romain. Rome, 1978.
- Sereni E.* Le comunità rurali nell'Italia antica. Roma, 1955.
- Sinaiskij V.* La cité antique. Riga, 1923.
- Tondo S.* Profilo di storia costituzionale romana. Milano, 1981. V. 1.
- Walde A.* Lateinische etymologische Wörterbuch. Heidelberg, 1938.
- Wesener G.* Praediatura // Pauli-Wissowa Realenclopädie der Altertumswissenschaft, Suppl.XIV. München, 1974.

ХУННУ (200 г. до н. э. – 48 г. н. э.)^{*}

Н.Н. Крадин

История хунну (кит. сюнну) представляет собой одну из интереснейших страниц истории народов евразийских степей в эпоху древности. На рубеже III–II вв. до н.э. хунну создали первую степную империю, которая объединила многие этносы Центральной Азии, Южной Сибири и Дальнего Востока. В течение двух с половиной веков продолжалось драматическое противостояние хунну и их южного соседа – Ханьского Китая. В конце I в. н.э. хуннская эпоха во Внутренней Азии закончилась, но с этого времени начинается новый этап истории хунну – гуннская экспансия на Запад и их опустошительные завоевания в Старом Свете.

Основными источниками по истории хунну являются сведения китайских летописей, перевод которых ныне в основном завершен [Лидай 1958; Groot 1921; Watson 1961; Материалы 1968; 1973 и др.], а также материалы археологических раскопок на территории Монголии, России и Китая [Доржсурэн 1961; Коновалов 1976; Давыдова 1995; 1996 и др.]. Крупные исследования ряда ученых [Эгами Намио 1948; Бернштам 1951; Гумилев 1960; Ма Чаншоу 1962; Руденко 1962; Сухбаатар 1980; Давыдова 1985 и др.], в которых освещают те или иные стороны истории и культуры хуннского общества, однако многие вопросы по прежнему остаются неразработанными и дискуссионными. Некоторые из них, связанные с социально-политической эволюцией хуннской империи, рассматриваются в данной главе.

Причины образования Хуннской державы

Проблеме возникновения кочевых империй посвящено множество специальных и популярных исследований. Дж. Флетчер (ссылаясь на работы китайского историка Сяо Цицина) полагает, что все теории, объяснявшие причины образования империй номадов и их нашествия на Китай и другие земледельческие страны, могут быть сведены к семи следующим: 1) жадная и хищническая природа степняков;

* Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант # 97-06-96759

2) климатические изменения; 3) перенаселение степи; 4) нежелание земледельцев торговать с кочевниками; 5) необходимость дополнительных источников существования; 6) потребность в создании надплеменного объединения кочевников; 7) психология кочевников - с одной стороны, стремлениеnomадов ощущать себя равными земледельцам и, с другой стороны, вера кочевников в данное им Небом-Тэнгри божественное предназначение покорить весь Мир [Fletcher 1986: 32–33].

В большинстве из перечисленных факторов есть свои рациональные моменты. Однако значение некоторых из них оказалось преувеличеным. Так, современные палеогеографические данные не подтверждают жесткой корреляции глобальных периодов усыхания/увлажнения степи с временами упадка/расцвета кочевых империй [Иванов и Васильев 1995]. Оказался ошибочным тезис о «классовой борьбе» у кочевников [Марков 1967; 1989; 1998]. Не совсем ясна роль демографического фактора, поскольку рост поголовья скота происходил быстрее увеличения народонаселения и в прошлом, как правило, приводил к стравливанию травостоя и кризису экосистемы. Кочевой образ жизни, вне всякого сомнения, может способствовать развитию некоторых военных качеств. Но земледельцев было во много раз больше, они обладали экологически более комплексным хозяйством, надежными крепостями, более мощной ремесленно-металлургической базой и т.д.

В целом, можно согласиться с теми исследователями [Lattimore 1940; Марков 1967; Хазанов 1975; Irons 1979; Khazanov 1984; Fletcher 1986; Barfield 1992; Масанов 1995 и др.], которые полагают, что с экологической точки зрения кочевники не нуждались в государстве. Специфика скотоводства предполагает рассеянный (дисперсный) образ существования. Концентрация больших стад животных в одном месте вела к перевыпасу, чрезмерному вытаптыванию травостоя, увеличению опасности распространения заразных заболеваний животных. Скот нельзя было накапливать до бесконечности, его максимальное количество детерминировалось продуктивностью степного ландшафта. К тому же независимо от знатности скотовладельца, все его стада могли быть уничтожены джутом, засухой или эпизоотией. Поэтому скот было выгоднее давать на выпас малообеспеченным сородичам или раздавать в виде «подарков», повышая тем самым свой социальный статус. Таким образом, вся производственная деятельность скотоводов осуществлялась внутри семейно-родственных и линийских групп, лишь при эпидемической необходимости трудовой кооперации сегментов подплеменного и племенного уровней.

Данное обстоятельство обусловило тот факт, что вмешательство предводителей кочевых обществ во внутреннюю экономическую жизнь было очень незначительно и не могло идти ни в какое сравнение с многочисленными управленческими обязанностями правителей оседло-земледельческих обществ. В силу этого власть предводителей степных обществ не могла развиться до формализованного уровня на основе регулярного налогообложения скотоводов, и элита была вынуждена довольствоваться подарками и нерегулярными подношениями. К тому же значительное притеснение мобильных скотоводов со стороны племенного вождя или другого лица, претендующего на личную власть, могло привести к массовой откочевке от него.

Что же тогда толкало кочевников на набеги и являлось причиной создания «степных империй»? Выдающийся американский социоантрополог О. Латтимор, сам долго проживший среди скотоводов Монголии, писал, что кочевник вполне может обойтись только продуктами, получаемыми от его стада, но просто кочевник всегда останется бедным [Lattimore 1940: 522]. Номадам были нужны плоды труда земледельцев, они нуждались в изделиях ремесленников, в шелке, оружии, в изысканных украшениях для своих вождей, их жен и наложниц. Все это можно было получать двумя способами: войной и мирной торговлей. Кочевники использовали оба способа. Когда они чувствовали свое превосходство или неуязвимость, то без раздумий садились на коней и отправлялись в набег. Но когда соседом оказывалось могущественное государство, скотоводы предпочтитали вести с ним мирную торговлю. Однако нередко правительства оседлых государств препятствовали такой торговле, так как она выходила из-под государственного контроля. И тогда кочевникам приходилось отстаивать право на торговлю вооруженным путем.

Сложная иерархическая организация власти в форме «кочевых империй» и подобных им политических образований развивалась у номадов только в тех регионах, где они были вынуждены иметь длительные и активные контакты с более высокоорганизованными земледельческо-городскими обществами (скифы и древневосточные и античные государства, кочевники Центральной Азии и Китай, гунны и Римская Империя, арабы, хазары, турки и Византия и пр.). В Халха-Монголии первая степная империя - Хуннская - возникла как раз в то время, когда на среднекитайской равнине после длительного периода «враждующих царств» образовалось первое общекитайское централизованное государство - империя Цинь, а затем – Хань.

В целом, история образования Хуннской державы укладывается в общую картину возникновения кочевых империй Евразии. Из выделенных четырех возможных вариантов образования степных держав (1. монгольский путь – посредством узурпации власти; 2. тюркский – в процессе борьбы за независимость; 3. гуннский – путем миграции на территорию земледельческого государства; 4. хазарский – в ходе сегментации крупной «мировой» степной империи) хунну классически вписываются в первую, самую распространенную модель, для которой было характерно появление в среде кочевников талантливого или удачливого предводителя, которому удавалось объединить все племена и ханства, «живущие за войлочными стенами», в единую степную державу. Таким талантливым политиком и военачальником у хунну был Модэ. Сыма Цянь красочно рассказывает о том, как Модэ убил своего отца, бывшего правителем (*шаньюем*) у хунну, и захватил престол [Лидай 1958: 15–16; Материалы 1968: 38–39]; однако в этом изложении при чудливо переплетаются отзвуки реальных исторических событий и элементы поэтического, эпического произведения [подробнее см.: Крадин 1996: 28–34]. К сожалению, эпические произведения не отражают реальной исторической хронологии. По этой причине события, изложенные в данном рассказе, не могут считаться исторически достоверными.

Структура общества и власти

Во главе хуннского общества находился *шаньюй*. В официальных документах периода расцвета Хуннской империи *шаньюй* назывался не иначе, как «Небом и землей рожденный, солнцем и луной поставленный, великий *шаньюй* сюнну» [Лидай 1958: 30; Материалы 1968: 45]. Его власть, как и власть правителей других степных империй Евразии, основывалась не на внутренних, а на внешних источниках. *Шаньюй* использовал набеги для получения политической поддержки со стороны племен-членов «имперской конфедерации». Далее, используя угрозы набегов, он вымогал от Хань «подарки» (для раздачи родственникам, вождям племен и дружине) и право на ведение приграничной торговли (для всех подданных). В делах же внутренних он обладал гораздо меньшими полномочиями. Большинство политических решений на местном уровне принималось племенными вождями.

Американский антрополог Т. Барфилд полагает, что ханьские политики, вероятно, рассчитывали на простую человеческую алчность и надеялись, что *шаньюй* опьянеет от количества и разнообразия редких диковинок и будет их копить в своей сокровищнице на зависть подданным или транжирить на всяческие сумасбродства. Однако китайские

интеллектуалы- книжники не поняли основ власти степного правителя. Психология кочевника отличается от психологии земледельца и горожанина. Статус правителя степной империи зависел, с одной стороны, от возможности обеспечивать дарами и благами своих подданных и, с другой стороны, от военной мощи державы, чтобы совершать набеги и вымогать «подарки». Поэтому причиной постоянных требований *шаньюя* об увеличении подношений была не его личная алчность (как ошибочно полагали китайцы!), а необходимость поддерживать стабильность военно-политической структуры. Самое большое оскорбление, которое мог заслужить степной правитель, это обвинение в скупости. Для *шаньюев* военные трофеи, подарки ханьских императоров и международная торговля являлись основными источниками политической власти в степи. Соответственно проходившие через их руки «подарки» не только не ослабляли, но, напротив, усиливали власть и влияние верховных правителей в «имперской конфедерации» [Barfield 1992: 36–60].

С точки зрения китайских хронистов Хуннская держава представляла собой экспансионистское государство с автократической властью. Однако в реальности империя Хунну являлась, в известном смысле, достаточно хрупким механизмом. Даже в периоды наивысшего расцвета (при Модэ и его ближайших приемниках) военно-иерархическая система только сосуществовала и дополняла запутанную генеалогическую иерархию племен, но никогда окончательно не сменяла ее. Теоретически, конечно, *шаньюй* мог требовать от подданных беспрекословного подчинения и издавать любые приказы, однако, на деле его политическое могущество было ограничено. Во-первых, как следует из вышеприведенного, надплеменная власть сохранялась в хуннской империи в силу того, что, с одной стороны, членство в конфедерации обеспечивало племенам политическую независимость от соседей и ряд других важных выгод, а, с другой стороны, *шаньюй* и его окружение гарантировали племенам определенную внутреннюю автономию в рамках империи. Во-вторых, фактическая власть племенных вождей и старейшин была автономной от политики центра. Перед недовольными политикой «ставки» племенами всегда существовала нежелательная для центра альтернатива откочевки на запад или побега на юг, под покровительство Китая.

Шаньюй имел многочисленных родственников, принадлежавших его «царскому» роду Люаньди (Луаньти, Сюйляньти): братьев и племянников, жен (*яньчжи*), сыновей принцев и дочерей принцесс (*цзюйцзы*) и т.д. Кроме родственников *шаньюя* в число высшей хуннской аристократии входили и другие знатные «семейства» – Хуянь,

Лань и появившиеся позднее роды Сюйбу и Цюлинь. Следующую ступень в хуннской иерархии занимали племенные вожди и старейшины. В летописях, как правило, они обозначаются как «небольшие князья», *дүвэи, данху, цецюи*. Наверное, часть тысячников были племенными вождями. Сотники и десятники являлись, скорее всего, родовыми (клановыми) старшинами различных рангов. В обязанности вождей и старейшин входили хозяйственные, судебные, культовые, фискальные и военные функции [Лидай 1958: 17; Материалы 1968: 39–40]. Несколько ниже хуннских вождей на иерархической лестнице располагались вожди нехуннских племен, включенных в состав имперской конфедерации. У хунну имелась определенная прослойка служилой знати.

Основное население Хуннской державы составляли простые кочевники скотоводы. Основываясь на некоторых косвенных данных, можно предполагать, что многие важнейшие черты хозяйства, социальной организации, быта и, возможно, менталитета хунну были детерминированы специфической экологией среды обитания и в своей основе мало чем отличались от особенностей культуры кочевников монгольских степей более позднего времени [Крадин 1996: 86–90].

В письменных источниках отсутствуют сведения относительно различных категорий бедных и неполноправных лиц, занимавшихся скотоводством у хунну. Также неизвестно, насколько у хунну были распространены рабовладельческие отношения, хотя источники буквально пестрят данными об угонеnomадами в плен земледельческого населения. Неразвитость рабства у хунну может быть объяснена с помощью сравнительно-исторических исследований, которые убедительно свидетельствуют, что ни в одном из скотоводческих обществ рабство не получило значительного распространения [подробнее см.: Хазанов 1975: 133–148 и др.]. Скорее всего, правы исследователи [Гумилев 1960: 147; Руденко 1962: 70–71; Давыдова 1975: 145 и др.], считающие, что подавляющее большинство военнопленных у хунну занималось земледелием и ремеслом в специально созданных для этого поселениях. Однако по социально-экономическому и юридическому положению очень многие из этих лиц (а среди них было немало и свободных перебежчиков) не являлись рабами. Их социальный статус, скорее всего, был неодинаковым и варьировал от весьма условного «полувассалитета» до некоего подобия «полукрепостничества». Классическим поселком такого типа являлось Иволгинское городище в Бурятии [Давыдова 1985; 1996].

Археологические данные существенно дополняют сведения летописей. Еще до образования кочевой империи у хунну существовала прослеживаемая по археологическим данным общественная стратифи-

кация. На одном полюсе – простые захоронения рядовых номадов. На другом – могилы представителей племенной верхушки, в которых обнаружено большое количество украшений для колесниц, редкое оружие, ювелирные изделия и пластины с высокохудожественными изображениями животных из золота, жезлы, навершия знамен и пр. (могильники Алучжайдэн и Сигоупань во Внутренней Монголии) [Тянь Гуанцзинь и Го Сусинь 1980а; 1980б].

В период расцвета хунну социальное расслоение еще более увеличилось. Чем выше был статус индивида, тем большими оказывались затраты на сооружение погребальной конструкции, более пышным был опущенный с ним в могилу инвентарь. В живописном таежном Хэнтэе в Монголии, где открыты всемирно известные Ноин-Улинские захоронения, и в Ильмовой пади на юге Бурятии расположены монументальные «царские» и «княжеские» курганы хуннской элиты, для сооружения которых требовались немалые усилия [Доржсурэн 1961; Руденко 1962; Коновалов 1976 и др.]. Монументальные сооружения как бы создают специфическое священное пространство, которое символизирует божественный, иррациональный статус земной власти. Фокусируя ландшафт «на себя», воплощая «максимальную сакральность» социума, эти монументальные памятники как бы представляют собой материализацию политического контроля и власти *шаньюя* над подданными державы.

Гораздо проще устройство захоронений и беднее сопроводительный инвентарь других социальных групп. Рядовых кочевников, например, хоронили в простых гробах, устанавливавшихся в неглубоких ямах. Сопровождающий их погребальный инвентарь еще скучнее. Низшие общественные группы похоронены в простых ямах, часто вообще без погребального инвентаря. В результате исследования около 350 погребений из четырех наиболее изученных могильников хунну на территории Бурятии удалось выявить наличие многоуровневой социальной дифференциации среди различных половозрастных групп хуннского общества (Крадин 1999: 34–38).

Самые богатые захоронения сконцентрированы в могильнике Ильмовая падь. Здесь выделяются по три ранга в погребениях мужчин и женщин, в том числе зафиксированы погребения высшей элиты хуннского общества. Мужские захоронения Черемуховой пади и Дэрестуйского Култука объединяются в несколько групп, возможно, в соответствии с характером деятельности погребенных при жизни. В женских погребениях Черемуховой пади выделены «богатые» и более простые захоронения. Среди женских могил Дэрестуйского Култука дифференциации не выявлено. В Иволгинском могильнике, оставленном оседлым

населением Империи, выявлено четыре иерархических ранга у мужчин и пять у женщин. Среди детских захоронений хуннского времени в Бурятии можно проследить определенную дифференциацию на «богатые» и «бедные» погребения (наиболее отчетливы различия между ними в Иволгинском могильнике, где выделяется 3–4 группы). Однако необходимо иметь в виду, что часть детских погребений, в том числе и не самых бедных, как это было показано С.С. Миняевым [1989], была связана с жертвоприношениями. Все это свидетельствует о существовании в Хуннской державе сложной, многоуровневой иерархии статусов, которая нашла лишь частичное отражение в древнекитайских летописных текстах.

В целом письменные и археологические источники показывают сложный многоярусный характер социальной структуры хуннского общества. На вершине общественной пирамиды находились *шаньюй* и его ближайшие родственники в лице представителей клана Люаньди. Следующую ступень занимали представители других знатных кланов, племенные вожди, служилая знать. Еще ниже располагалась самая массовая социальная группа общества – простые скотоводы. Внизу социальной лестницы находились различные неполноправные категории: обедневшиеnomады, полувассальное оседлое население, военнопленные данники, занимавшиеся земледелием и ремеслом, рабы.

Эволюция политической системы

Выдающийся китайский историк Сыма Цянь оставил подробное описание административной системы Хуннской державы [Лидай 1958: 17; Материалы 1968: 39–40]. Империя при Модэ была разделена на три части: центр, левое и правое крылья. Крылья, в свою очередь, делились на подкрылья. Вся высшая власть была сосредоточена у *шаньюя*. Параллельно он управлял центром – племенами «метрополии» степной державы. Ему подчинялись 24 высших должностных лица, которые руководили крупными племенными объединениями и одновременно имели воинское звание «темника» («десятитысячника»). Левым крылом командовал, как правило, старший сын *шаньюя*, наследник престола. Руководителями и соправителями правого крыла являлись три наиболее близких родственника правителя степной империи. Только они имели высшие титулы «князей» (*ванов*). «Князья» и еще шесть наиболее знатных темников считались «сильными» и имели в своем подчинении не менее 10 тыс. всадников. Остальные темники реально имели под своим началом меньшее число конников.

На низшем уровне административной иерархии находились местные племенные вожди и старейшины. Официально они подчинялись двадцати четырем наместникам из центра. Однако на практике зависимость племенных лидеров была ограничена. Ставка находилась достаточно далеко, а местные вожди располагали поддержкой родственных им племенных групп. Поэтому влияние на местную власть имперских наместников было в известной степени ограничено, и они были вынуждены считаться с интересами подчиненных им племен. Каково же было общее число данных племенных групп в пределах хуннской имперской конфедерации, неизвестно.

Использование китайским историком для описания административно-политической структуры хуннского общества как военных (темники, тысячики, сотники), так и традиционных (князья разных рангов, дувэи, данху и пр.) терминов дает основание предположить, что системы военной и гражданской иерархии существовали параллельно. Каждая из них имела особые функции. Система недесятичных рангов использовалась для гражданского управления племенами. Система десятичных рангов применялась во время войны, когда большое количество воинов из разных частей степи объединялось в одну или несколько армий [Barfield 1992: 38].

Власть *шаньюя*, высших военачальников и племенных вождей на местах поддерживалась строгими, но простыми традиционными нормами. В целом, как оценивали хуннские законы китайские хронисты, наказания уnomадов были «просты и легко осуществимы» и сводились главным образом к палочным наказаниям, ссылке и смертной казни. Это давало возможность быстро разрешать на разных уровнях иерархической пирамиды конфликтные ситуации и сохранять стабильность политической системы в целом. Не случайно, что для китайцев, с детства привыкших к громоздкой и неповоротливой бюрократической машине, система управления хуннской конфедерации казалась предельно простой: «управление целым государством подобно управлению своим телом» [Лидай 1958: 30; Материалы 1968: 40].

Стройная система рангов, разработанная при Модэ, не сохранилась в дальнейшем. Китайский историк Фань Е дал столь же подробное описание политической системы хунну в I в. н.э., что и его выдающийся предшественник Сыма Цянь [Лидай 1958: 680; Материалы 1973: 73]. Это дает уникальную возможность проследить динамику политических институтов у хунну на протяжении 250 лет. Наиболее принципиальные изменения, произошедшие в обществе хунну в период между эпохой Модэ и кануном его распада, состояли в следующем:

1) произошел переход от троичного военно-административного деления к дуальному племенному делению на крылья; 2) Сыма Цянь писал о четко разработанной военно-административной структуре с 24 темниками. Фань Е не упоминает о «десятичной» системе, вместо военных званий темников, перечисляются гражданские титулы «князей» (*ванов*); 3) по Фань Е, к числу «князей» относилась вся первая десятка так называемых «сильных» темников, что свидетельствует, с точки зрения китайского летописца, об их более независимом положении от ставки *шаньюя*; 4) в Хуннской империи изменился порядок престолонаследия. Если первоначально престол *шаньюя* передавался от отца к сыну (за исключением нескольких экстраординарных случаев), то постепенно стал преобладать другой порядок – удельно-лествичный: от брата к брату и от дяди к племяннику; 5) у хунну возобладал принцип соправительства, согласно которому у главы кочевой империи имеется соправитель, управлявший младшим по рангу «крылом». Должность младшего соправителя наследовалась внутри его линиджа, но члены последнего не могли претендовать на трон *шаньюя* [Крадин 1996: 132–138].

Таким образом, данные изменения свидетельствуют о постепенном ослаблении авторитарных отношений в империи и замене их связями федеративными, о чем, в частности, говорит переход от троичного административно-территориального деления к дуальному. Оттеснялись на задний план военно-иерархические отношения, вперед выдвигалась генеалогическая иерархия «старших» и «младших» по рангу племен.

Особенности социальной эволюции

Проблема общественного строя хунну интересовала многих исследователей, однако, она должна рассматриваться в контексте более широкого вопроса – дискуссии о социально-экономических отношениях у кочевников в целом. Поскольку имеется много работ, в которых данная дискуссия подробно анализируется [см., например: Хазанов 1975; Першиц 1976; Коган 1981; Халиль Исмаил 1983; Khazanov 1984; Попов 1986; Марков 1989; 1998; Крадин 1992; Масанов 1995; Васютин 1998 и др.], я остановлюсь только на изменении в ходе нее оценок специфики социального устройства хуннского общества.

Нельзя согласиться с мнением о «военно-демократическом» характере хуннского общества. Во-первых, классическая «военная демократия», описанная Л.Г. Морганом и Ф. Энгельсом, была исторически неуниверсальным явлением, которое к тому же непосредственно не предшествовало государству, а сменилось иными, более сложными, но

по-прежнему догосударственными формами социально-политической организации [Хазанов 1968]. Во-вторых, хуннское общество было основано на военно-иерархическом делении, далеком от примитивного племенного «демократизма».

Также неправомерно характеризовать Хуннскую державу (и все остальные кочевые империи) как восточную деспотию. Это умозрительная, по существу, ни на чем не основанная точка зрения. Суть вопроса заключается в том, что отношения между хуннской элитой и простымиnomadами нельзя считать эксплуататорскими; основным источником доходов хуннской аристократии являлись военные трофеи, дань, «подарки» от китайского императора, доходы от торговли и обмена. Хуннский *шаньюй* не обладал деспотической властью, его политическое могущество было ограничено рядом объективных обстоятельств: а) хозяйственная самостоятельность делала племенных вождей потенциально независимыми от центра; б) главные источники власти *шаньюя* являлись достаточно нестабильными и находились вне степного мира; в) всеобщее вооружение ограничивало возможности политического давления сверху; г) перед недовольными политикой центра племенными группировками открывались возможности откочевки, дезертирства на юг или восстания.

Если понимать феодализм в «узком» смысле (как универсальную средневековую стадию всемирной истории или как особый тип общества, характерный, главным образом, для средневековой Европы), то Хуннская держава также не могла быть феодальной. Во-первых, в источниках нет сведений о существовании у хунну частнособственнической эксплуатации малоимущих и бесскотных nomadов богатыми скотовладельцами. Во-вторых, основу феодального (как и азиатского, и рабовладельческого) способа производства составляют отношения эндэксплуатации, тогда как в кочевых империях (в том числе в Хуннской) системообразующей выступает экзоэксплуатация. В-третьих, хуннская держава существовала задолго до того, как появился феодализм согласно «узкой» трактовке (в IV–V вв.).

Гораздо сложнее обстоит дело, если понимать феодализм в «широком» смысле – как этап социальной истории между первобытными и индустриальными обществами или же объединять этот период в единую послепервобытную доиндустриальную стадию общественного развития. В таком контексте проблема феодализма у хунну оказывается перенесенной в несколько иную плоскость: можно ли считать хуннское общество государством, или же хуннская «имперская конфедерация» представляла собой одну из форм предгосударственных образований?

Ответ в известной степени зависит от избранной методологии исследования. В настоящее время существуют две наиболее популярные группы теорий, объясняющих процесс происхождения и сущность раннего государства [подробнее см.: Fried 1967; Service 1975; Claessen & Skalník 1978; 1981; Cohen & Service 1978; Haas 1982; Gailey & Patterson 1988; Павленко 1989; Годинер 1991 и др.]. **Конфликтные** теории показывают происхождение государственности и ее внутреннюю природу с позиций отношений эксплуатации, классовой борьбы, войны и межэтнического доминирования. **Интегративные** теории, главным образом, ориентированы на то, чтобы объяснить феномен государства как более высокую стадию экономической и общественной интеграции. При этом основное отличие государственности от предшествующих форм социально-политической организации заключается в том, что правитель вождества обладает лишь консенсуальной властью, т.е., по сути, авторитетом, тогда как в государстве правительство может осуществлять санкции с помощью легитимизированного насилия.

Однако как с позиций конфликтного подхода, так и с точки зрения подхода интегративного, Хуннская держава не может быть однозначно интерпретирована ни как вождество, ни как государство. Ее государственный характер («узаконенное насилие») ярко проявляется в отношениях с внешним миром (организация для изъятия прибавочного продукта у соседей; организация для сдерживания давления извне; специфический церемониал во внешнеполитических отношениях). Однако во внутренних отношениях кочевые «государства» (за исключением некоторых вполне объяснимых случаев) основаны на ненасильственных (консенсуальных и дарообменных) связях; правитель кочевого общества не обладает монополией на применение насилия. Такую форму общества (независимо от того, считать его государством или нет) мной сначала было предложено называть **экзополитарной** (от греч. *экс* – «вне» и *полития* – «общество», «государство»), а позднее – **ксенократической** (от греч. *ксено* – «наружу» и *кратос* – «власть») [Крадин 1992; 1995б; 1996 и др.].

Все это предопределило двойственную природу «степных империй». Снаружи они выглядели как деспотические завоевательные государственноподобные общества, так как были созданы для изъятия прибавочного продукта извне степи. Но изнутри «кочевые империи» оставались основанными на племенных связях без установления налогообложения и эксплуатации скотоводов. Сила власти правителя степного общества, как правило, основывалась не на возможности применить легитимное насилие, а на его умении организовывать военные по-

ходы и перераспределять доходы от торговли, дани и набегов на соседние страны.

Вне всякого сомнения, подобную политическую систему нельзя считать государством. Однако это не говорит о том, что такая структура управления была примитивной. Как показывают глубокие исследования специалистов в области истории античности, греческий и римский полис также не могут считаться государством. Государственность с присущей ей бюрократией появляется здесь достаточно поздно – в эпоху эллинистических государств и в императорский период истории Рима [Штаерман 1989; Berent 1994]. Однако как быть с Хуннской державой, каким понятием можно выразить сущность ее политической системы? Учитывая негосударственный характер последней, было предложено характеризовать империю Хунну, как и другие степные державы термином **суперсложные вождества** [Крадин 1992: 152; Трапавлов 1995; Скрынникова 1997].

Простые вождества представляют собой группу общин, иерархически подчиненную одному вождю. Сложные вождества – это иерархически организованная совокупность нескольких простых вождеств [Earle 1987; Johnson & Earle 1987; Earle 1991; Крадин 1995а и др.]. Однако суперсложное вождество – это не механическая группа сложных вождеств. Отличия здесь не количественного, а качественного характера. При простом объединении нескольких сложных вождеств в более крупные политии, последние без аппарата власти редко оказываются способными справиться с сепаратизмом субвождей. Принципиальным отличием суперсложных вождеств является появление механизма **наместников**, которых верховный вождь посыпал управлять региональными структурами. Это еще не аппарат власти, поскольку количество таких лиц невелико. В то же время, налицо появление важного структурного импульса к последующей политической интеграции (часть открытия этого механизма принадлежит Р. Карнейро [Carneiro 1992 и др.]; тем не менее, мне кажется, что в наиболее развитой форме он характерен больше для номадических, чем для оседло-земледельческих обществ).

Как было показано в предыдущих разделах данной главы, в Хуннской державе, начиная от уровня сегментов порядка «тьмы» и выше, включавших несколько племенных образований, административный и военный контроль вверялся специальному наместникам из ближайших родственников правителя степной империи и лично преданных ему лиц. Надплеменная власть сохранялась в силу того, что, с одной стороны, членство в «имперской конфедерации» обеспечивало племенам политическую независимость от соседей и ряд других важных выгод, а, с друг-

гой стороны, правитель кочевой державы и его окружение гарантировали племенам определенную внутреннюю автономию в рамках империи.

Суперсложные вождества в форме кочевых империй – уже реальные прообразы ранних государств. Подобные вождества имели сложную систему титулатуры вождей и администраторов, вели дипломатическую переписку с соседними странами, заключали династические браки с земледельческими государствами и соседними кочевыми империями. Для них были характерны зачатки урбанистического и монументального строительства и иногда даже письменность. С точки зрения соседей, такие кочевые общества воспринимались как самостоятельные субъекты международных политических отношений.

Могли ли вождества суперсложного типа создаваться оседлоzemледельческими народами? Известно, что численность населения сложных вождеств измеряется, как правило, десятками тысяч человек [см., например: Johnson & Earle 1987: 314] и они, как правило, этнически гомогенны. Население же полигэтничного суперсложного вождества составляет многие сотни тысяч человек и даже больше (кочевые империи Внутренней Азии – до 1–1,5 млн. чел.). Территория суперсложных вождеств кочевников была на несколько порядков раз больше площади, необходимой для существования простых и сложных вождеств земледельцев (для номадов более характерна такая плотность населения, которая у земледельцев чаще встречается в обществах неиерархических типов и в вождествах). В то же время на территории, сопоставимой размерами с любой кочевой империей, могло бы проживать в несколько раз больше земледельцев, которые вряд ли могли управляться негосударственными методами.

Управление таким большим пространством у кочевников облегчалось спецификой степных ландшафтов и наличием мобильных верховых животных. С другой стороны, всеобщая вооруженность кочевников, обусловленная отчасти их дисперсным (рассеянным) расселением, их мобильность, экономическая автаркичность, воинственный образ жизни на протяжении длительного исторического периода, а также ряд иных факторов, мешали установлению стабильного контроля над скотоводческими племенами и отдельными номадами со стороны высших уровней власти кочевых обществ. Все это дает основание предположить, что суперсложное вождество если и не являлось формой политической организации, характерной исключительно для кочевников, то, во всяком случае, именно у номадов получило наибольшее распространение в виде как могущественных «кочевых империй», так и по-

добных им «квазиимперских» ксенократических политий меньшего размера.

Сложность интерпретации кочевых империй в рамках универсального понятийного аппарата, возможно, отражает неприменимость понятийного аппарата, разработанного на материалах оседлых обществ, к истории кочевников–скотоводов. По всей видимости, это осознавалось исследователями, которые предлагали для описания кочевников использовать понятие **номадный способ производства** [Марков 1967 и др.]. Однако проблема специфики способа производства у кочевников – чисто марксистская проблема (ведь речь идет о **способе производства**), поэтому я не считаю возможным здесь специально на ней останавливаться. Тем более, что этот вопрос был рассмотрен ранее [Крадин 1992: 188–189]. В то же время, с моей точки зрения, концепция «номадного» способа производства недостаточно продуктивна и с эвристической точки зрения. Если придерживаться этой концепции, то получается, что между всеми обществами кочевников в уровне общественного развития нет никакой особенной разницы.

Как пишет Г.Е. Марков, даже в условиях милитаризации «общинно-кочевого» состояния номадизма и создания кочевых империй «временная замена его централизованной организацией при сохранении скотоводческого базиса принципиально ничего не меняла» [1989: 70]. Вне всякого сомнения, он прав, говоря о том, что после распада степных империй или подобных им объединений кочевников номады возвращались к более привычному племенному состоянию. Однако я не могу согласиться с Г.Е. Марковым в том, что переход к «военно-кочевому» состоянию «принципиально ничего не менял». Африканские нуэры, например, жили и живут отдельными эгалитарными общинами и кланами, объединенными только запутанными генеалогическими родственными связями [Эванс-Причард 1985], у туарегов существовала развитая внутренняя имущественная и социальная стратификация, они образовывали племенные конфедерации и вождества численностью в несколько десятков тысяч человек [Лот 1989], а хунну, тюрки, монголы объединяли в единые «степные империи» многие сотни тысяч (до миллиона и даже более) кочевников.

Думается, что отличия в сложности социально-политической системы между нуэрами и динка, с одной стороны, и хуннами и монголами – с другой, столь же велики, сколь велика, например, разница в уровне общественного развития между охотниками-собирателями и императорским Римом. По этой причине особенности социальной эволюции древних и средневековых кочевников Евразии более продуктив-

но анализировать через разработку категории **кочевая империя** [Крадин 1992: 166–178]. Кочевые империи были самыми крупными политическими образованиями скотоводов Евразии, представлявшими кульминацию истории Великой степи. Они существовали длительный исторический период начиная с «осевого времени» (середина I тыс. до н.э.) и вплоть до начала складывания капиталистической «мир-системы» (XVI в.). Кочевая империя – это сложное общество, организованное по военно-иерархическому признаку, занимающее относительно большое пространство и получающее необходимые нескотоводческие ресурсы, как правило, посредством внешней эксплуатации (грабежей, войн и контрибуций, вымогания «подарков», неэквивалентной торговли, данничества и т.д.).

Кочевым империям был присущ ряд признаков, которые отличали их и от восточных деспотий, и от феодальных королевств, и от иных доиндустриальных политических форм: 1) многоступенчатый иерархический характер социальной организации, пронизанной на всех уровнях племенными и надплеменными генеалогическими связями; 2) дуальный (на левое и правое крылья) или триадный (на крылья и центр) принцип административного деления степной империи; 3) военно-иерархический характер общественной организации «метрополии», чаще всего по «десятичному» принципу; 4) ямская служба как специфический способ организации административной инфраструктуры, придуманный прежде всего мобильными кочевниками–скотоводами; 5) специфическая система наследования власти (империя – достояние всего ханского рода, институт **соправительства** главного хана в одном крыле и его заместителя в другом, особая форма выбора наследника престола на *курултае*); 6) особый характер отношений с земледельческим миром.

Выделяются три модели кочевых империй: **типичная, данническая, завоевательная**. В первом случае кочевники и земледельцы сосуществуют на расстоянии, благополучие степной империи поддерживается посредством **дистанционной** эксплуатации: набегов, вымогания «подарков» и т.п. (хунну, сяньби, тюрки, уйгуры и пр.); во втором – земледельцы подчинены кочевникам, кочевая империя существует за счет взимания **дани** (Золотая Орда, Юань и пр.); в третьем случаеnomады завоевывают земледельческое общество и переселяются на его территорию, на смену грабежам и данничеству постепенно приходит регулярное **налогообложение** земледельцев и горожан (Северная Вэй, государство ильханов и пр.) [Крадин 1992].

Хуннская держава представляла собой классический вариант **типичной** кочевой империи. Это был первый в истории Центральной

Азии образец *Pax Nomadica*. Хунну не были столь дикими и неотесанными «варварами», как их обычно представляют китайские летописцы. Многие из структурных черт хуннского общества можно проследить в социальном устройстве всех последующих «степных империй» Евразии. Возможно, это позволит несколько иначе представить особенности социальной эволюции кочевников–скотоводов, а также специфику их взаимоотношений с земледельческими цивилизациями Старого Света.

ЛИТЕРАТУРА:

- Бернхитам А.Н.* Очерк истории гуннов. Л., 1951.
- Васютин С.А.* Социальная организация кочевников Евразии в отечественной археологии: Автореф. дис. ...канд. ист. наук. Барнаул, 1998.
- Годинер Э.С.* Политическая антропология о происхождении государства // Этнологическая наука за рубежом: проблемы, поиски, решения. М., 1991. С.51-77.
- Гумилев Л.Н.* Хунну. М., 1960.
- Давыдова А.В.* Об общественном строе хунну // Первобытная археология Сибири. Л., 1975. С. 141-145.
- Давыдова А.В.* Иволгинский комплекс (городище и могильник) – памятник хунну в Забайкалье. Л., 1985.
- Давыдова А.В.* Иволгинский археологический комплекс. СПб., 1995. Т. 1: Иволгинское городище.
- Давыдова А.В.* Иволгинский археологический комплекс. СПб., 1996. Т. 2: Иволгинский могильник.
- Доржсурэн Ц.* Умард хунну (Северные хунну). Улан-Баатар, 1961 (на монг. яз.).
- Иванов И.В., Васильев И.Б.* Человек, природа и почвы Рын-песков Волго-Уральского междуречья в голоцене. М., 1995.
- Коган Л.С.* Проблемы социально-экономического строя кочевых обществ в историко-экономической литературе (на примере дореволюционного Казахстана): Автореф. дисс. ...канд. экон. наук. М., 1981.
- Коновалов П.Б.* Хунну в Забайкалье. Улан-Удэ., 1976.
- Крадин Н.Н.* Кочевые общества. Владивосток, 1992.
- Крадин Н.Н.* Вождество: современное состояние и проблемы изучения // Ранние формы политической организации. М., 1995(а). С. 11-61.
- Крадин Н.Н.* Кочевничество в цивилизационном и формационном развитии // Цивилизации. М., 1995(б). Вып. 3. С. 164-177.

- Крадин Н.Н.* Империя Хунну. Владивосток, 1996.
- Лидай 1958: Лидай гэцзу чжуань цзихуй лянь (Собрание исторических описаний различных народов). Т.1. Пекин (на кит. яз.).
- Лот А.* Туареги Ахаггара. М., 1989.
- Марков Г.Е.* Кочевники Азии (хозяйственная и общественная структура скотоводческих народов Азии в эпохи возникновения, расцвета и заката кочевничества): Автореф. дис. ...д-ра ист. наук. М., 1967.
- Марков Г.Е.* 1989. Теоретические проблемыnomадизма в советской этнографической литературе // Историография этнографического изучения народов СССР и зарубежных стран. М., 1989. С. 54-75.
- Марков Г.Е.* Из истории изучения nomадизма в отечественной литературе: вопросы теории // Восток. 1998, № 6. С. 110-123.
- Масанов Н.Э.* Кочевая цивилизация казахов. Алматы – М., 1995.
- Материалы по истории сюнну. Введ., перевод и comment. В.С. Таскина. М., 1968. Вып. 1.
- Материалы по истории сюнну. Введ., перевод и comment. В.С. Таскина. М., 1973. Вып. 2.
- Ма Чанишоу.* Бэй ди юй сюнну (Северные ди и хунну). Пекин, 1962 (на кит. яз.).
- Миняев С.С.* «Социальная планиграфия» погребальных памятников сюнну // Проблемы археологии скифо-сибирского мира (социальная структура и общественные отношения). Тезисы. Кемерово, 1989. Ч. 1. С. 114-117.
- Павленко Ю.В.* Раннеклассовые общества. Киев, 1989.
- Першиц А.И.* Некоторые особенности классообразования и раннеклассовых отношений у кочевников-скотоводов // Становление классов и государства. М., 1976. С. 280-313.
- Попов А.В.* Теория «кочевого феодализма» академика Б.Я. Владимирцова и современная дискуссия об общественном строе кочевников // Mongolica. Памяти академика Б.Я.Владимирцова 1884-1931. М., 1986. С. 183-193.
- Руденко С.И.* Культура хуннов и иониулинские курганы. М. – Л., 1962.
- Скрынникова Т.Д.* Харизма и власть в эпоху Чингис-хана. М., 1997.
- Сухбаатар Г.* Хунну нарын аж ахуй, нийгмийн байгуулал, соёл, угсаа гарал (м. э. ё. IV – м. э. II зуун) (Хозяйство, общественный строй, культура, этническое происхождение гуннов (IV в. до н. э. – II в. н. э.)). Улан-Батор, 1980 (на монг. яз.).

- Трапавлов В.В.* Ногайская альтернатива: от государства к вождеству и обратно // Альтернативные пути к ранней государственности. Владивосток, 1995. С. 199-208.
- Тянь Гуанцзинь, Го Сусинь.* Нэй Мэнгу Алучжайдэн фасяньды сюнну му (Хуннские вещи, найденные в Алучжайдэн, Внутренняя Монголия) // Каогу. 1980, № 4. С. 333-338 (на кит. яз.).
- Тянь Гуанцзинь, Го Сусинь.* Сигоупань сюнну му фаньиньды чжу вэнъти (Проблемы, связанные с хуннским могильником Сигоупань). Вэньь. 1980, № 7. С. 13-17 (на кит. яз.).
- Хазанов А.М.* «Военная демократия» и эпоха классообразования // Вопросы истории. 1968, № 12. С. 87-97.
- Хазанов А.М.* Социальная история скифов. М., 1975..
- Халиль Исмаил.* Исследование хозяйства и общественных отношений кочевников Азии (включая Южную Сибирь) в советской литературе 50-80 гг.: Автореф. дис. ...канд. ист. наук. М., 1983.
- Цэвэндорж Д.* Новые данные по археологии хунну (по материалам раскопок 1972-1977 гг.) // Древние культуры Монголии. Новосибирск, 1985. С. 51-87.
- Штаерман Е.М.* К проблеме возникновения государства в Риме // Вестник древней истории. 1989, № 2. С. 76–94.
- Эгами Намио.* Юрасиа кода хонпо бунка (кёдо бунка ронко) (Северная культура в древней Евразии (очерк культуры сюнну)). Киото, 1948 (на яп. яз.).
- Эванс-Причард Э.* Нуэры. М., 1985.
- Barfield T.* The Hsiung-nu Imperial Confederacy: Organization and Foreign Policy // Journal of Asian Studies. 1981. Vol. 41, № 1. P. 45-61.
- Barfield T.* The Perilous Frontier: Nomadic Empires and China, 221 BC to AD 1757. Cambridge, 1982.
- Berent M.* Stateless Polis. Unpublished PhD thesis. Cambridge, 1994.
- Carneiro R.* The Calusa and the Powhatan, Native Chiefdoms of North America // Reviews in Anthropology. 1992. Vol. 21. P. 27-38.
- Claessen H.J.M. and Skalnik P.* (eds.). The Early State. The Hague, 1978.
- Claessen H.J.M. and Skalnik P.* (eds.). The Study of the State. The Hague etc., 1981.
- Cohen R., and Service E.* (eds.). The Origin of the State. Philadelphia, 1978.
- Earle T.* Chiefdoms in Archaeological and Ethnohistorical Perspective // Annual Review of Anthropology. 1987. Vol. 16. P. 279-308.
- Earle T.* (ed.). Chiefdoms: Power, Economy, and Ideology. Cambridge etc., 1991.

- Fletcher J.* The Mongols: Ecological and Social Perspectives // Harvard Journal of Asiatic Studies. 1986. Vol. 46, № 1. P. 11-50.
- Fried M.* The Evolution of Political Society: An Essay in Political Anthropology. New York, 1967.
- Gailey C., and Patterson T.* (eds.). Power Relations and State Formation. Washington, 1988.
- de Groot* (ubrsz.). Chinesische Uhrkunden zur Geschichte Asiens. Die Hunnen der vorchristlichen Zeit. Berlin – Leipzig, 1921. Bd. 1.
- Haas J.* The Evolution of the Prehistoric State. New York, 1981.
- Irons W.* Political Stratification Among Pastoral Nomads. Pastoral Production and Society. Cambridge, 1979..
- Johnson A.W., and Earle T.* The Evolution of Human Societies: From Foraging Groups to Agrarian State. Stanford, 1987.
- Khazanov A.M.* Nomads and the Outside World. Cambridge, 1984.
- Krader L.* Social Organization of the Mongol-Turkic Pastoral Nomads. The Hague, 1963.
- Lattimore O.* Inner Asian Frontiers of China. New York – London, 1940..
- Service E.* Origins of the State and Civilization. New York, 1975.
- Watson B.* Records of the Grand Historian of China from the Shih Chi of Ssu-ma Ch'en / Transl. by B. Watson. New York, 1961. Vol. 1-2.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Д. М. Бондаренко, А. В. Коротаев

В данной работе мы предприняли попытку показать, что общества с в принципе одинаковым уровнем социокультурной сложности могут быть организованы как иерархически, так и неиерархически. Этот постулат был подтвержден на материалах Гавайских островов, средневекового Бенина и майя классического периода, с одной стороны, и ирокезов, берберов, средневековой Аравии и древней Греции – с другой. Таким образом, необходимо еще раз отметить, что иерархические общества не следует априори рассматривать как более высоко организованные, чем неиерархические с точки зрения достигнутых ими уровней социокультурной сложности. В самом деле, есть ли хоть какие-то основания полагать, что, например, культура классической Греции была менее развитой, нежели культура гавайцев накануне их первых контактов с европейцами?

В то же время, хотя иерархические и неиерархические (демократические) общества находятся на существенно различных путях эволюции, переход конкретного общества с одного из них на другой вполне возможен. В истории такой переход осуществлялся не только с неиерархического пути на иерархический (в частности, в случае с хунну), но и наоборот, с иерархического на неиерархический, как это произошло в Риме, когда была установлена республика и под давлением плебса осуществилась демократизация общественно-политического строя. В подобных случаях базовый принцип организации социума меняется, но общий уровень его социокультурной сложности может не только повыситься или упасть, но и остаться практически прежним.

Таким образом, во всемирно-историческом контексте иерархический и неиерархический пути эволюции одинаково важны и магистральны. Хотя с переходом от простых обществ к социумам среднего уровня сложности действительно наблюдается явная тенденция к замещению неиерархических структур иерархическими (т.е. к переходу от добровольных объединений демократически организованных общин к более жестким и авторитарным вождествам [см., например: Carneiro 1998]), неиерархические общественно-политические системы, как кажется, не исчезают полностью ни на одном из уровней социокультурной сложности. Более того, адекватное понимание истории человечества

представляется невозможным без учета неиерархических альтернатив социальной эволюции.

Мы стремились продемонстрировать в данной работе, сколь велика роль культуры в определении эволюционного пути того или иного общества на протяжении его истории. Естественно, как было подчеркнуто во Введении, мы не рассматриваем культуру как единственный фактор, важный для понимания этого процесса. Более того, мы полностью сознаем, что сама культура есть результат воздействия множества причин (экологических, социальных и т.д.), которые по-разному проявляются в различных природных и исторических условиях. Однако мы также убеждены, что фактор культуры не должен редуцироваться до того, что в целом принято называть «идеологией», хотя бы потому, что культура является предпосылкой формирования параметров социально-политической организации общества, тогда как идеология по своей сути – их производная.

Общий тип культуры оказывает решающее влияние на характер политической культуры данного общества. В свою очередь, политическая культура определяет представления его членов об идеальной модели социальных отношений и политической организации, и эта модель, соответственно, может варьировать от культуры к культуре. Так, политическая культура закладывает основы характера, типа, форм политогенеза, направляет политогенетический процесс по либо иерархическому, либо неиерархическому пути эволюции.

Как было показано в главе М.Л. Бутовской, не только у людей, но и вообще у приматов «существует определенная позитивная корреляция между жесткостью отношений доминирования и непотизмом»; в сообществах приматов «с более деспотическим стилем доминирования родственные связи сильнее». Вероятно, здесь мы имеем дело с достаточно устойчивой моделью, которую можно обнаружить и в человеческих обществах. Например, эгалитарные бушмены вполне резонно могут быть противопоставлены по этому признаку неэгалитарнымaborигенам Австралии [Артемова, в настоящем издании]Более того, эта модель, как представляется, находит воплощение и в более сложноорганизованных обществах [см.: Бондаренко 1997: 13–14; 1998: 198–199; Bondarenko 1998: 98; 2000; Бондаренко и Коротаев 1998; 1999; Bondarenko & Korotayev 1999; 2000]. Однако в таких социумах связь между силой связей по родству и иерархичностью социально-политической организации гораздо более сложная. «Ориентированность на родство» (как и ее противоположность), как правило, институализируется и санкционируется обширным сводом культурных норм, мифов,

верований и традиций, которые, в свою очередь, оказывают значительное влияние на ход процесса политогенеза.

Например, в Бенине родственные отношения изначально доминировали на субстратном уровне социальной организации. В политической сфере это обстоятельство проявлялось в геронтократическом принципе обретения и передачи власти. Такое положение санкционировалось и легитимизировалось культом предков, который лежал в основе всего мировоззрения бини и, в частности, ориентировал людей на иерархический характер общественно-политических отношений как на единственно правильный, естественный. Даже когда общество бини достигло уровня сложности, сопоставимого с присущим большинству доиндустриальных государств, оно по-прежнему, пусть и в модифицированных формах, основывалось на родственных связях на всех «этажах» социально-политической организации. Культ предков, один из неустранимых краеугольных камней системы ценностей бини, составил фундамент идеологии их сложного общества и, таким образом, в непосредственной взаимосвязи с первостепенной важностью родственной организации на всех уровнях, обусловил иерархический характер социально-политической организации бенинского «королевства». Примечательно, что сила родственных связей отличала социально-политические системы и всех других иерархических обществ, рассмотренных в данной работе, – австралийских аборигенов, гавайцев, майя, римлян дореспубликанской эпохи и хунну.

Нетрудно заметить, что ситуация, описанная выше, резко контрастирует с той, что сложилась в демократическом полисе классической Греции, образовавшемся на базе общин с достаточно слабыми родственными связями внутри них (Берент, в настоящем издании). Суть дела в том, что родственные отношения иерархичны по самой своей природе, безусловно предполагая разделение на старших и младших, мужчин и женщин. Ослабление родственных связей стимулирует людей к тому, чтобы, с одной стороны, полагаться на свои собственные силы, а с другой стороны, расширять сферу социального общения, при этом относясь к другим людям, имеющим тот же статус в пределах данного общества, как к равным себе. Все это ведет к индивидуализации и рационализации не только общественных отношений, но и менталитета, культуры. Одним из последствий подобных индивидуализации и рационализации, в частности, оказывается появление права и систем судопроизводства, предполагающих и утверждающих равенство прав граждан [Дождев 1990; 1993: 170–179].

Таким образом, не кажется простым совпадением то обстоятельство, что в древнем Риме развитие демократической гражданской общины (*civitas*) сопровождалось ослаблением родственных связей [Дождев, в настоящем издании], или то, что эгалитаризации общин на северо-востоке Йемена в средние века сопутствовали дезинтеграция систем родственной взаимопомощи и переход от родовой собственности на землю к индивидуальной [Коротаев, в настоящем издании]. Так же обращает на себя внимание, что социально-политическая организация североафриканских горцев, обитающих в сходной с нагорным Йеменом природной среде, но обладающих гораздо более сильной и жесткой родственной организацией, характеризуется заметно меньшей степенью эгалитарности [Бобровников, в настоящем издании]. Может показаться, что пример ирокезов, чье общество отличалось как эгалитарностью политической организации, так и относительной силой родственных связей (Воробьев, в настоящем издании), противоречит вышесказанному. Однако в данном случае следует обратить внимание на своеобразие родственной организации ирокезов, характеризовавшейся матрилинейностью и матрилокальностью: как отметил Дивэйл [Divale 1974: 75], матрилокальность поселения приводит к разобщению мужчин, которые должны были бы образовывать корпоративные группы братьев. Это обстоятельство значительно снижает уровень вооруженного насилия внутри социума, что, в свою очередь, создает возможности для успешного функционирования большого неиерархического политического образования при отсутствии каких бы то ни было жестких надобщинных структур.

Нам трудно представить, что все это является простым совпадением. Здесь обращает на себя внимание то обстоятельство, что развитию современной демократии в Европе также предшествовало значительное ослабление родственных связей, проявившееся прежде всего в практически полном исчезновении родовой организации в регионе (в то время, как она сохранилась вплоть до эпохи модернизации, а зачастую и до наших дней, в большинстве неевропейских культур Старого Света). В одной из наших предыдущих работ [Коротаев & Тsereteli 2000] мы показали, что присутствие родовой организации отрицательно коррелирует с наличием общинной демократии, и эта корреляция особенно сильна именно для сложных традиционных обществ ($\phi = -0.5$; $\gamma = -0.84$). С другой стороны, нами было выявлено существование положительной связи между степенью демократичности общинной и надобщинной организации [Коротаев & Бондаренко 2000] и то, что присутствие родовой организации в традиционных культурах демонстрирует

очень сильную статистически значимую отрицательную корреляцию с христианизацией. Хотя традиционно рассматриваемые факторы разложения родовой организации на первый взгляд выглядят статистически значимыми, сила их оказывается заметно меньшей ($\rho = -0.26$ для государственности; $\rho = -0.18$ для классовой стратификации and $\rho = -0.28$ для развития товарно-денежных отношений), чем для фактора христианизации ($\varphi = \rho = -0.7$) [Korotayev & Tsereteli 2000]. Это заставляет предположить, что христианизация Европы, сыграв важную роль в разрушении родовой организации, могла тем самым способствовать становлению на континенте современной демократии.

Демократизирующее влияние христианства на социально-политические отношения вновь проявилось во времена Ренессанса и Реформации. Между прочим, процесс демократизации в дохристианской Европе, в Греции и Риме, также был тесно связан с определенными изменениями в духовной сфере и в мировидении людей, нашедшими наиболее яркое и полное выражение в классической античной мифологии. Неслучайно сложившись на заре демократии (в эпоху архаики в Греции и в ранний период существования республики в Риме), античная мифология способствовала рационализации и индивидуализации (некоторые авторы даже говорят о «секуляризации») массового сознания, приведшим к деиерархизации социально-политических систем греков и римлян [Vernant 1974; 1985; Зайцев 1985; Штаерман 1985: 22–48]. Члены других демократических обществ нашей выборки – ирокезы и юменские горцы – также имели мифологические (или квазимифологические) системы, обуславливавшие демократический характер их политической культуры и политического поведения [Фентон 1978: 109–123; Dresch 1989].

Очевидно, что общий тип культуры глубинно связан с соответствующим типом модальной личности. С другой стороны, в рамках подхода к понятию «цивилизация», обозначенного нами во Введении, модальные типы личности соответствуют различным цивилизациям, определяют их границы и общекультурный облик, в том числе, в сфере политической культуры и политических институтов. Таким образом, по нашему убеждению, можно выделять цивилизационные модели политогенеза. Таких моделей – множество, но, в конечном счете, все они могут быть отнесены либо к иерархической, либо к неиерархической группе путей эволюции.

Фундаментальные характеристики модальных типов личности передаются от поколения к поколению посредством социализационных практик, которые соответствуют системе ценностей принятой в данном

обществе. Это определяет ту важную роль, которую изучение социализационных практик может сыграть в углублении нашего понимания того, как культура детерминирует политогенетические процессы. Конечно, можно возразить, что, наоборот, процессы социально-политической эволюции определяют изменения в социализационных практиках. Тем не менее, представляется возможным показать на ряде примеров, что дело могло обстоять и противоположным образом.

Например, в одной из своих предыдущих работ [Korotayev & Bondarenko 2000] нами была выявлена а статистически значимая отрицательная корреляция между полигинией и демократией, как на общинном, так и на надобщинном уровне. Чем может объясняться отрицательная корреляция между полигинией и общинной демократией? На первый взгляд, логичным кажется рассматривать общинную демократию как факторную (независимую) переменную, а полигинию – как результатирующую (зависимую). Представляется вполне естественным, что в недемократических общинах представители элиты будут использовать свою монополию на властные ресурсы для увеличения числа своих жен; следовательно, полигиния выглядит не более чем еще одним проявлением недемократичности соответствующих общин.

Однако существуют факты, заставляющие усомниться в справедливости подобной интерпретации. Прежде всего, это данные по околосредиземноморскому региону, включающему в себя Европу, Западную Азию и Северную Африку. Этот регион можно легко разделить на две части – христианскую и исламскую. Дело в том, что общинные элиты в христианской части околосредиземноморского региона не обладали никакой возможностью иметь более одной жены, так как это было строжайше запрещено христианской церковью [см., например, Goody 1983: 44–46; Херлихи 1993]*. Тем не менее, в этом регионе отрицатель-

* Даже в исламских странах христианская церковь строго требовала безусловного соблюдения моногамии в общинах своих приверженцев: «Мусульман... поражало... то, что рабыни в христианских и иудейских домах не были в распоряжении хозяина дома так же, как и наложницы. Происходило это по той причине, что законы христианства... рассматривали связь мужчины со своей рабыней как разврат, который он должен был искупить церковным покаянием» [Мец 1996: 159]. Конечно, в христианских государствах Церковь имела больше возможностей для насаждения предельно строгой моногамии среди всего населения, включая и его высшие слои. Несомненно, здесь на ум практически неизбежно приходит, по всей видимости, противоречащийказанному случаю полигинных мормонов. Вместе с тем, необходимо отметить, что «мормонская церковь официально упразднила полигамию... (в 1890 г. – Д.Б., А.К.) после того, как она была запрещена законом Юты согласно требованию Конгресса, выдвинутому им в качестве условия получения территории статуса штата. Ныне за многоженство полагается отлучение от церкви» [Johnson 1992: 129].

ная связь между полигинией и общинной демократией проявляется столь же четко, сколь и во всех остальных макрорегионах мира [Korotayev & Bondarenko 2000].

Следовательно, есть основания полагать, что моногамия вполне могла являться одним из факторов, а не результатом развития общинной демократии.

В чем может заключаться причина демократизирующего влияния моногамии? Представляется возможным связать это влияние именно с отличием социализационных практик в моногамных семьях в сравнении с полигамными. «Антидемократическое» влияние полигинии может быть связано, в числе прочего, с хорошо известным в науке фактом о «отсутствии отца» [Burton & Whiting 1961; Bacon, Child & Barry 1963; Whiting 1965; Munroe, Munroe & Whiting 1981; Кон 1987: 32–33 и др.]. Вышеупомянутые исследователи показали, что у мальчиков, воспитывающихся в преимущественно женском окружении, наблюдается тенденция к развитию личностных характеристик, ориентирующих на агрессивно-доминирующее поведение. Важный вклад в изучение этой проблемы принадлежит Ронеру [Rohner 1975], показавшему, что развитие данного типа личности жестко коррелирует с низким уровнем родительского тепла (*parental warmth*). При этом такое положение наиболее типично именно для полигинных семей (в особенности несопоральных), которым присуща низкая степень кооперации между женами. В результате, жены одного мужа слишком часто остаются один на один со своими детьми, без надежды на чью-либо поддержку. Хорошо известно, что подобная ситуация ведет к снижению уровня родительского тепла и эмоциональной поддержки и к более жестокому наказанию детей [Whiting 1960; Minturn & Lambert 1964; Rohner 1975; Levinson 1979], что в тенденции ведет к развитию личности, ориентированной на агрессивное доминирование. Следует полагать, что такой тип модальной личности во многом обуславливает превалирование в обществе недемократических структур и институтов власти. Осуществленное нами количественное кросс-культурное тестирование данной гипотезы подтвердило ее верность [Korotayev & Bondarenko 2000].

Здесь мы подходим к наиболее сложной проблеме – проблеме причинности. Действительно ли строгий запрет полигинии христианской церковью может рассматриваться в качестве одной из причин генезиса современной демократии в Европе? С одной стороны, переход от всеобщей к единичной полигинии среди служителей земледельцев мог быть, по-видимому, вызван преимущественно экономическими причинами [Burton & Reitz 1981; White 1988; White & Burton 1988], ибо служ-

ное земледелие (где решающая роль в производстве средств к существованию принадлежит мужчине) делает полигинию практически невозможной для большинства земледельцев. Однако это не может служить объяснением полного запрещения полигинии для *всех*, включая и представителей высших слоев общества (которые всегда сохраняли экономические возможности содержать более одной жены). Следовательно, полное отсутствие полигинии в христианской части околосредиземноморского региона (но не в его исламской части^{*}) едва ли может быть объяснено чем бы то ни было, кроме строгого запрещения полигинии христианской церковью. Хотя некоторые нормативные акты, устанавливавшие строгую моногамию, были приняты Церковью еще в римскую эпоху, даже в XII в., когда брак был провозглашен таинством, Церковь была вынуждена вести ожесточенную борьбу с проявлениями полигамии в среде как элиты, так и простолюдинов, например, во Франции. А борьба за соблюдение христианских семейно-брачных норм в среде рыцарства продолжалась даже в XIII в. [Бессмертный 1989].

Конечно, трудно признать случайным то обстоятельство, что в рамках двух религий, строго запрещающих полигинию (классического иудаизма и христианства) соответствующие нормы восходят к I тыс. до н.э., когда они выработались в обществе племенных земледельцев Палестины прежде всего благодаря деятельности независимых (внекхрамовых) пророков, выходцев преимущественно из незлитаенных слоев. Их деятельность, судя по всему, способствовала распространению норм моногамного брака (реально уже существовавших среди простонародья) на высшие слои общества [см., например, История древнего мира 1983].

Несомненно, когда в IV в. н.э. христианская церковь насаждала нормы, превращавшие малую моногамную семью в преобладающую форму семейно-брачных отношений (т.е. запрещавшие близкородственные браки, усыновление и удочерение, полигинию, сожительство, развод и повторный брак), она никоим образом не пыталась внести свой вклад в развитие современной демократии в Западной Европе тысячеле-

* Примечательно, что полное отсутствие полигамии обнаруживается в христианских обществах, соседствующих с практикующими полигамию (по крайней мере, единичную) исламскими, существующими в абсолютно сходных экономических и экологических условиях (например, ср. черногорцев [Jelavic 1983: 81–97; Fine 1987: 529–536] и горных албанцев [Pisko 1896; Durham 1909; 1928; Coon 1950; Hasluck 1954; Jelavic 1983: 78–86; Fine 1987: 49–54, 599–604 и др.]).

* Возможно, неслучайно и то, что Пророк ислама Мухаммед (чей социальный статус изменился в течение его жизни от среднего к высшему) узаконил полигинию.

тием позже. Как предположил Дж. Гуди [Goody 1983: 44–46]. Церковь при этом стремилась прежде всего к получению собственности брачных пар, не оставлявших после себя законных наследников мужского пола. Однако непредвиденным последствием этих действий явилось образование сравнительно гомогенного макрорегиона распространения малых моногамных семей.^{**} В этой связи нам представляется неслучайным, что несколько столетий спустя здесь существовали преимущественно демократические общины [История крестьянства в Европе 1985–1987]. И вряд ли могло быть простым совпадением то, что именно в этом макрорегионе в дальнейшем зародилась современная демократия.^{***}

Изучение роли социализационных практик в культурном детерминировании политогенетических процессов будет темой одного из следующих томов серии, начатой данным изданием. Необходимость появления такого исследования особенно очевидна с учетом того факта, что эта роль до сих пор не получила должного освещения в научной литературе.

ЛИТЕРАТУРА:

- Бессмертный Ю.Л.* К изучению матримонального поведения во Франции XII–XIII веков // Одиссей. Человек в истории, 1989. М., 1989. С. 98–113.
- Бондаренко Д.М.* Теория цивилизаций и динамика исторического процесса в доколониальной Тропической Африке. М., 1997.
- Бондаренко Д.М.* Многолинейность социальной эволюции и альтернативы государству // Восток. 1998, № 1. С. 195–202.
- Бондаренко Д.М., Коротаев А.В.* Политогенез и общие проблемы теории социальной эволюции («гомологические ряды» и нелинейность) // Социальная антропология на пороге XXI века М., 1998. С. 134–137

^{**} Конечно, греки и римляне были моногамными задолго до христианизации. Вместе с тем, до принятия христианства полигиния была распространена (по крайней мере, у элиты) среди германцев, кельтов, славян, венгров (Херлихи 1993: 41). Таким образом, формирования сплошной зоны моногамии в Европе едва ли может объясняться чем-то кроме христианизации этого региона.

^{***} Это обстоятельство, по-видимому, может пролить дополнительный свет на характер причинно-следственной связи между общинной и надобщинной демократией. В этом отношении крайне важным представляется тот факт, что развитие общинной демократии на много веков опередило процесс демократизации надобщинных политических структур.

- Бондаренко Д.М., Коротаев А.В.* Политогенез, «гомологические ряды» и нелинейные модели социальной эволюции // Общественные науки и современность. 1999, № 5. С. 129–140.
- Дождев Д.В.* Индивидуализм правосознания в архаическом Риме // Стили мышления и поведения в истории мировой культуры. М., 1990. С. 102–119.
- Дождев Д.В.* Римское архаическое наследственное право. М., 1993.
- Зайцев А.И.* Культурный переворот в древней Греции VIII–V вв. до н.э. Л., 1985.
- История древнего мира / Под ред. И.М. Дьяконова, В.Д. Нероновой и В.А. Якобсона. М., 1983. Т. 2.
- Кон И.С.* Материнство и отцовство в историко-этнографической перспективе // Советская этнография. 1987, № 6. С. 26–37.
- Мец А.* Мусульманский ренессанс. М., 1996.
- История крестьянства в Европе / Под ред З.В. Уdal'цовой. М., 1985–1987. Т.1-3.
- Фентон У.Н.* Ирокезы в истории // Североамериканские индейцы. М., 1978. С. 109–156.
- Херлихи Д.* Биология и история: к постановке проблемы // Цивилизации. Вып. 2. М., 1993. С. 34–44.
- Штаерман Е.М.* От гражданина к подданному // Культура древнего Рима. Т. 1. М., 1985. С. 22–105.
- Bacon M.K., Child I.L., & Barry III, H.* A Cross-Cultural Study of Correlates of Crime // Journal of Abnormal and Social Psychology. 1966. Vol. 66. P. 291–300.
- Bondarenko D.M.* «Homologous Series» of Social Evolution // Sociobiology of Ritual and Group Identity: A Homology of Animal and Human Behaviour. Concepts of Humans and Behaviour Patterns in the Cultures of the East and the West: Interdisciplinary Approach. Moscow, 1998. P. 98–99.
- Bondarenko D.M.* «Homologous Series» of Social Evolution and Alternatives to the State in World History (An Introduction) // Alternatives of Social Evolution. Vladivostok, 2000. P. 213–220.
- Bondarenko D.M. & Korotayev A.V.* Family Structures and Community Organization: A Cross-Cultural Comparison. // Annual Meetings. The Society for Cross-Cultural Research (SCCR), The Association for the Study of Play (TASP). February 3–7, 1999. Santa Fe, New Mexico. Program and Abstracts. Santa Fe, 1999. P. 14

- Bondarenko D.M. & Korotayev A.V.* Family Size and Community Organization: A Cross-Cultural Comparison // Cross-Cultural Research. 2000. Vol. 34. P. 152-189.
- Burton M.L. & Reitz K.* The Plow, Female contribution to Agricultural Subsistence and Polygyny: A Long-Linear Analysis // Behavior Science Research. 1981. Vol. 16. P. 275–306.
- Burton R.V. & Whiting J.W.M.* (1961). The Absent Father and Cross-Sex Identity // Merrill-Palmer Quarterly of Behavior and Development. 1961. Vol. 7. P. 85–95.
- Carneiro R.L.* What Happened at the Flashpoint? Conjectures on Chiefdom Formation at the Very Moment of Conception // Chiefdoms and Chieftaincy in the Americas. Gainesville etc., 1998. P. 18-42.
- Coon C.S.* The Mountains of Giants: A Racial and Cultural Study of the North Albanian Mountain Ghogs // Papers of the Peabody Museum of Archaeology and Ethnology, Harvard University. 1950. Vol. 23. P. 1–105.
- Divale W.T.* Migration, External Warfare, and Matrilocal Residence // Behavior Science Research. 1974. Vol. 9. P. 75–133.
- Dresch P.* Tribes, Government, and History in Yemen. Oxford, 1989.
- Durham M.E.* High Albania. London, 1909.
- Durham M.E.* Some Tribal Origins, Laws and Customs of the Balkans. London, 1928.
- Fine J.V.A.* The Late Medieval Balkans. A Critical Survey from the Late Twelfth Century to the Ottoman Conquest. Ann Arbor, 1987
- Goody J.* The Development of the Family and Marriage in Europe. Cambridge, 1983.
- Hasluck M.* The Unwritten Law in Albania. Cambridge, 1954.
- Jelavic B.* History of Balkans. Cambridge etc, 1983. Vol. 1.
- Johnson D.* Polygamists Emerge from Secrecy, Seeking Not Just Peace but Respect // Talking about People. Readings in Contemporary Cultural Anthropology. London; Toronto, 1992. P. 129-131.
- Korotayev A.V. & Bondarenko D.M.* Polygyny and Democracy: A Cross-Cultural Comparison // Cross-Cultural Research. 2000. Vol. 34. P. 190–208.
- Korotayev A.V. & Tsereteli T.* Unilineal Descent Organization and Deep Christianization: A Cross-Cultural Comparison // Cross-Cultural Research. 2000. Vol. 34 (In press).
- Levinson D.* Population Density in Cross-Cultural Perspective // American Ethnologist. 1979. Vol. 6. P. 742–751.

- Minturn L. & Lambert W.* The Antecedents of Child Training: A Cross-Cultural Test of Some Hypotheses // Mothers of Six Cultures. New York, 1964. P. 164–175, 343–346.
- Munroe R.L., Munroe R.H. & Whiting J.W.M.* Male Sex-Role Resolutions // Handbook of Cross-Cultural Human Development. New York, 1981. P. 611–632.
- Pisko J.E.* Gebräuche bei der Geburt und Behandlung der Neugeborenen bei den Albanesen // Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien. 1896. Bd. 26. S. 141–146.
- Rohner R.* They Love Me, They Love Me Not: A Worldwide Study of the Effects of Parental Acceptance and Rejection. New Haven, 1975.
- Vernant J.-P.* Mythe et société en Grèce ancienne. Paris, 1974.
- Vernant J.-P.* Mythe et pensée chez les Grecs: Études de psychologie historique. Paris, 1985.
- White D.R.* Causes of Polygyny // Current Anthropology. 1988. Vol. 29. P. 529–558.
- White D.R. & Burton M.L.* Causes of Polygyny: Ecology, Economy, Kinship and Warfare // American Anthropologist. 1988. Vol. 90. P. 871–887.
- Whiting B.B.* Sex Identity and Physical Violence: A Comparative Study // American Anthropologist. 1965. Vol. 67. P. 123–140.
- Whiting J.W.M.* Resource Mediation and Learning by Identification // Personality Development in Children. Austin, 1960. P. 112–126.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

к.и.н. *Ольга Юрьевна Артемова*, старший научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН, Москва, Россия

к.и.н. *Дмитрий Дмитриевич Беляев*, научный сотрудник Центра цивилизационных и региональных исследований РАН, Москва, Россия

д-р *Моше Берент*, Открытый университет, Тельль-Авив, Израиль

к.и.н. *Владимир Олегович Бобровников*, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, Москва, Россия

д.и.н. *Дмитрий Михайлович Бондаренко*, зав. сектором культурной антропологии Центра цивилизационных и региональных исследований РАН, Москва, Россия

д.и.н., *Марина Львовна Бутовская*, ведущий научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН, Москва, Россия

Денис Владимирович Воробьев, младший научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН, Москва, Россия

д.и.н. *Дмитрий Викторович Дождеев*, ведущий научный сотрудник Института государства и права РАН, Москва, Россия

д-р, проф. *Тимоти Ерл*, департамент антропологии, Северо-западный университет, Эванстон, Иллинойс, США

д.и.н., проф. *Андрей Витальевич Коротаев*, ведущий научный сотрудник Центра цивилизационных и региональных исследований РАН, Москва, Россия

д.и.н., проф. *Николай Николаевич Крадин*, ведущий научный сотрудник Института истории, археологии и этнографии Дальнего Востока ДВО РАН, Владивосток, Россия

CIVILIZATIONAL MODELS OF POLITOGENESIS

Moscow: Institute for African Studies Press, 2002

Editors:
Dmitri M. Bondarenko, Andrey V. Korotayev

The volume represents an attempt of a complex study of the politogenetic processes in their regional and temporary variety. The authors hope that their survey can and should also promote a better understanding of the general tendencies and mechanisms of cultural and sociopolitical evolution, of the interrelation and interaction of cultural, social, and political formats in the human society. The authors believe that the use of principles and methods of the civilizational approach in politogenetic studies, on the one hand, and the inclusion of the politogenesis into the problem area of civilizations studies, on the other hand, creates the effect of novelty in terms of both anthropology and civilizations studies, enriches their scientific toolkit and expands heuristic limits.

Научное издание

ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ ПОЛИТОГЕНЕЗА

*Утверждено к печати
Институтом Африки РАН*

Зав. РИО *Н.А. Ксенофонтова*
Компьютерная верстка *Г.Н. Терениной*
Макет-дизайн *Г.М. Абшиевой, Н.А. Ксенофонтовой*

И.Л. № 040962 от 26.04.99
Подписано к печати 09.02.2000
Объем 19,7 п.л.
Тираж экз.
Заказ №

Отпечатано в ПМЛ Института Африки РАН
103001, ул. Спиридоновка, 30/1

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК